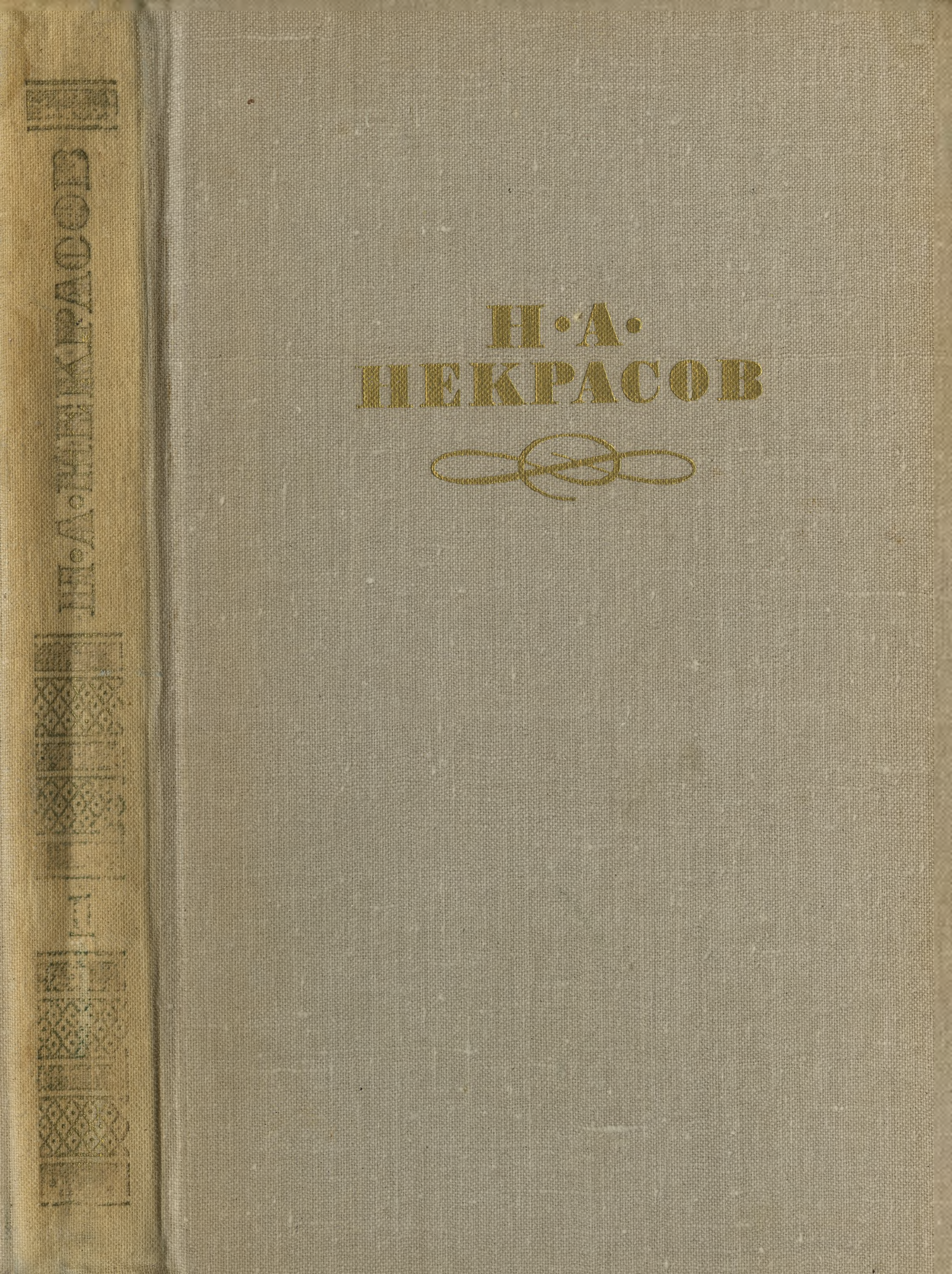
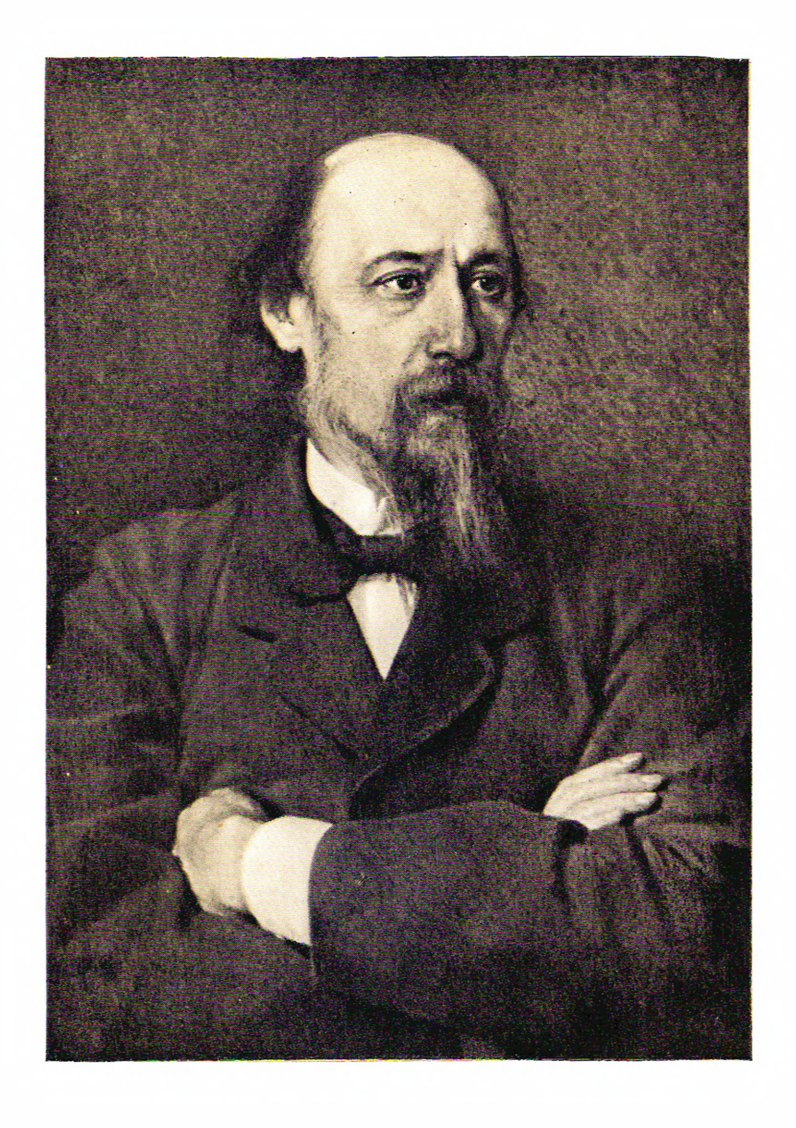

Н·А·
НЕКРАСОВ
Н·А·НЕКРАСОВ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КЛАССИКА

Н. А. НЕКРАСОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ

1

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1979

Составление и общая редакция
И. Г. Ямпольского

Иллюстрации художника
И. Глазунова

На фронтисписе:
Н. А. Некрасов. Портрет работы И. Н. Крамского. 1877.

НАРОДНЫЙ ПОЭТ

«Не принижая ни на минуту,— писал А. В. Луначарский,— ни великих алтарей Пушкина и Лермонтова, ни более скромных, но прекрасных памятников Алексея Толстого, Тютчева, Фета и других, мы все же говорим — нет в русской литературе, во всей литературе такого человека, перед которым с любовью и благоговением склонялись бы ниже, чем перед памятью Некрасова» [1].

Существо поэзии Некрасова, расширяя, толкуя, комментируя, можно определить одним словом — демократизм. Сколько определений давалось его творчеству на протяжении ста с лишком лет! Некрасов — крестьянский писатель, говорили одни, поэт Петербурга, утверждали другие, автор разночинцев, писали третьи, певец революционной демократии и т. д. и т. п. Если эти определения и верны, то только все вместе. Ибо Некрасов и правда народный поэт и в этом смысле поэт национальный. Дело не только в том, что он писал о революционерах и о помещиках, о крестьянах и о петербургских чиновниках. Можно найти немало поэтов, тематика творчества которых достаточно разнообразна, но которые тем не менее не стали народными. Некрасов — народный поэт не только потому, что он говорил о народе, но потому, что им говорил народ. Отсюда все его особенности: герои, темы, образы, ритмы. Народный поэт. И нет в великой русской литературе писателя, которого бы эти слова определяли столь точно и всеобъемлюще.

Путь Некрасова и в жизни и в поэзии был нелегким. Его «университеты» оказались далекими от того, что могла обещать жизнь молодому человеку из дворянской семьи среднего достатка.

Николай Алексеевич Некрасов родился 10 декабря 1821 года (по новому стилю) в украинском местечке Немирове. Там служил тогда в армии его отец, вскоре вышедший

---

[1] А. В. Луначарский. Статьи о литературе. М., 1957, с. 258.

в отставку и поселившийся в своем ярославском селе Грешневе. Ранние впечатления во многом определили тот факт, что, даже сделавшись великим всероссийским поэтом, Некрасов остался певцом Волги и русского севера. Многое из того, что будет потом содержанием его стихов, прошло через собственный опыт еще маленького Некрасова и прежде всего — людские муки. Страдания дворовых, крестьян, бурлаков сливались с ощущением страдания самого близкого существа — матери, человека большой души и высокой культуры, много терпевшей от самодура-мужа и рано умершей. Так общее страдание воспринималось и как личное, свое, рождая ненависть к источнику — крепостному праву и к его носителям — крепостникам. А ненависть взывала к борьбе.

Очень рано началась жестокая и беспощадная борьба за право на самостоятельность. После пяти лет учения Некрасова в ярославской гимназии отец решил отдать сына в военную школу — Дворянский полк. Но в Петербурге юноша, нарушив волю родителя, стал готовиться в университет. Разгневанный отец лишил его какой бы то ни было поддержки. Будущий великий поэт, опытный издатель, руководитель крупнейшего и популярнейшего журнала России начал свою петербургскую жизнь без денег, без связей, голодным и раздетым полубродягой. Такова была расплата за отказ идти обычным путем, за желание стать писателем.

Но стать писателем оказалось трудно. И духовная работа, внутренняя борьба, становление поэта стоили в своем роде борьбы с внешними обстоятельствами. В 1840 году ему удалось издать первую книжку стихов «Мечты и звуки». Сейчас трудно поверить, что она написана Некрасовым. Уже название сборника довольно точно выражает суть этих романтических стихов, далеких от жизни и, так сказать, вторичных, написанных под влиянием разных поэтов.

Книга вызвала в журналах несколько полуодобрительных рецензий и резко отрицательный отзыв Белинского. Сам Некрасов обошелся со сборником круто. Подобно Гоголю, он постарался скупить и уничтожить свое первое поэтическое детище. Бесспорно, такая решительность действий была лишь следствием и выражением внутренней готовности покончить с подобными стихами. Нельзя сказать, что Некрасов знал, как и о чем писать стихи, но опыт уже показал ему, как и о чем их писать не нужно.

Начало сороковых годов для Некрасова — время тяжелой литературной поденщины.

Праздник жизни — молодости годы —
Я убил под тяжестью труда
И поэтом, баловнем свободы,
Другом лени — не был никогда,—

писал поэт позднее. Десятки и десятки листов — рецензии и фельетоны, комедии и заметки, сказки и водевили... И все это за копеечную плату, которая не обеспечивала даже мало-

мальски сносного существования. Это была школа, в которой постигалось великое умение работать. В те же годы приходит осознание того, что писать нужно о жизни, как она есть, что реальная действительность рвется в литературу, требует своего места в ней. Вряд ли стоит преувеличивать художественные достоинства произведений Некрасова, созданных в это время. И все же в его творчестве совершается поворот. Происходит переориентация на массового демократического читателя и зрителя, особенно в таких довольно тесно связанных в творчестве Некрасова жанрах, как стихотворный фельетон («Провинциальный подьячий в Петербурге», «Говорун», «Чиновник») и водевиль. Эти жанры, прежде всего фельетон, приучали чутко внимать «злобе дня» и оперативно на нее откликаться. Драматургия, водевиль выводили к непосредственному ощущению массы, толпы и вооружали специфической литературной техникой. Все это позднее отзовется в зрелом творчестве Некрасова. Злободневность станет одной из самых ярких примет его поэзии, особенно поэзии сатирической. Драматургические элементы насытят многие произведения, подчас представая как прямые диалоги (например, в поэме «Русские женщины»), как яркое сценическое действие: сделанные по законам драмы эпизоды можно наблюдать и в поэме «Современники» и в «Кому на Руси жить хорошо».

Собственно драматургические опыты молодого Некрасова — в основном водевили. Именно водевиль наряду с официозной, как правило, исторической драмой был формой времени, наиболее популярным видом литературно-театрального искусства. Этот чисто развлекательный жанр заполнял сценические подмостки. В большом ходу были переводы и переделки с французского. Такие переделки есть и у Некрасова, например, водевиль «Вот что значит влюбиться в актрису!». Водевиль «Шила в мешке не утаишь» был переделкой уже не французской пьесы, а повести Нарежного «Невеста под замком». Впрочем, собственные некрасовские куплеты придавали водевилю злободневность и очень его оживляли. Вместе с тем начинающий поэт написал и несколько оригинальных водевилей. Один из них — «Феоклист Онуфрич Боб». Полный тезка героя пьесы, мелкий чиновник, уже был выведен в другом произведении Некрасова, стихотворном фельетоне «Провинциальный подьячий в Петербурге».

Наибольшим успехом пользовался водевиль Некрасова, выступавшего тогда под псевдонимом Перепельский, «Актер». Достаточно сказать, что он сохранялся в репертуаре столичных театров почти 20 лет. Внешне пьеса вполне традиционна. Сюжет держится на обычных для драматических произведений этого рода мистификациях. Но, по сути, вся история переодеваний и перевоплощений героя, актера Стружкина, обиженного помещиком Кочергиным и чиновником Сухожиловым, вырастает из желания посрамить обидчиков и защитить свое артистическое достоинство. Недаром

Белинский отметил, что герой этого водевиля «не шут площадной, а артист» [1].

Открыто социальные мотивы пронизывают пьесу «Петербургский ростовщик». Тип ростовщика, появившийся уже в ранних рассказах Некрасова, станет героем и многих зрелых его стихов. В водевиле, который игрался в Александринском театре, наиболее острые куплеты были исключены. Недаром водевиль писался в то время, когда Некрасов заявил себя уже и как издатель — в пору подготовки сборника «Физиология Петербурга» (1845 г.), в котором под идейной эгидой Белинского начинали группироваться молодые писатели-реалисты, представители так называемой «натуральной школы».

Вообще становлению Некрасова очень способствовало знакомство с Белинским в 1843 году. Сколь многим поэт считал себя обязанным Белинскому, видно хотя бы из того, что он позднее постоянно обращался к образу великого критика-революционера: в поэмах «Белинский» и «Несчастные», в стихотворении «Памяти Белинского» и в др.

Белинский был особенно любим...
Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!
. . . .
Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил о народе,
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе...

Как представитель нового, возглавленного Белинским направления в русском реализме, выступил в 40-е годы и Некрасов-прозаик. Так, в «Физиологии Петербурга» им был напечатан очерк «Петербургские углы (Из записок одного молодого человека)», подвергшийся серьезным цензурным искажениям. И не случайно. Описание петербургской трущобы у молодого писателя было беспощадно смелым. «Петербургские углы» есть не что иное, как часть большого романа, правда, так и оставшегося незаконченным,— «Жизнь и похождения Тихона Тростникова». Вообще Некрасов написал немало прозаических произведений как до этого романа («Повесть о бедном Климе»), так и позднее (например, «Тонкий человек»). Некоторые романы — «Три страны света» и «Мертвое озеро» — были написаны в соавторстве с А. Я. Панаевой. Но наибольший интерес в некрасовской прозе вызывает именно «Жизнь и похождения Тихона Тростникова». Может быть, потому, что здесь в наибольшей степени сконцентрирован жизненный опыт самого писателя. Конечно, это не автобиографическое произведение. Но история петербургских скитаний молодого разночинца Тростникова во многом

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. V, М., 1954, с. 503.

напоминает молодые годы, проведенные в Петербурге Некрасовым, историю его становления, поиск своего места в жизни; за некоторыми героями проглядывают их реальные прототипы. Несколько глав, особенно пятая, как раз и печатавшаяся под названием «Петербургские углы», содержит прямые автобиографические мотивы. Интересен роман и еще одним: многие образы и сюжеты, разработанные в нем, перейдут в поэтическое творчество Некрасова. Это тема социальных контрастов Петербурга, которая займет большое место в поэме «Несчастные» и в стихотворных циклах — «О погоде», «На улице», это и образ извозчика Ванюхи, который перейдет в стихи «Ванька», «Извозчик». Это и лирические ноты, которые отзовутся в поэме «Рыцарь на час».

Вообще литературную деятельность Некрасова уже вначале отмечает необычайное многообразие жанров. В борьбе с жизнью, в упорном сопротивлении обстоятельствам складывается характер не только писателя, поэта, но и одного из руководителей литературного процесса, организатора передовых литературных сил. В середине 40-х годов Некрасов уже издатель нескольких альманахов. Два из них — «Физиология Петербурга» и «Петербургский сборник» — объединяли лучших представителей гоголевского направления. С 1847 по 1866 год поэт издает и редактирует журнал «Современник», а с 1868 года и до самой смерти — журнал «Отечественные записки». Трудно переоценить значение деятельности Некрасова — редактора журнала, через школу которого прошли Тургенев и Гончаров, где начинал Лев Толстой, а критиками были сначала Белинский, позднее — Чернышевский и Добролюбов. Но Некрасов и сам незаурядный литературный критик. Так, именно он в статье «Русские второстепенные поэты», по сути, заново открыл для русской литературы талант Федора Ивановича Тютчева и ввел его в самый первый ряд русской поэзии, поставив непосредственно за Пушкиным и Лермонтовым.

Наконец, важной составной частью литературного наследия Некрасова являются его письма. Они представляют ценность не только для биографов и комментаторов. Еще в начале XX века один критик писал, что обычно самое неинтересное у писателя — письма: все интересное отдано творчеству. Реальная картина, однако, достаточно сложна. Есть писатели, например, Пушкин или Чехов, чье эпистолярное наследие мы воспринимаем сейчас как подлинно высокое творчество. И у Некрасова немало писем поразительной силы. Но это не только яркие документы биографии замечательного человека. Многие из них проливают дополнительный свет на его творчество.

В 1857 году Некрасов писал Л. Н. Толстому: «Хорошо ли, искренно ли, сердечно ли (а не умозрительно только, не головою) убеждены Вы, что цель и смысл жизни — любовь? (в широком смысле). Без нее нет ключа ни к собственному существованию, ни к сущ. других, и ею только объясняется, что самоубийства не сделались ежедневным явлением. По мере того как живешь — умнеешь, светлеешь и охлаждаешь-

ся, мысль о бесцельности жизни начинает томить, тут делаешь посылку к другим — и они, вероятно (т. е. люди в настоящем смысле), чувствуют то же — жаль становится их — и вот является любовь. Человек брошен в жизнь загадкой для самого себя, каждый день его приближает к уничтожению — страшного и обидного в этом много! На этом одном можно с ума сойти. Но вот Вы замечаете, что другому (или другим) нужны Вы — и жизнь вдруг получает смысл, и человек уже не чувствует той сиротливости, обидной своей ненужности, и так круговая порука. Всё это я выразил очень плохо и мелко — что-то не пишется, но авось Вы ухватите зерно. Человек создан быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора. Рассматривайте себя как единицу — и Вы придете в отчаяние».

Эти нравственные принципы суть основание эстетики и поэзии Некрасова. Его эпос и есть ведь «круговая порука». И лирика поэта являет новый тип лирики именно потому, что основана на «посылке к другим». Именно с таких «посылок к другим» начинается зрелое стихотворное творчество Некрасова.

Становление его поэтического дарования закончилось к середине 40-х годов, далее можно говорить уже о развитии вполне самобытного поэта. Об этом свидетельствуют стихотворения, напечатанные Некрасовым в разных изданиях тех лет: «Современная ода», «В дороге», «Колыбельная песня», «Отрадно видеть...», «Пьяница», «Когда из мрака заблужденья...», «Огородник», «Тройка», «Родина», «Еду ли ночью...»

Уже в этих произведениях раскрылось то замечательное качество некрасовской поэзии, о котором говорилось выше,— демократизм. Прежде всего необычным был сам предмет изображения во многих стихотворениях. Жизнь мелкого чиновника, несчастной проститутки, ограбленного крестьянина — все стало темой лирического стиха, самая структура которого становилась иной. Жизнь новых героев лирики потребовала повествовательных сюжетов, именно в них находя свое выражение. Стихотворение под пером Некрасова становилось стихотворением-рассказом, стихотворением-новеллой.

Лирику поэта отличает обилие героев. Это подчас целая галерея перевоплощений. Огородник и старуха крестьянка, бедный интеллигент-разночинец и богатый ханжа-барин обрели в его поэзии свой голос. Вот это умение Некрасова войти в мир других, многих людей, стать поэтом массы и определило своеобразие его многотемной, многогеройной и многоголосной лирики. «Передо мною,—вспоминает современник слова поэта,— никогда не изображенными стояли миллионы живых существ! Они просили любящего взгляда! И что ни человек, то мученик, что ни жизнь, то трагедия!» [1].

Но особенно оригинален Некрасов там, где достигает органичного слияния с миром своего героя, когда уже нет образа-

---

[1] «Звенья», III—IV, М.-Л., 1934, с. 658.

маски, как в «Филантропе», например, а происходит слияние героя-персонажа с героем-автором. Таково маленькое, но удивительное стихотворение «Гробок».

Вот идет солдат. Под мышкою
Детский гроб несет, детинушка.
На глаза его суровые
Слезы выжала кручинушка.

А как было живо дитятко,
То и дело говорилося:
«Чтоб ты лопнуло проклятое!
Да зачем ты и родилося?»

«Вот идет солдат...» Начато как бы обычное повествование, есть взгляд на солдата со стороны. Но появилось слово «детинушка» и на нем сомкнулись в некое единство два мира. «Детинушка» — сказано о солдате, но это такое простое, народное, мужицкое слово, что оно становится уже как бы и словом от солдата. Автор вне героя, о котором рассказывает, но и с ним. Аналогичное «кручинушка» продолжит и закрепит эту интонацию. Во второй строфе, хотя там есть и собственно прямая речь, уже невозможно отделить героя от рассказчика. «А как было живо дитятко, то и дело говорилося...» — солдат ли это сказал, подумал, почувствовал или автор? В лирике, которую называют выражением внутреннего мира, сошлись, сомкнулись и слились воедино два мира: один в другом, один через другой.

Такого единства в стихотворениях 40—50-х годов поэт достигает не так уж часто, но это начало пути, на котором в 60-е годы Некрасов придет к важнейшим художественным открытиям в изображении народной жизни.

Однако это не значит, что Некрасов просто растворялся в своих героях. Его лирика — лирика по ясно ощущаемому нами своеобразию собственного голоса, сливающегося с голосами других, но умеющего оставаться самим собой. В ней есть единство идейных определений и акцентов, точно указывающих, с кем и за кого лирический герой — автор. Есть и единство ритмического строя своеобразного «тягучего» стиха, который мы узнаем сразу, который как будто однообразен, но этим в известном смысле противостоит многоголосному миру некрасовской лирики и не дает ему рассыпаться.

Умение проникать в мир других людей определяло и совершенно новое изображение характера простого человека, мужика — такого в лирике до Некрасова не было. Особенно ясно это видно на примере стихотворения «В дороге», где рассказывается о трагической истории крестьянской девушки, воспитанной в барской семье и по прихоти помещика отданной в мужицкую семью, на свою гибель и на горе мужу-крестьянину.

Стихотворение поражает правдой самого факта, и иногда кажется, что сила стихотворения и суть поэтического открытия Некрасова лишь в сообщении этого факта. Однако не

только в этом. Сам крестьянин представал в новом качестве, как человек со своей, личной судьбой, со своим индивидуальным несчастьем, которое не укладывается в песню об общей беде рекрутского набора или разлуки. Общие судьбы народа, ужас рабства выражены как частный вариант, персональная судьба.

Выдающийся русский критик Аполлон Григорьев писал об этом произведении: «...оно совместило, сжало в одну поэтическую форму целую эпоху прошедшего. И это, конечно, достоинство немалое. Но оно, это небольшое стихотворение, как всякое могучее произведение, забрасывало сети и в будущее»[1]. И в самом деле, Некрасов здесь за два года до появления первого из тургеневских рассказов предсказывал «Записки охотника» и беллетристику шестидесятников с ее анализом крестьянской жизни.

Нельзя сказать, что духовная жизнь народа была поэтом исследована широко и многосторонне уже в 40—50-е годы. Отсюда подчас неумение преодолеть известный натурализм в изображении жизни крестьянина, в передаче его речи. Вспомним хотя бы «патрет», «врезамшись» и т. д. стихотворения «В дороге»; ничего подобного, этой исковерканной, хотя и переданной с дотошной верностью реально-бытовой речи мы не найдем в поэзии Некрасова 60-х годов. Отсюда же и стилизация под народное творчество в стихотворении «Огородник», где уже открытый поэтом характер частного человека с его частной драмой не совсем укладывается в форму традиционной песни об удалом молодце. Отсюда, наконец, и тот факт, что «крестьянский» Некрасов в 40—50-е годы создал не так уж много произведений о народе, хотя все они важны и значительны и для русской литературы и для развития самого поэта.

Лишь в 1856 году после семнадцати лет напряженной и плодотворной работы вышла вторая, а по существу, первая книга стихотворений Некрасова. Все современники пишут об успехе, невиданном «со времен Пушкина». Сборник готовился в пору для поэта очень тяжелую. «Последние элегии» — так прощально озаглавил он ряд стихотворений. Тяжелая болезнь заставляла думать о близком конце. Поэтому первый сборник в глазах Некрасова приобретал и характер поэтического завещания. Этим, в частности, объясняется тщательная продуманность композиции сборника, явившего собой книгу с четким планом, с внутренним соотношением разделов, ее составлявших. Характер книги как целого определялся вступлением, роль которого сыграло знаменитое стихотворение «Поэт и гражданин». Значительность и декларативный характер стихотворения подчеркивались и особым шрифтом, которым оно было напечатано. Это одно из самых глубоких произведений русской поэзии о соотношении гражданственности и искусства. За образом гражданина угадывались учителя и друзья поэта, великие граждане России — Белинский,

---

[1] Аполлон Григорьев. Литературная критика. М., 1967, с. 459.

Чернышевский. Но это не просто поучение. В споре, который ведут поэт и гражданин, расставлены не все точки над «и». Не случайно произведение развилось из стихотворения-обращения «Русскому писателю», из монолога стало диалогом. Поэт высказал много мучительных и горьких сомнений, в которых бесспорно нашли выражение настроения, владевшие самим Некрасовым, и в которых отражалась его творческая судьба. Таким образом, «Поэт и гражданин» не только утверждение, но и раздумье, не только проповедь, но и исповедь. И, конечно, это нетерпеливое ожидание лучшего будущего и отрицание настоящего,

Когда свободно рыщет зверь,
А человек бредет пугливо...

Стихотворение вызвало особые нападки и долго печаталось с купюрами и цензурными вариантами.

Сборник 1856 года строился так, что один раздел представлял собой нечто вроде поэмы о народе, увенчанной оптимистическим «Школьником». Особый раздел составили стихотворения, многие из которых повествовали о чуждых народу силах. Здесь со всем блеском раскрылось сатирическое дарование Некрасова. Сатира часто была для него не только средством обличения, но и сыграла важную роль в освобождении поэта от старых литературных канонов. Особое место в ней занимала пародия. У Некрасова она всегда больше, чем просто пародия. Это, по существу, новая литературная форма.

Такова «Современная ода», таков позднее написанный «Секрет» (опыт современной баллады). В «Секрете», например, где рассказывается о том, как стал миллионером наглый и жестокий хищник, не только пародируются, но и заново используются в своем прямом назначении приемы романтической баллады (баллад Жуковского, баллады Лермонтова «Воздушный корабль», стихотворным размером которой написан «Секрет»). Таким образом, между балладными приемами Некрасова и Лермонтова есть связь — не только обычная, существующая между пародией и оригиналом, но и более тесное внутреннее единство. Обнаруживается, по существу, родство героев одной, буржуазной эпохи, которая вознесла маленького капрала на престол императора, а безвестного нищего — в хоромы богача.

Такова и вошедшая в сборник 1856 года «Колыбельная песня». Некрасовская «Колыбельная» написана в форме «Казачьей колыбельной песни» Лермонтова. Сатиру Некрасова легко принять за пародию на Лермонтова, тем более что внешне в своих шести строфах Некрасов очень точно повторил «сюжет» шести строф «Казачьей колыбельной». Однако еще сам Некрасов назвал свою сатиру «подражанием». Оговорка тем не менее не была принята во внимание. Реакционно настроенные критики, с готовностью ухватившись за возможность политического доноса, не вникали в поэтическую структуру. Писали и о нарушении нравственных начал и о

глумлении над священными правами материнства. «Не нарушение ли это всех священных чувств, не насмешка ли над природою и человечеством!»[1] — патетически восклицал Ф. Булгарин.

Некрасовское стихотворение было удивительным актом не только политической, но и поэтической смелости, которая шокировала многих. Даже М. Филиппов, прогрессивный деятель, безусловно, сочувствовавший Некрасову, отказывался принять это произведение, видя в нем именно пародию на чувства матери[2]. Ведь еще Белинский так определял пафос лермонтовской «Колыбельной»: «Это стихотворение есть художественная апофеоза матери: все, что есть святого, беззаветного в любви матери, весь трепет, вся нега, вся страсть, вся бесконечность кроткой нежности, безграничность бескорыстной преданности, какою дышит любовь матери,— все это воспроизведено поэтом во всей полноте»[3].

И на это произведение — пародия? Во всяком случае, уже первая строка с ее «пострелом» вместо «младенца прекрасного» как будто бы сомнений на этот счет не оставляла. Но, в сущности, Лермонтов отнюдь не пародирован Некрасовым.

Его пародия, и в этом суть «Колыбельной песни», не только не разрушает внутреннего мира стихотворения Лермонтова, но, напротив, предполагает сохранение его целостности. Она не пародирует внутренний мир лермонтовского стихотворения, но создает собственный и иной мир. Внешне единая форма (не случайно здесь точное построфное и построчное следование лермонтовским стихам) не объединяет два мира, а служит их противопоставлению. Там чистый мир любви, поэзии и подвига. Здесь грязный мир обмана, лжи, грабежа. У Некрасова было не циническое отношение к миру поэзии и к идее материнства, а лишь противопоставление этому миру цинических отношений. Любопытно, что его стихотворение довольно точно следует за лермонтовским в «эпической части», но с четвертой строфы, когда у Лермонтова начинаются лирические излияния материнских чувств, Некрасов покидает своего руководителя и, ни словом не обмолвившись об этих чувствах, продолжает эпический рассказ о судьбе чиновника.

Подражание Некрасова не только факт общественной борьбы, но и определенный этап снижения традиционно поэтического и обретения поэтичности новой. Так, «месяц ясный» Лермонтова становится у Некрасова «месяцем медным». И это не просто неожиданный и резкий прозаизм. В силу уже ближайших ассоциаций (медные деньги, медный

---

[1] Материалы по истории цензуры в России.— «Голос минувшего», 1913, № 4, с. 225—226.

[2] См.: М. М. Филиппов. Мысли о русской литературе. М., 1965, с. 225—226.

[3] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, М., 1954, с. 535—536.

пятак) он становится образом-символом, осеняющим всю картину и неотрывным от нее.

Отдельно в книжке 1856 года Некрасов напечатал поэму «Саша», приобретшую характер, если и не программы, то прямого призыва к молодому поколению. «Поэма,— писала впоследствии известная революционерка Вера Фигнер,— учила, как жить, к чему стремиться. Согласовать слово с делом — вот чему учила поэма, требовать этого согласования от себя и других учила она. И это стало девизом моей жизни» [1].

Наконец, большое место в сборнике заняла лирика как таковая, лирика интимная. Было бы неверно, однако, в ряду гражданских стихов рассматривать любовную лирику Некрасова только как дань, которую поэт отдал традиционной «вечной» теме. И здесь в полной мере проявилось его художественное новаторство.

«Когда из мрака заблужденья..., Давно — отвергнутый тобою..., Я посетил твое кладбище..., Ах, ты страсть, роковая, бесплодная... и т. п. буквально заставляют меня рыдать...»[2],— писал Некрасову Чернышевский.

Как уже отмечалось, своеобразие лирики поэта заключается в том, что в ней словно бы разрушается лирическая замкнутость, преодолевается лирический эгоцентризм. И любовные стихи Некрасова не замкнуты на герое, но открыты для героини. Она входит в стихотворение со всем богатством и сложностью своего внутреннего мира. Некрасов шел новым и непростым путем. Так появляется в его поэзии «проза любви». Эта область противоречивых чувств и отношений потребовала новых форм для своего выражения. В поэзии Некрасова создается нечто вроде психологического лирического романа, который образует группа стихов так называемого «панаевского цикла». Стихи цикла имеют определенную автобиографическую основу (не сводясь, естественно, к ней) — длительный, подчас мучительный роман Некрасова и А. Я. Панаевой, которая стала его гражданской женой. Было бы неверно рассматривать «прозу любви» некрасовских стихотворений только как сферу ссор и дрязг. Некрасов вступал здесь в бесконечно более психологически сложную и высокую область постижения человеческой натуры, чем та, что была доступна «натуральной школе» и ему самому в начале сороковых годов («Чиновник», «Говорун» и др.) и которая исчерпывалась, собственно, «социальной психологией», обусловливалась и объяснялась непосредственно бытом, средой. Поэт постигал натуру уже совсем не в духе «натуральной школы», а скорее в духе Достоевского. В этом смысле любовный цикл «панаевских» стихов был важен для будущей работы Некрасова над характерами и в лирике и

---

[1] В. Фигнер. Запечатленный труд, т. 1, М., 1964, с. 92.

[2] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XIV, М., 1949, с. 322.

в поэмах. Сама социальность и корректировалась и приобретала в пятидесятые — шестидесятые годы углубленный смысл.

В лирическом цикле не просто создается характер героини, что само по себе ново, но создается новый характер — в развитии, в разных, неожиданных даже, его проявлениях, самоотверженный и жестокий, любящий и ревнивый. «Я не люблю иронии твоей...» — уже в одной этой первой фразе вступления есть и характеры двух людей и бесконечная сложность их отношений. Блок воспользуется началом этого стихотворения как эпиграфом к своей драматической статье «Ирония». Вообще же некрасовские вступления — это продолжение вновь и вновь возникающих спора, ссоры, диалога: «Я не люблю иронии твоей...», «Да, наша жизнь текла мятежно...», «Так это шутка? Милая моя...».

Обратим внимание и на многоточия. Ими заканчиваются почти все произведения некрасовской интимной лирики. Это указание на фрагментарность, на неисчерпанность ситуации, на неразрешенность ее, своеобразное «продолжение следует».

Целый ряд сквозных примет объединяет стихи в единства: такова доминанта мятежности. «Если, мучимый страстью мятежной...» переходит в «Да, наша жизнь текла мятежно...». Вступления «Тяжелый год — сломил меня недуг» и «Тяжелый крест достался ей на долю» тоже сводят стихи к некоему единству. Устойчивость сообщают и постоянные эпитеты: «роковой»—один из самых любимых. «Прости» соотносимо с «Прощанием».

Все эти стихи следуют как бы взаимно корректирующими парами, которые поддерживают «сюжет» лирического романа. Мотив писем («Письма») углубляет перспективу, расширяет «роман» во времени. А какой высокий взлет человечности заключает в себе драматический диалог стихотворения «Тяжелый крест достался ей на долю»!

Тяжелый крест достался ей на долю:
Страдай, молчи, притворствуй и не плачь;
Кому и страсть, и молодость, и волю —
Всё отдала,— тот стал ее палач!

Давно ни с кем она не знает встречи;
Угнетена, пуглива и грустна,
Безумные, язвительные речи
Безропотно выслушивать должна:

«Не говори, что молодость сгубила
Ты, ревностью истерзана моей;
Не говори!.. близка моя могила,
А ты цветка весеннего свежей!..»

Ужасные, убийственные звуки!..
Как статуя прекрасна и бледна,
Она молчит, свои ломая руки...
И что сказать могла б ему она?..

Еще Чернышевский называл это стихотворение лучшим лирическим произведением на русском языке. Стихотворение — одно из самых трагичных у Некрасова, стихотворение высокого строя, который определен прежде всего удивительным единством основного образа, осеняющего все произведение,— образа креста. Он соответствует высокости страдания и окончательного пред ликом близящейся смерти разговора.

«Тяжелый крест достался ей на долю...». Здесь, в первой строке, это еще только отвлеченное обозначение тягот, едва обновленный житейский оборот («нести крест»). Но он в таком качестве не остается, находит продолжение, на наших глазах материализуется, прямо вызывает уже образ надмогильного креста, получает, так сказать, поддержку в наглядности, развиваясь в мрачном рефрене, повторенном в четырех подряд строфах: «близка моя могила... близка моя могила... холодный мрак могилы... близка моя могила...». Слова последней строфы: «Как статуя прекрасна и бледна, она молчит» — располагаются в ряду тех же ассоциаций. То, что началось почти бытовым разговорным оборотом, завершилось скульптурным образом, памятником героине и ее страданию. Сколь глубоки в своей неразрешимости конфликт героев и признание правоты каждого из них. А каким гармоническим, подлинно пушкинским аккордом заканчивается вся эта история нелегкой, проходившей в борениях любви — стихотворением «Прости»:

Прости! Не помни дней паденья,
Тоски, унынья, озлобленья,—
Не помни бурь, не помни слез,
Не помни ревности угроз!

Но дни, когда любви светило
Над нами ласково всходило
И бодро мы свершали путь,—
Благослови и не забудь!

Некрасов не только прозаизировал поэзию любви, но и поэтизировал ее прозу. Сколько светлого и гуманного сказал он в стихах о так называемой падшей женщине, предупреждая во многом картины и образы Достоевского. Прежде всего здесь должно быть названо «Еду ли ночью...», после которого Чернышевский заявил, что Россия приобретает великого поэта, а Тургенев, даже в пору близости с Некрасовым, довольно сдержанно относившийся к стихам поэта, писал Белинскому: «...Скажите от меня Некрасову, что его стихотворение в 9-й книжке («Современника».— *Н. С.*) меня

совершенно с ума свело, денно и нощно твержу я это удивительное произведение — и уже наизусть выучил»[1].

И тут мало было бы указать на то, что стихотворение описывает жизнь социальных низов, что в нем вводятся элементы социальной биографии, что оно связано с тематикой и поэтикой «натуральной школы» и т. п. Уже первая фраза «Еду ли ночью по улице темной...» как бы возвращает к известному пушкинскому вступлению «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», но одновременно и отталкивается от него и ему противостоит.

Если пушкинские мысль и чувство по мере движения стихов все более и далее удаляются от конкретности, восходят к всеобщему, к жизни и к смерти в их почти космическом значении, то Некрасов углубляется в воспоминания, в конкретный, такой исключительный и в то же время такой обычный случай из жизни бедняков. Мотив социальности поддержан краткой биографической «справкой» героини. Но этот мотив, случай из социальной жизни, социальная биография вставлены в рамку романтическую. Реальная история оказывается романтически воспринятой и рассказанной. Первые строки стихотворения создают мрачный колорит:

Еду ли ночью по улице темной,
Бури заслушаюсь в пасмурный день...

И на этом фоне возникает мотив воспоминания:

Друг беззащитный, больной и бездомный,
Вдруг предо мной промелькнет твоя тень!

В самом рассказе есть недомолвки и оборванность; нет ни концов, ни начал: «Где ты теперь?»

Создается ощущение странной заброшенности героев в мире, мотив судьбы открывает стихотворение и закрывает его, соединяясь с мотивом беззащитности:

Друг *беззащитный*, больной и бездомный...
. .   .
. . . .
С детства *судьба* невзлюбила тебя...—

это из начала стихотворения. А вот конец:

И роковая свершится *судьба*?
Кто ж *защитит* тебя?[2]

Зло, не переставая быть социальным, воспринято и как более универсальное. Всеобщий характер определений (горемычная нищета, злая борьба, роковая судьба) как бы пре-

[1] И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. I, М.-Л., 1961, с. 264.
[2] Курсив мой.— *Н. С.*

одолевает исключительность ситуации, не давая ей остаться случаем, частностью, вовлекая ее в общее движение жизненных стихий.

В тесных, казалось бы, рамках лирического стихотворения необычайно концентрированно Некрасов предсказывает некоторые открытия Достоевского-романиста. Это и характер социального изгоя, в котором шевелятся проклятия миру, бесполезно замирающие. Сама ситуация повторится в «Преступлении и наказании», где во имя спасения семьи от голодной смерти девушка пойдет на улицу: история «вечной» Сонечки Мармеладовой восходит к некрасовскому «Еду ли ночью...». И дело не только в сюжете, но и в поэтизации поступка; физическое падение не просто объясняется и оправдывается, оно героично, ибо за ним страдание и самоотверженность.

Кстати, цензор Е. Волков возмущался именно безнравственностью стихов: «Нельзя без содрогания и отвращения читать этой ужасной повести! В ней так много безнравственного, так много ужасающей нищеты!.. И нет ни одной отрадной мысли!.. нет и тени того упования на благость провидения, которое всегда, постоянно подкрепляет злополучного нищего и удерживает его от преступления. Неужели, по мнению г. Некрасова, человечество упало уже так низко, что может решиться на один из этих поступков, который описан им в помянутом стихотворении? Не может быть этого!»[1].

Так нравственная «безнравственность» стихотворения столкнулась с безнравственной «нравственностью» доноса.

Сборник 1856 года вышел в пору, когда в стране наступал новый общественный подъем. В конце 50-х годов совершаются значительные события, принесенные поражением в Крымской войне. Страна жила ожиданием перемен. Одни чаяли реформ, другие надеялись на революцию. В связи с этим особенно остро вставал вопрос о народе, его месте, значении, о сути народной жизни. В 1857 году Некрасов в одном из задушевнейших своих лирических созданий — в поэме «Тишина» — сделал попытку рассказать о физическом и духовном подвиге народа в Крымской войне. Но вопрос о том, что такое народ, в поэме еще не был решен. Отсюда постоянные мучительные раздумья, подобные тем, что содержит стихотворение «В столицах шум, гремят витии...» или в произведении, так и названном — размышлениями. «Размышления у парадного подъезда» под заглавием «У парадного крыльца» впервые напечатал в «Колоколе» Герцен с примечанием: «Мы очень редко помещаем стихи, но такого рода стихотворение нет возможности не поместить»[2]. Не часто даже у Некрасова этой поры сводились в таком противостоянии верхи и низы, народ и его враги. Несмотря на довольно небольшой объем, стихотворение представляет сложную композицию, нечто вроде поэмы. В центре ее —

---

[1] Цит. по кн.: В. Евгеньев-Максимов. Некрасов как человек, журналист и поэт. М.-Л., 1928, с. 224—225.

[2] «Колокол», 1860, 3 (15) января, л. 61, с. 505.

народ. (Речь идет не просто и не только о нескольких мужиках, которые подошли к подъезду важного начальника и которых грубо отогнали.) При всей реалистической достоверности характеристик мужики эти символизируют русский деревенский люд в целом. Отсюда те обобщения, которые появляются с самого начала:

Раз я видел сюда мужики подошли,
Деревенские русские люди.
Помолились на церковь и стали вдали,
Свесив русые головы к груди;
Показался швейцар. «Допусти»,— говорят
С выраженьем надежды и муки,
Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!
Загорелые лица и руки,
Армячишка худой на плечах,
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах...

Сколько уже в первых строках определений, как будто формально ненужных, но сообщивших подлинную эпичность образу. В литературе о Некрасове поэта нередко сравнивают с художниками, обычно с так называемыми передвижниками — с Репиным, с Перовым, которые принесли в живопись новую тематику из народной жизни, изображали эту жизнь очень конкретно и точно. Сцену с мужиками в «Размышлениях у парадного подъезда» иной раз сопоставляют и с прозаическими произведениями, с «физиологическим» очерком, опять же имея в виду конкретность и точность изображения. Но в поэзии, в стихах есть своя, особая конкретность и точность, совсем иная, чем в живописи или даже в прозе. Когда-то сам Некрасов сказал: «дело прозы — анализ, дело поэзии — синтезис». «Синтезис» — синтез — означает прежде всего обобщение, поэтическое обобщение. Особенности поэтического изображения заключаются не только в собственно стихотворном размере или в рифмах. Можно ли представить в прозе это — «мужики, деревенские русские люди»? Ясно, что если мужики, то деревенские люди и что за разъяснение — русские? Не французы же в самом деле? Правда, давно замечено, что, например, в «Мертвых душах» Гоголя уже в первых строчках, где идет рассказ о событиях, совершающихся в самом центре России, тоже сказано: «только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания...» и т. д. Не забудем, однако, что Гоголь и писал не роман или повесть, а хотя и в прозе, но поэму. И в стихах Некрасова: «...мужики, деревенские русские люди». Так появляется интонация высокого, эпического, поэмного склада. И сами конкретные мужики, подошедшие к определенному подъезду, в таком поэтическом изображении уже теряют конкретность и единичность, а приобретают некую символическую всеобщность русского сельского люда. За ними или, вернее, в них, уже предстает как бы вся деревенская Русь, за которую они

представительствуют, от лица которой они явились. И если вначале к подъезду подъезжал целый город, холопский, то здесь к нему подошла как бы целая страна, крестьянская. Реальные приметы: «загорелые лица и руки», «армячишка худой на плечах, по котомке на спинах согнутых» — характеризуют их всех, любое определение приложимо к каждому. Ни один из группы не выделен. Мужиков несколько, но они сливаются, явлены как один человек. Скажем, у всех «русые головы». Можно ли представить такое в живописи? И вот слова вне всякой бытовой достоверности: «крест на шее и кровь на ногах...». Крест один на всех. «Крест на шее и кровь на ногах» — последняя примета, собравшая всю группу в один образ и придавшая ему почти символическую обобщенность страдания и подвижничества. В то же время символ этот совсем не отвлеченный, не бесплотный. Мужики не перестают быть и реальными крестьянами, в лаптях, прибредшими «из каких-нибудь дальних губерний».

Но поэтичность Некрасова чаще всего такова, что она одновременно оказывается нравственной характеристикой, моральным приговором, и нравственность здесь облечена в те формы, в которые народное сознание чаще всего ее тогда облекало, а именно в религиозные.

У поэта нет «чистой» религии. У него она скорее синоним народных или даже национальных черт: подвижничества, самоотвержения, способности к высокому страданию и социальному протесту.

Вообще, и особенно в пятидесятые годы, отношение Некрасова к религии при совершенно бесспорном его мировоззренческом атеизме сложно. «Религия,— писал Маркс,— это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она—дух бездушных порядков. Религия есть *опиум* народа» [1]. Некрасов не может не прислушаться к вздоху «угнетенной твари», где бы он ни раздался. И не только. Пока поэтом не освоена вся широта духовной жизни народа, он сам попытается и на таком пути приобщиться к духу народной жизни, разрешаясь, например, в поэме «Тишина» стихами поразительной силы:

Храм божий на горе мелькнул
И детски чистым чувством веры
Внезапно на душу пахнул.
Нет отрицанья, нет сомненья,
И шепчет голос неземной:
Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой!
Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. I, М., 1955, с. 415.

Храм воздыханья, храм печали —
Убогий храм земли твоей:
Тяжеле стонов не слыхали
Ни римский Петр, ни Колизей!
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неодолимой
Святое бремя приносил —
И облегченный уходил!
Войди! Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной...
Я внял... я детски умилился...
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетенных, бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарем!

Чем вызвана удивительная проникновенность этих стихов, заканчивающихся почти экстатическим повторением трехчленных молитвенных заклинаний: «Чтобы простил, чтоб заступился, чтоб осенил... Бог... бог... бог»? Здесь не сила религиозного чувства сама по себе, но поднятая на уровень религиозности сила, с которой поэт стремится припасть к источникам народной жизни, жажда общения с духом народной жизни. Сам бог допущен в стихи только как бог угнетенных, и только в этом смысле он вообще бог.

Отсюда сгущенность подобных образов в «Размышлениях у парадного подъезда». Потому мужики и «помолились на церковь», потому у них и «крест на шее» — как бы символ мученического креста, который крестьянин в своей жизни нес (слово «мука» поэтом тоже здесь названо). Само дело, с которым пришли ходоки, охарактеризовано этим религиозно-истовым к нему отношением. То, что «некрасиво на взгляд», красиво по сути, прекрасно внутренней красотой и содержательностью. Как будто бы некрасивое и низкое (недаром оговорено, что «на взгляд» швейцара) оказывается прекрасным и высоким. И далее поэтическое повествование о мужиках продолжается в таком же и еще более высоком, почти библейском стиле,

...Постояв,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: «Суди его бог!»
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами.

Убогие крестьянские сумки и котомки названы «кошли», скромное задабривание швейцара — чаевые — «скудная лепта». Наконец, сами мужики названы «пилигримами», то есть религиозными путешественниками, взявшими обет на служение, названы, может быть, чуть-чуть иронически. Впрочем, ирония почти незаметна и снята в дальнейшем развитии образа, ибо определение «пилигримы» находит продолжение, развертывается. Потому-то и появилось палящее солнце.

Сохранился рассказ жены Некрасова А. Я. Панаевой о том, как создавалось это некрасовское произведение. Однажды Некрасов увидел из окна своей квартиры, как мужиков, подошедших к соседнему дому, отгоняли от подъезда дворники и городовые. Крестьяне выглядели озябшими и промокшими: было осеннее петербургское утро, холодное и дождливое. У Некрасова же речь идет о палящем солнце. И не случайно. «Пилигримы» рифмуется с «солнцем палимы» не только внешним образом. Здесь есть внутренняя перекличка: на миг мелькнула перед нами картина жарких палестинских пустынь и бредущих под палящим солнцем паломников. Так закрепился образ мужиков в своем высоком определении.

Со строгостью и цельностью почти скульптурной группы представшие в первой части произведения мужики не просто страдальцы, но и подвижники, не только забиты, но и нравственно высоки. Это особенно явственно обнаруживается в контрасте с образом вельможи, нарисованным в тоже высокой, но уже сатирико-одической манере, восходящей к Державину и показывающей лишний раз, как широк творческий диапазон Некрасова, как углублен он в русскую поэтическую культуру.

Поэт вводит нас в иной и противоположный мир: в самих стихах эта, другая, часть отделена. Отделенность подчеркнута и резко изменившейся парной рифмовкой, которая появилась в стихотворении впервые:

А владелец роскошных палат
Еще сном был глубоким объят...
Ты, считающий жизнью завидною
Упоение лестью бесстыдною...

За образом владельца роскошных палат стоит образ реального человека, или, как говорят, прототип. О нем сообщил Чернышевский в одном из писем: «Могу сказать, что картина:

Созерцая, как солнце пурпурное
Погружается в море лазурное — и т. д.

живое воспоминанье о том, как дряхлый русский грелся в коляске на солнце «под пленительным небом» Южной Ита-

лии (не Сицилии). Фамилия этого старика — граф Чернышев»[1].

Граф Чернышев, здесь упомянутый, очевидно, князь А. И. Чернышев, который более 20 лет был николаевским военным министром, позднее председателем Государственного совета. Своей головокружительной карьерой он прежде всего обязан жестокому, подлому поведению после декабрьского восстания 1825 года. Некрасов, видимо, недаром обронил презрительное — «герой». На счету Чернышева было и такое «геройское» дело, как руководство казнью декабристов.

Сейчас установлено еще одно обстоятельство. В пору создания стихотворения, в «роскошных палатах» — в доме, находившемся почти напротив петербургской квартиры Некрасова, из окон которой поэт наблюдал сцену у «парадного подъезда»,— жил министр государственных имуществ М. Н. Муравьев, будущий кровавый усмиритель польского восстания; оно произойдет через четыре года после создания стихотворения, в 1863 году. Поэт выступил в роли своеобразного пророка, заклеймив не только прошлого вешателя, но и будущего: кличка «вешатель» после 1863 года прочно прикрепилась к Муравьеву.

Однако образ, созданный в стихотворении, много шире своих реальных прототипов да и во многом иной по сути. Это уж никак не фигура николаевского чиновника. Скорее барин, сибарит, погруженный в роскошь и негу. Недаром обычно и называют его вельможей, хотя самим Некрасовым он так нигде не назван. И именно этот образ не случаен: он не только контрастно противостоит образу крестьян, но, хотя совершенно в другом роде, ему соответствует. В нем тоже есть предельное обобщение, грандиозность. Нравственной высокости крестьян противостоит и соответствует глубина нравственного падения вельможи. Здесь есть единство меры, уравнявший эти образы масштаб. Что же помогло Некрасову создать такой характер вельможи? В русской истории был период, который еще Белинский определял как век «вельможества». Это XVIII век, точнее, век Екатерины. И была литература, которая разнообразно и полно это время выразила. Некрасов, как бы (очень тонко) реставрирует такую литературу и ее главную форму — оду, вызывая тем самым к жизни образ целой эпохи. И образом этой эпохи, масштабом ее характеризует своего вельможу.

Есть в стихотворении и еще одна поэтическая традиция — песенная, скорбная. Она определяет звучание третьей части. Отрывок стихотворения со слов «Назови мне такую обитель» недаром стал любимой песней революционной, демократической, особенно студенческой, молодежи. Здесь музыкален весь строй, проникнутый песенным лиризмом. Уже в первом стихе последней части задана ее тема, и не только

---

[1] Н. Г. Чернышевский, т. I, с. 754.

идейно-смысловая, но и музыкальная — «Родная земля!». Сразу возникшая эта тема как бы покрывает собой, вбирает в себя весь последующий, казалось бы, чисто эмпирический материал: поля, дороги, тюрьмы, рудники, овины, телеги и домишки, подъезды судов и палат (здесь подъезд, о котором было рассказано, стал одним из сотен). Тема эта — «Родная земля» не дает такому материалу рассыпаться, остаться простым перечислением. Реализованная в нем, его осеняет и сообщает ему значительность. Мотивы песни, чисто русской, народной, национальной подчас весьма ощутимо вторгаются в авторское повествование. Есть здесь и обычно отличающие народную поэзию повторы («стонет он»... «стонет он») и внутренние рифмы, тоже очень характерные для народной поэзии («по полям... по тюрьмам»). В первой же строке словом «застонут» задан музыкальный эмоциональный тон всей этой части — песне-стону. Глагол «стонет» поддерживает его, многократно и ритмично повторяясь. Словно самый стон, много раз возникая, нарастает на одной томительной ноте:

Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат.

Наконец, сразу и мощно вступает как бы целый оркестр или, точнее, хор:

Выдь на Волгу...

Не «пойди» и не «выйди». Призывное «выдь на Волгу» достигает эффекта музыкального взрыва:

Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бечевой!..

Стон мужика подхвачен песней-стоном бурлацкого хора. И дело не только в том, что сказано о бурлаках, но и в том, как о них сказано. Слово «выдь» не выдумано Некрасовым, оно отражает особенности живой речи, характерной для жителей ярославского, «бурлацкого» края, который поэт — сам ярославец — хорошо знал. То же и слово «бурлаки» с типичным для такого говора ударением на суффиксе «ак». Некрасов поставил такое ударение совсем не для того, чтобы соблюсти стихотворный размер: появились интонации самой бурлацкой речи. Песенная мелодия льется могуче и

широко. Недаром в конце вступает тема Волги — извечной героини русских народных песен — поет уже как бы вся Русь.

Волга! Волга!.. Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля,—
Где народ, там и стон...

Тем не менее не песня-стон заканчивает это произведение, названное размышлениями, а именно размышления — и по поводу песни-стона тоже,— раздумья о судьбах целого народа. Размышления, раздумья рождают мучительный вопрос — обращение к народу.

Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль, исполненный сил,
Иль, судеб повинуясь закону,
Всё, что мог, ты уже совершил,—
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?..

Если вспомнить, что стихотворение написано в 1858 году, а может быть, даже в 1859-м, станет ясным, насколько далек от оптимизма был в эту пору Некрасов. Даже горячий призыв к революционному подвигу, содержащийся в тогда же примерно написанной «Песне Еремушке», вряд ли можно рассматривать как обращение к крестьянству, к крестьянской молодежи. Судя по стилистике песни, по смело введенной, хотя и несколько измененной по цензурным соображениям знаменитой формуле французской революции: Братство, Равенство, Свобода (в подцензурном варианте было: Братство, Истина, Свобода), адресат песни — прежде всего разночинная молодежь. Известно, что среди групп населения, для которых в начале 60-х годов революционеры предназначали свои воззвания (крестьяне, солдаты), особо важное место занимала молодежь. «План,— писал революционер А. А. Слепцов,— был составлен очень удачно, имелось в виду обратиться последовательно, но в сравнительно короткое время ко всем трем группам, которые должны были реагировать на обманувшую народ реформу 19 февраля... Крестьяне, солдаты, раскольники. Здесь три страдающих группы. Четвертая — молодежь, их друг, помощник, вдохновитель и учитель. Соответственно с этим роли были распределены следующим образом... молодое поколение взяли Шелгунов и Михайлов» [1].

---

[1] М. Лемке. Политические процессы в России 1860-х годов. М.-Пг., 1923, с. 318.

«Надежду России составляет народная партия из молодого поколения всех сословий»,— говорилось в прокламации [1]. Думается, что в такой связи некрасовская песня-воззвание обретает дополнительный революционный смысл.

Если бы мы попытались остаться только в рамках литературы, пришлось бы сказать, что за несколько лет до появления романа Чернышевского «Что делать?» Некрасов лирически предугадывал, предчувствовал и вызывал к жизни образ Рахметова, образ необыкновенного человека, предназначенного к подвигу, может быть, единственному:

Будешь редкое явление,
Чудо родины своей;
Не холопское терпение
Принесешь ты в жертву ей:

Необузданную, дикую
К угнетателям вражду
И доверенность великую
К бескорыстному труду.

За идеалом гражданского служения, которым вдохновлено произведение, стояли реальные образы соратников Некрасова, прежде всего Добролюбова, на квартире которого, кстати, и создавалась «Песня Еремушке».

«Помни и люби эти стихи,— писал одному из друзей Добролюбов: — они дидактичны, если хочешь, но идут прямо к молодому сердцу, не совсем еще погрязшему в тине пошлости» [2]. И молодость поняла и приняла «Песню».

...«Песня Еремушке»,— вспоминает современница,— оглашала то и дело рекреационные залы новой женской школы; это стихотворение заключало в такой доступной форме правила новой житейской мудрости. «Жизни вольным впечатлениям душу вольную отдай»,— начинала, бывало, одна, самая бойкая из нас, и тотчас находились другие, которые продолжали: «Человеческим стремлениям в ней проснуться не мешай». «Необузданную, дикую к лютой подлости вражду»,— декламировали несколько дружно обнявшихся между собою девочек. «И доверенность великую к бескорыстному труду»,— как-то особенно кротко и нежно продолжали другие. И вскоре собиралась целая толпа... толпа, соединенная «Песней Еремушке», которая была в полном смысле слова нашею ходячею песнью! Когда старшие заставляли нас подчиняться стариной освященным обычаям, которые приходились нам не по вкусу, мы отвечали словами из «Песни Еремушке»: «Будь он проклят, растлевающий пошлый опыт — ум глупцов!» — и говорили сами себе: «Силу новую животворных новых дней в форму старую, готовую необдуманно не лей!».

---

[1] М. Лемке. Политические процессы в России 1860-х годов. М.-Пг., 1923, с. 79.

[2] Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9 томах, т. 9, М.-Л., 1961—1964, с. 385.

...В Некрасове подраставшее поколение видело мощного защитника всех возникавших в то время новых стремлений»[1]

Новым словом в некрасовской поэзии стала поэма «Коробейники» (1861 г.). Не случайно позднее Чернышевский писал, что это произведение «у него в новом роде. Но видно, что это его, Некрасова...»[2]. Главным достоинством поэмы оказалась народность, очень многосторонне раскрывшаяся. Ею определяется уже необычность посвящения «другу приятелю», костромскому крестьянину Гавриле Яковлевичу Захарову. Но это не только благожелательный жест. Поэма действительно посвящена крестьянину в том смысле, что он рассматривается Некрасовым как вероятный и желательный читатель. Такого еще не было в практике писателя. То, что за фигурой Г. Я. Захарова поэту виделся вообще читательский крестьянский мир, подтверждает предпринятое Некрасовым в серии «Красные книжки» издание «Коробейников», которое предназначалось для народа и распространялось через офеней.

Хотя произведение было рассчитано на массового народного читателя, оно не стало от этого менее замечательным как явление литературы. Ни о каком упрощении нет и речи.

Сам сюжет поэмы выхвачен из народной жизни, вырос на основе рассказов того же Г. Я. Захарова. Но, естественно, содержание ее не сводится к истории коробейников. Не случайно в основу положен сюжет-путешествие, дающий возможность широкого охвата жизни. При всей цельности и органичности поэма удивительно многопланова. Прежде всего она очень лирична. Важную роль в ней играет любовь, в которой раскрылись глубины души крестьянки Катеринушки — одного из самых привлекательных женских образов в поэзии Некрасова. Любовь вызвала к жизни могучую песенную стихию. Известно, как глубоко вошла в народную жизнь, стала и по бытованию народной, чисто литературная некрасовская «Коробушка», эта, по выражению А. Блока, «великая песня»[3]. Но поэма дает и эпические картины русской действительности с зарисовками помещичьего быта, с массовыми крестьянскими сценами. Так, история о Титушке-ткаче, «Песня убогого странника», пропетая на одной томительной, рыдающей ноте с однообразным нищенским припевом, органично входят в состав поэмы, которая как бы непрестанно растет изнутри: центральный сюжет отпочковывает новые и новые эпизоды.

«Одной этой поэмы,— писал Ап. Григорьев,—было бы достаточно для того, чтобы убедить каждого, насколько Некра-

---

[1] Е. Л. Л<итвинова>. Воспоминания о Н. А. Некрасове. «Научное обозрение», 1903, № 4, с. 131—132.

[2] Н. Г. Чернышевский, т. XI, с. 252.

[3] См.: А. Блок. Собр. соч. в 8 томах, т. 5, М.-Л., 1962, с. 132.

сов поэт почвы, поэт народный, то есть насколько поэзия его органически связана с жизнию»[1].

И крестьянин, и ямщик, и маленький чиновник, и разночинец-бедняк обретали со стихами поэта свой голос.

Но нет голоса, который оказался бы в некрасовской поэзии более хватающим за душу, чем голос русской женщины. Недаром на похоронах поэта две крестьянки несли венок «От русских женщин»...

Даже классический образ Музы под пером Некрасова терял привычную символику, оказываясь «сестрой родной» крестьянки, обретая реальные черты русской женщины, чаще плачущей, чем поющей.

Русская женщина предстала в произведениях Некрасова во всем разнообразии своих судеб; она главная носительница жизни, выражение ее полноты, как бы символ национального существования. И потому-то она естественно оказывается героиней эпических поэм Некрасова, особенно «Мороз, Красный нос» и «Русские женщины».

И рассказ о подвиге княгинь-декабристок для поэта вряд ли был бы возможен в семидесятые годы, когда была написана поэма «Русские женщины», если бы почти за десять лет до этого он не уяснил себе судьбу русской крестьянки и не поведал о ней в одном из самых совершенных своих произведений — в поэме «Мороз, Красный нос» (1863). «Мороз, Красный нос»,— писал современный Некрасову критик Вл. Зотов,— принадлежит к числу лучших поэм Некрасова. Вся она проникнута таким знанием русского человека и русской жизни, такой любовью к народу, что после этой поэмы всякое сомнение в значении Некрасова, как истинно народного поэта, не может иметь места... Вся русская природа, весь быт деревни обрисованы и прочувствованы чрезвычайно верно»[2]. Искусство поэта проявилось, конечно, не в том, что он представил развернутые описания, широкие картины «всей природы», «всего быта» сами по себе. Поэма поражает как раз концентрированностью и сжатостью, не описанием быта, а ощущением его. Разные стороны жизни народа, его психологии встают за кратким упоминанием, иногда за одним точным определением.

На первый взгляд, особенно если иметь в виду лишь сюжет поэмы, внешнюю канву повествования, произведение Некрасова может показаться не слишком масштабным: ведь речь идет об одной крестьянской семье и, по сути, об одном, хотя и драматическом, эпизоде из ее жизни.

Однако в художественном произведении не все измеряется обилием характеров, многочисленностью картин и разнообразием ситуаций. Под пером Некрасова рассказ о

---

[1] Ап. Григорьев. Литературная критика, М., 1967, с. 488.

[2] Вл. Зотов. «Мороз, Красный нос», альбом «Северное сияние», т. 4, СПб., 1865, с. 33—36.

жизни крестьянской семьи стал этапом в художественной летописи целого народа. Не случайно современный французский литературовед Шарль Корбэ сравнил «Мороз, Красный нос» с гомеровским эпосом как единственное в своем роде эпическое произведение. Интересно, что Ромен Роллан тоже позволил себе сравнить с эпосом Гомера уже другое великое произведение русской литературы той же поры — книгу Льва Толстого «Война и мир».

Вот какими мерами измеряется «крестьянская» поэма Некрасова: ведь и «Илиада», и «Война и мир», и «Мороз, Красный нос» — каждое по-своему — касаются самого существа жизни нации.

Некрасов обнаружил в поэме великолепное знание народной жизни, народного быта. Оно проявилось в описании и семейного уклада, и народных поверий, и крестьянских работ. Широко привлекает поэт народное творчество: песню, сказку, причет. Однако под пером поэта они трансформируются, становясь явлением литературы.

При кажущейся простоте ситуации «Мороз, Красный нос» — одно из самых сложных у Некрасова, да и вообще в русской литературе произведений.

Подлинный размах поэмы для самого автора определился не сразу. Первоначально она была задумана как рассказ о смерти крестьянина; отдельные главки и появились впервые в 1863 году в журнале «Время» под заглавием «Смерть Прокла». Через год уже в «Современнике» поэма была напечатана полностью с посвящением сестре.

В процессе работы складывалось эпическое произведение, на первый план которого вышла героиня.

Уже в первой части, которая вместо «Смерть Прокла» стала называться «Смерть крестьянина», что, конечно, придало образу и всему повествованию более обобщенный характер, в центре она, героиня. Однако, начав рассказ о жене умершего крестьянина, поэт сразу же уходит от деталей, от быта, переводя наши мысли и чувства в область глубоких раздумий о русской жизни, о судьбе женщины из народа, которые завершаются образом «величавой славянки»: самая обобщенность его не остается абстрактной, но опять-таки реализуется через индивидуальные, единственные в своем роде черты. И размышления о женской судьбе и сам этот образ сразу определяют размах повествования, не позволяют просто погрузиться в быт и тем ограничиться. Отсюда многообразие характеристик, насыщенность определениями сравнительно небольшого, трехстраничного, текста и их контрастность: бытовое — «баба» и высокое — «красивая и мощная славянка», совсем простонародное — «матка» и торжественное — «женщина русской земли»...

Не просто житейский рассказ ведет поэт, а живописует национальный тип. Вот почему так значимо здесь бытие, а смерть приобретает характер подлинной трагедии. Мы видим родителей Прокла, предавшихся человеческой скорби. И как величава ритуальность, как строга мужественная

сдержанность в горе, когда отец выбирает местечко для могилы сына:

Чтоб крест было видно с дороги,
Чтоб солнце играло кругом.
В снегу до колен его ноги,
В руках его заступ и лом,

Вся в инее шапка большая,
Усы, борода в серебре.
Недвижно стоит, размышляя,
Старик на высоком бугре.

Решился. Крестом обозначил,
Где будет могилу копать,
Крестом осенился...

В самой погруженности в социальное и бытовое существование мы уже не можем отвлечься от того главного образа, что предстал с самого начала в тайне и величии смерти.

Уснул, потрудившийся в поте!
Уснул, поработав земле!
Лежит, непричастный заботе,
На белом сосновом столе,

Лежит неподвижный, суровый,
С горящей свечой в головах,
В широкой рубахе холщовой
И в липовых новых лаптях.

Большие, с мозолями, руки,
Подъявшие много труда,
Красивое, чуждое муки
Лицо — и до рук борода...

Опять перед нами, как в истинно эпическом произведении, портрет земледельца-богатыря, усопшего Микулы Селяниновича. Так не только характер крестьянки Дарьи осеняется образом «величавой славянки», но и мужские характеры поэмы вырастают до образов «величавых славян». Героев в поэме немного, но значительности произведения как эпопеи народной жизни это не снижает, так как немногие эти герои суть типы крестьянской, народной, национальной жизни. В то же время именно то обстоятельство, что героев мало, позволило нарисовать их в полный рост и выявить главный идейный «пафос» поэмы как героического произведения, который с особой полнотой раскрывается во второй его части, где повествование поднимается на еще большую эпическую высоту. И здесь в центре образ Дарьи, мир ее мыслей, чувств, настроений. Они переданы то как воспоминания, то как мечты, то в реальности, то в полубессознательном состоянии забытья. Картины светлого, радостного труда с любимым мужем и детьми производят тем

большее впечатление, что мы воспринимаем их на фоне уже совершившейся трагедии — смерти Прокла и еще совершающейся трагедии — гибели самой Дарьи.

В предельной, в последней правде проходит перед глазами замерзающей женщины (и перед нашими глазами) ее жизнь в работе, в заботах, в радостях и в скорбях. И в том высшем, что эту жизнь проникало,— в полноте любви и в редком подвижническом самоотвержении. Чем же эта героика измерена, как оценена, кем вознаграждена?

Уже вначале, говоря о слезах Дарьи, оплакивающей мужа, Некрасов употребил характерное сравнение:

Слеза за слезой упадает
На быстрые руки твои.
Так колос беззвучно роняет
Созревшие зерна свои...—

сравнение из сферы земледелия, из жизни природы. И далее все бытие героев поэмы, крестьян, земледельцев и прежде всего крестьянки все время вписывается в жизнь природы. Они находятся с природой в тесном, но противоречивом родстве, подчас почти сливаясь с ней и ей же противостоя. Великий немецкий философ Гегель назвал такое состояние мира героическим. Некрасов нашел могучий образ духа суровой русской природы и воплотил его в своем «Морозе, Красном носе». Вторая часть так и называется, повторяя название всей поэмы,— «Мороз, Красный нос».

Сначала кажется, что поэма обращает нас к известной сказке о Морозке, но это не так. Не случайно в процессе работы поэт убирал все, что образ Мороза обытовляло и мельчило. Некрасов возвращает нас (и возвращался сам уже в процессе работы) к прасюжету народной сказки, к мифу, где выступал могучий и величественный образ духа природы. Мороз в поэме не просто аллегория, выдумка, ибо за ним, как в древнем эпосе, стоит целое народное мироощущение. Вот каким силам становится сопричастна героиня в поэме. Вот какому герою она по плечу. Подобно статуе стынет Дарья в ставшем сказочным лесу, входит в мир природы и остается в нем. Какой памятник ее жизни!

В середине 60-х годов, в пору спада освободительной борьбы, когда даже многие из революционных деятелей склонны были скептически относиться к возможностям народа, поэма обнаруживала глубинную суть его коренных начал, прежде всего труда на земле, определявшего цельность и своеобразие характеров, их нравственную силу, красоту и стойкость. В 1864 году М. С. Волконский писал Некрасову: «Сейчас я прочел Ваш «Мороз», он пробрал меня до костей, и не холодом,— а до глубины души тем теплым чувством, которым пропитано это прекрасное произведение. Ничто, до сих пор мною читанное, не потрясло меня так сильно и глубоко, как Ваш рассказ, в котором нет ни слова лишнего... Все это как нельзя более близко и знакомо мне, до 25-летнего возраста то и дело переезжавшему из деревни в деревню,

от одного мужика к другому... Дайте мне возможность поделиться им с моим отцом, доказавшим на деле, как он любит русского мужика»[1]. Князь М. С. Волконский вовсе не был человеком передовых взглядов, но, сын декабриста, он ощутил, как близки окажутся героические характеры поэмы реальному герою русской истории, декабристу. Здесь литература подавала руку жизни, а жизнь протягивала ее литературе: ведь уже через несколько лет декабрист Сергей Волконский станет прототипом первой декабристской поэмы Некрасова «Дедушка» (1870), а вскоре литература и жизнь прямо сомкнутся: жена декабриста Сергея Волконского будет героиней некрасовской поэмы «Русские женщины».

Произведения Некрасова о народе, созданные в 60-е годы, были тем более знаменательны, что наступала эпоха жестокой политической реакции. Реакционная печать особенно упражнялась в нападках на народ. Надо сказать, что известная часть революционных кругов и демократической журналистики, разочарованная тем, что народ не поднялся на массовое восстание, склонна была скептически оценивать его возможности. Этот скепсис проявлялся не только в деятельности публицистов и критиков такого журнала, как «Русское слово». Даже Чернышевский после оптимистического романа «Что делать?» многое и многое подвергал мучительной переоценке в своем «Прологе». И Некрасов еще в конце 50-х годов не исключал, по-видимому, того, что народ «навеки почил». Но автор «Коробейников», «Мороза» всем смыслом своих новых произведений ответил на вопрос: нет, не почил. Появлялась уверенность в светлом будущем судьбы народной.

Оптимизм произведений Некрасова о народе, созданных в 60-е годы, их эпический размах соотносятся с тем, что создавала в это время русская литература. Достаточно сказать, что именно в 60-е годы Л. Н. Толстой пишет «Войну и мир». В 60-е же годы и Некрасовым написано одно из самых значительных его произведений — знаменитая «Железная дорога». И опять приходится сказать, что по масштабу событий, по своему духу это сравнительно небольшое стихотворение — настоящая поэма о народе. М. Е. Салтыков-Щедрин так говорил в свое время об отличии «народа исторического, т. е. действующего на поприще истории, от народа, как воплотителя идеи демократизма. Первый оценивается и приобретает сочувствие по мере дел своих. Если он производит Бородавкиных и Угрюм-Бурчеевых, то о сочувствии не может быть речи... Что же касается до «народа» в смысле второго определения, то этому народу нельзя не сочувствовать уже по тому одному, что в нем заключается начало и конец всякой индивидуальной деятельности»[2]. В двух опре-

---

[1] Цит. по кн.: В. Е. Евгеньев-Максимов. Некрасов как человек, журналист и поэт. М.-Л., 1928, с. 309.

[2] Н. Щедрин. Полн. собр. соч. в 20 томах, т. 18, М., 1933—1941, с. 240.

делениях предстает перед нами народ и в «Железной дороге». Стихотворение открывается картиной природы, написанной очень сочно, по-некрасовски пластично и зримо. Уже первое по-мужицки раскатившееся слово «ядреный» — «ядреный воздух», столь необычное для лирики, дает особое ощущение свежести и вкуса здорового воздуха. Для того чтобы рассказать о тяжести и подвиге народного труда, поэт обращается к приему, уже достаточно известному в русской литературе — можно вспомнить здесь хотя бы Радищева и Чернышевского — к приему сна. Но сон у Некрасова не только условный прием. Это и реальное состояние мальчика Вани, в чьем растревоженном воображении рассказ о народных страданиях, с которым обращается к нему повествователь, рождает фантастические картины с ожившими под лунным сиянием мертвецами и странными песнями.

В картине сна труд предстает и как небывалое страдание и как осознаваемый самим народом подвиг. Отсюда та высокая патетическая манера, в которой говорится о людях, воззвавших к жизни бесплодные дебри и обретших гроб. Картина свежей прекрасной природы не только контрастирует с картиной сна, но и соотнесена с ней в величии и поэтичности.

Иное — картина пробуждения. Если ранее поэт патетичен, то здесь он ироничен. На сцену является папаша в пальто на красной подкладке — генерал, в роли для военачальника несколько необычной — защитника эстетических ценностей. И опять разговор идет по самому большому счету.

«Ваш славянин, англосакс и германец,
Не создавать — разрушать мастера,
Варвары! Дикое скопище пьяниц!..»

Вот в каком почти всеевропейском плане предъявляет генерал обвинение — уже не народу, а народам. Поэт-рассказчик не спешит опровергать разоблачения генерала. С бесцеремонным хохотом входящий в стихотворение и тем разрушающий поэзию сна, наглый генерал прежде всего сам антиэстетичен и уже этим противостоит картинам природы, народного труда, заявленным и оправданным в своей красоте и высокой нравственности. И именно согласно генеральскому пожеланию и пониманию показывает поэт «светлую сторону»: забитый и ограбленный народ везет на себе подрядчика, торжествующую свинью с этими его «шапки долой — коли я говорю!» и «проздравляю». Самая «светлая» картина оказывается в произведении самой мрачной.

Как известно, именно в «Железной дороге» Некрасов выразил твердую веру в будущее народа:

Вынесет всё — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.

И если первая часть произведения вполне оправдала эту уверенность, то вторая объяснила, почему

...жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе.

Так сошлись в трагическом оптимизме начала и концы некрасовской поэмы.

Цензура почувствовала громадную взрывчатую силу поэмы, а история ее опубликования и искажений, которым она подвергалась, составляет еще одну страницу в длинном мартирологе некрасовских произведений, подвергавшихся преследованиям.

В начале 60-х годов приступает Некрасов и к работе над произведением, которое сам считал делом своей жизни, которое, по собственным словам автора, двадцать лет собиралось по словечку,—над поэмой «Кому на Руси жить хорошо».

В европейских литературах к тому времени традиция поэм — больших эпических произведений, тесно связанных с жизнью народа и его поэтическим творчеством,— уже оборвалась. Да и в русской поэзии со времен Пушкина не появлялось стихотворных вещей такого масштаба. Что же сделало некрасовское произведение поэмой, да еще народной, эпической? Чем была вызвана она к жизни?

Уже такое вступление к поэме, как пролог, было необычным. Литература нового времени почти не знает прологов, но произведения античной и средневековой литературы обычно начинались с таких прологов-предварений, в которых авторы объясняли, о чем же пойдет речь. Введя пролог, Некрасов стремился сразу же обнажить главную, коренную мысль — идею своей поэмы, указать на значительность ее, предупредить о грандиозности и долговременности событий, которые в произведении совершаются. Потому-то сама поэма росла год от года, являлись новые и новые части и главы. Прошло почти полтора десятилетия, и все же к моменту смерти автора она осталась неоконченной.

Уже само название настраивает на подлинно всероссийский обзор жизни и на то, что жизнь эта будет исследована сверху донизу. С самого начала в произведении определяется и главный герой — мужик. Даже когда речь идет не о народной жизни, он оказывается конечной инстанцией, социальной, нравственной и эстетической, к которой все в поэме сводится, последним судьей и вершителем приговоров. Именно в мужицкой среде возникает знаменитый спор, и семь правдоискателей, с их подлинно мужицким стремлением докопаться до корня, отправляются путешествовать по стране, бесконечно повторяя, варьируя и углубляя свой вопрос: кто счастлив на Руси?

Сюжет путешествия еще со времен Пушкина и Гоголя стал привычным в русской литературе, однако никогда еще путешествующие не были столь необычны. Кажется, со вре-

мен «калик перехожих» никто не странствовал так, как герои поэмы Некрасова, не брался Русь-матушку «ногами перемерять». Но двинувшиеся в путь некрасовские крестьяне — не традиционные странники-богомольцы. Они символ тронувшейся с места, жаждущей перемен пореформенной народной России. Начало поэмы — с говорящей птицей, чудесной скатертью-самобранкой — сказочно. После пролога сказочность уходит, уступая место более живым и современным фольклорным формам. Некрасов четко наметил схему, по которой должно было идти развитие сюжета и нахождение ответа:

Кому живется весело,
Вольготно на Руси?
Роман сказал: помещику,
Демьян сказал: чиновнику,
Лука сказал: попу.
Купчине толстопузому! —
Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.
Старик Пахом потужился
И молвил, в землю глядючи:
Вельможному боярину,
Министру государеву.
А Пров сказал: царю...

Есть свидетельства, что мужикам во время скитаний предстояло повидаться с купцом, участвовать загонщиками в царской охоте, что сюжетно давало возможность встречи и разговора с министром государевым и, наконец, с царем.

Однако сюжет лишь с самого начала развит по этому как будто бы очень четкому и восходящему плану. Вряд ли можно думать, что Некрасов исходил только из противопоставления жизни «счастливых» верхов «несчастливым» низам. Замысел и воплощение его в произведении значительно глубже. Верхи в поэме, как это ни странно, тоже по-своему несчастны: они находятся в состоянии кризиса, когда старое рушится и новое еще не определилось. Это не значит, что симпатии и сочувствие Некрасова распределены, так сказать, равномерно. Нет. Поэт видит эксплуататорскую сущность верхов, беспощаден в сатирическом обличении их, но он также видит и показывает их несостоятельность, бессилие и неблагополучие как будто бы благополучной жизни. Поэма Некрасова — о всеобщем кризисе, который всегда чреват громадными потрясениями, вот почему, уже в силу одного этого обстоятельства, поэма революционна.

О чем бы ни шел рассказ: о попе ли, помещике или чиновнике,— это всегда рассказ человека, близкого народу, глядящего его глазами, говорящего его словом. Тому же служит и найденная Некрасовым точная манера полупесни, полусказа, которая сообщила поэме единство при всем разнообразии ритмических вариаций, особенно в передаче живой речи, в диалогах и т. п. Повествователь иногда максимально, до полного слияния приближен к своим героям, ино-

гда отделяется от них, ибо его взгляд шире и глубже. По сути дела, с первой главы первой части начинается исследование главной жизненной силы России — народа. Именно желание изобразить всю народную Русь повлекло поэта к таким картинам, где можно было бы собрать массу людей. Особенно полно она предстает в главах «Сельская ярмонка», «Пьяная ночь», «Счастливые». Редко где даже у Некрасова мы найдем крестьянский мир в столь живом движении, в обилии характеров, в непрестанной смене ситуаций. Поэт прямо открывает страницы для крестьянского многоголосья. Необычная «пьяная» ночь развязывает языки:

Дорога стоголосая
Гудит! Что море синее,
Смолкает, подымается
Народная молва.

Крестьянский мир предстает предельно обнаженным, во всей хмельной откровенности и непосредственности. Кажется, что сменяющие друг друга слова, фразы, быстрые диалоги и выкрики случайны и бессвязны. Мы почти не успеваем следить за этой на наших глазах рождающейся стоголосой стихией. Хор некрасовской поэмы составлен из множества голосов, то сливающихся в одно, то перебивающих друг друга, контрапунктирующих. И каждая реплика, при всей ее безыскусственности, выхваченности, точна и бьет в одну цель:

Добра ты, царска грамота,
Да не про нас ты писана...

— врывается как бы между прочим в пестрое людское многоголосье.

Почти каждая реплика подана так, что за ней встает сюжет, характер, драматическая ситуация. Таким образом, как бы возникает много рассказов, вовлеченных в сферу поэмы. Но при всей пестроте характеров, при всем разнообразии произносимых речей есть нечто объединяющее. Недаром Некрасов именно здесь упомянул о народном слове, метком, «какого не придумаешь, хоть проглоти перо!». Такое слово может свести разноголосый крик в многоголосный хор. Каждое действующее лицо говорит, кричит, поет от себя, в то же время речь эта точна, близка к эпиграмме, к пословице так, что оказывается и словом целого крестьянского мира.

На фоне этого мира выделяются и отдельные яркие образы крестьян. Это не только результат острого писательского видения и художественной индивидуализации. Это и следствие революционно-демократических воззрений поэта, наблюдавшего социальную дифференциацию. Для Некрасова не существовало некоего единого типа мужика. Вот почему так непримирим писатель к проявлениям рабской мужицкой психологии, а портреты холопов стоят в одном ряду с портретами угнетателей, хотя и приобретают подчас трагическую окраску, как в рассказе «Про холопа примерного — Якова верного».

Уже говорилось, что, изображая жизнь верхов, поэт не следовал первоначально задуманному плану, но о крестьянском враге номер один — о помещике Некрасов рассказал развернуто и в главе первой части — «Помещик» и в особой части — «Последыш». И здесь рассказ очень многомерен. Если обратиться к литературным параллелям и пояснениям, то можно было бы сказать, что некрасовский помещик совместил в себе приметы — эскизные, конечно,— и Ростова-отца из «Войны и мира» Толстого, и Пеночкина из тургеневских «Записок охотника», и Негрова из повести Герцена «Кто виноват?», и Иудушки из щедринских «Господ Головлевых». Это мирный хранитель патриархальных устоев и лицемерный ханжа, самовластный крепостник-деспот. Такой емкий образ вряд ли можно найти в романе, повести или драме. Это образ эпический, который тоже можно назвать своеобразной энциклопедией помещичьего сословия, но включенной в народную поэму, оцененной народным умом.

История же с князем Утятиным, прозванным мужиками Последышем, производит сначала впечатление анекдотической, фарсовой. Мужики ломают «камедь» перед выживающим из ума помещиком, который не может вынести конца крепостного права, разыгрывают видимость его сохранения. Но парадоксы поэмы были лишь отражением парадоксов самой жизни: ведь юридически отмененная «крепь» продолжала жить, проникая во все поры жизни. Мертвая система отношений, уложений, «привычек» держала в своих руках живые силы страны. Именно парадоксальность, неестественность этого положения и продемонстрировал Некрасов, представив его не в обычных бытовых, сложившихся, примелькавшихся и потому мешающих видеть суть дела формах, а в парадоксальных же и вроде бы неестественных. Именно розыгрыш, фарсовость ситуации помогают поэту обнаружить несостоятельность старых отношений, смехом покарать прошлое, однако такое прошлое, которое еще живет и надеется, несмотря на внутреннее банкротство, быть восстановленным. Потому-то «Последыш» вызвал ожесточенные нападки цензуры, считавшей, что вся эта часть поэмы отличается «крайним безобразием содержания» и «носит характер пасквиля на все дворянское сословие». Выморочность Последыша особенно выразительно выступает на фоне здорового вахлацкого мира.

Большое и особое место занимает в поэме образ крестьянки Матрены Тимофеевны. Русская женщина неизменно привлекала внимание Некрасова. Образ героини поэмы как бы синтезирует искания поэта в создании образа крестьянки. Он рисует характер совершенно необычный. Матрена Тимофеевна — умный, самоотверженный человек, у нее «гневное» сердце, она помнит о «неоплаченных» обидах, ее сильный характер складывался в преодолении жизненных трудностей.

Матрена Тимофеевна — женщина исключительная, «губернаторша», но она из этой же трудовой толпы. Ей, умной и сильной, поэт доверил самой рассказать о своей судьбе: «Крестьянка» — единственная часть, целиком написанная от

первого лица. Однако это рассказ отнюдь не только о частной доле. Голос Матрены Тимофеевны — голос самого народа. Потому-то она чаще поет, чем рассказывает, и поет песни, вовсе не изобретенные для нее Некрасовым. «Крестьянка» — самая фольклорная часть поэмы, почти сплошь построенная на народно-поэтических образах и мотивах. Исследователи установили многочисленные источники, из которых поэт черпал материал для своей «Крестьянки». Уже первая глава «До замужества» — не простое повествование, а как бы совершающийся на наших глазах традиционный обряд крестьянского сватовства. Свадебные причеты и заплачки «По избам обряжаются», «Спасибо жаркой баенке», «Велел родимый батюшка» и другие основаны на подлинно народных. Таким образом, рассказывая о своем замужестве, Матрена Тимофеевна рассказывает о замужестве любой крестьянки, обо всем их великом множестве. Вторая же глава прямо названа «Песни». И песни, которые здесь поются, тоже песни общенародные. Персональная судьба некрасовской героини все время проецируется на такую песню, расширяется до пределов общерусских, не переставая в то же время оставаться личной судьбой. Некрасов сумел совместить частную жизнь героини с массовой жизнью, не отождествляя их. Так, умная Матрена Тимофеевна умеет стать в самостоятельное отношение и к народному поверью и к «бедокурой» примете. Как известно, побои и истязания в крестьянской семье были довольно обычны. В то же время характер сильной героини, каким он вырисовывался в поэме, конечно, был бы искажен, случись в ее судьбе такие истязания привычным и частым делом,— Матрена Тимофеевна отнюдь не забитая рабыня. Тем более на всю жизнь врезается единственное ее избиение мужем. Однако в уста героини при рассказе об этом вложена такая песня («Мой постылый муж подымается, за шелкову плеть принимается...»), которая, не искажая индивидуальной биографии, придает явлению широкую типичность. Типичность усилена и тем, что песню эту как характерную и повсеместную подхватывает мужицкий хор — странники, что «полцарства перемеряли». Некрасов все время стремился расширить значение образа героини, словно бы объять как можно большее количество женских судеб. В черновой рукописи одной из глав этой части сохранилась авторская помета: «NB. Надо прибавить о положении солдатки и вдовы вообще». Из этой записи видно, что писатель все время думает о русской женской доле «вообще»: труженицы, матери, солдатки, вдовы... И здесь поэт прибегает к самым разным «приемам», которые позволяют вместить новые и новые рассказы и сюжеты. Как известно, сама Матрена Тимофеевна, добившись освобождения мужа, не оказалась солдаткой, но ее горькие раздумья в ночь после известия о предстоящем рекрутстве позволили Некрасову «прибавить о положении солдатки». Образ героини создан так, что она как бы все испытала и побывала во всех состояниях, в каких могла побывать русская женщина.

В рассказе Матрены Тимофеевны воссоздан и один из самых примечательных образов поэмы — Савелий — богатырь святорусский. На реальнейший образ крестьянина-бунтаря лег отблеск древних преданий. Впервые с такой силой вошла в поэму и уже до конца не уйдет из нее тема народного богатырства, находящая опору в былинной истории. Некрасовское определение *святорусский* сразу взывало к русскому героическому эпосу, к образу богатыря богатырей — Святогора. Однако, начав с былинного слова «богатырь свято...», Некрасов дает ему другое продолжение — «богатырь святорусский». Слову придан обобщенный, всероссийский смысл, но приложено оно отнюдь не к традиционному образу богатыря, а к образу крестьянина. Определение из сферы воинского эпоса переадресовано простому мужику Савелию — имя тоже совсем не традиционно богатырское. Однако Некрасов отнюдь не снижает тем былинный эпос до мужицкой жизни, но саму эту крестьянскую жизнь возводит в ранг высокой героики. Не только идущий до конца мститель за народные страдания, но и подвижник, мудрец-философ — таков Савелий в поэме. Все призвано создать образ богатырский. Как точно, например, соответствует общему стилю повествования своеобразная некрасовская поэтика названий. Как прекрасно вписываются упорные характеры мужиков и прежде всего самого Савелия в край болот и лесов — Корежину. Название реальной реки (Корега) поэт поднимает до образа-символа — обозначения целого края. Как точно соответствует полубылинному образу буйного Савелия «Буй-город», куда его отправляют в острог. Вновь название реального города, кстати, заменившее нейтральное и прозаическое Данилов, которое было в черновиках, становится и поэтической формулой.

Матрена Тимофеевна упоминает в поэме о единственном в своем роде костромском (хотя Кострома в поэме и не названа) памятнике Сусанину:

Стоит из меди кованный,
Точь-в-точь Савелий дедушка,
Мужик на площади.
«Чей памятник?» — «Сусанина».

Реальный памятник, созданный скульптором В. М. Демут-Малиновским, был скорее памятником Михаилу Романову, чем Ивану Сусанину, изображенному коленопреклоненным возле колонны с бюстом царя. Некрасов не только умолчал, что мужик-то стоит на коленях. Сравнением с бунтарем Савелием образ костромского мужика Сусанина получал впервые в русском искусстве своеобразное, по сути, антимонархическое осмысление. В то же время сравнение с героем русской истории Иваном Сусаниным добавило последний штрих в монументальную фигуру корежского богатыря, святорусского крестьянина Савелия.

Как видим, любая деталь здесь полна значения и органично входит в общий замысел поэмы, призванной воспеть народ. Именно воспеть, говоря совсем не фигурально. Песня

постоянно звучит в поэме. Иногда она фольклорна, как в «Крестьянке», иногда чисто литературна, особенно там, где Некрасов вводит читателя в область своих идей, дум, настроений. Таковы в основном песни в части «Пир на весь мир». Эта часть в большой мере должна была стать ответом на вопрос, поставленный в заглавии.

«Доброе время — добрые песни» — заключительная глава «Пира». Если предшествующая носит название «И старое и новое», то эту можно было бы озаглавить «И настоящее и будущее». Именно устремленность в будущее много объясняет в этой главе, не случайно названной «Песни», ибо в них вся ее суть. Есть здесь и человек, эти песни сочиняющий и поющий,— Гриша Добросклонов.

Многое в русской истории толкало художников к созданию образов, подобных образу Гриши. Это и «хождение в народ» революционных интеллигентов в начале семидесятых годов прошлого века. Это и воспоминания о демократических деятелях первого призыва, так называемых «шестидесятниках» — прежде всего о Чернышевском и Добролюбове. Образ Гриши одновременно и вполне реальный и в то же время очень обобщенный, даже условный. С одной стороны, он человек совершенно определенного быта и образа жизни: сын бедного дьячка, семинарист, простой и добрый парень, любящий деревню, мужика, народ, желающий ему счастья и готовый бороться за него. Вместе с тем это и более обобщенный образ молодости, устремленной вперед, надеющейся и верящей. Гриша весь в будущем. Отсюда некоторая его неопределенность, только намеченность. Потому-то Некрасов, очевидно, не только из цензурных соображений зачеркнул уже на первом этапе работы стихи (хотя они печатаются в большинстве послереволюционных изданий поэта):

Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь.

Так действительно заканчивали шестидесятники. Так действительно только что драматически завершилось «хождение в народ» семидесятников. Но поэт, видимо, не хотел этим мрачным предначертанием обреченности заканчивать стихи, посвященные новому человеку, человеку будущего, пусть еще неясного. И «идти в народ» Грише не нужно. Он самим народом рожден и выдвинут. Некрасов всегда верил в молодежь и неизменно обращался к ней с «добрыми» песнями: «Саша», «Песня Еремушке», «Железная дорога». Ему были понятны и дороги молодой идеализм, доступность приятию высокого и тяга к бескорыстному служению. Вот почему и в завершающих стихах «Кому на Руси жить хорошо» поэт доверил, как бы передавая эстафету, юноше свои последние песни. Пять таких «добрых» песен образуют нечто вроде особой поэмы со своим внутренним сюжетом. С обра-

зом Гриши они объединены, как мы уже сказали, не случайно, но тем не менее довольно условно.

Над Русью оживающей
Иная песня слышится:
То ангел милосердия,
Незримо пролетающий
Над нею, души сильные
Зовет на честный путь —

...И ангел милосердия
Недаром песнь призывную
Поет над русским юношей...

В известном смысле эти песни пропеты не столько русским юношей, сколько над русским юношей. Собственно, все вместе они образуют тот идейно-художественный сгусток, в котором и заключено решение поставленного вопроса — «Кому на Руси жить хорошо» во всей его масштабности и сложности. Умирающий поэт спешил. Поэма не была окончена, но без итога она не оставлена.

Уже первая песня на вопрос-формулу «Кому на Руси жить хорошо?» дает ответ-формулу:

Доля народа,
Счастье его,
Свет и свобода
Прежде всего!

Смысл итоговых стихов поэмы действительно в призыве к борьбе за народное счастье, но смысл всей поэмы в том, что она показывает: такой народ заслуживает и счастья и борьбы за него.

В минуты унынья, о родина-мать!
Я мыслью вперед улетаю.
Еще суждено тебе много страдать,
Но ты не погибнешь, я знаю.

Некрасов, создавший эпопею народной жизни, действительно знал это и всем содержанием своей поэмы представил тому доказательства. Сам по себе образ Гриши не отвечает ни на вопрос о счастье, ни на вопрос о счастливце. Счастье одного человека (чьим бы оно ни было и что бы под ним ни понимать, хотя бы и борьбу за всеобщее счастье) еще не разрешение вопроса, так как поэма выводит к думам о «воплощении счастья народного», о счастье всех, о «пире на весь мир». Последние «песни» поэмы — стихи лирические, но особые: они могли возникнуть лишь с опорой на могучий народный поэтический эпос. Многое в них идет от надежды, от пожелания, от мечты, но такой, которая находит реальную опору в жизни, в народе, в стране — Россия. Эпопея в самой себе несла разрешение.

«Кому на Руси жить хорошо?» — поэт задал в поэме великий вопрос и дал великий ответ в последней песне «Русь».

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная
Матушка Русь!

В рабстве спасенное
Сердце свободное —
Золото, золото
Сердце народное!

...Встали — небужены,
Вышли — непрошены,
Жита по зернышку
Горы наношены!

Рать подымается —
Неисчислимая!
Сила в ней скажется
Несокрушимая!..

В семидесятые годы противоречия русской жизни обострились из-за бурно развивающегося капитализма. К известным дольщикам народной работы («бог, царь и господин») добавился четвертый — буржуазия. Некрасов давно, еще в сороковые годы, отметил появление нового социального типа и следил за его эволюцией. Это и дало возможность в годы семидесятые написать большое сатирическое полотно «Современники», нечто вроде сатирического аналога «Кому на Руси жить хорошо». По сути, намеченная в сюжете «Кому на Руси жить хорошо» сцена с купцом и должна была развернуться в большую картину, ибо Россия имела дело уже не с привычным «Кит Китычем», а с объединениями — шайками дельцов. Если первая часть «Юбиляры и триумфаторы» — панорама жизни верхов в целом, то вторая — с характерным названием «Герои времени» — посвящена именно грабителям-плутократам.

По существу же, замысел «Кому на Руси...» получил развитие еще в одном направлении. Мы имеем в виду поиски героя русской жизни, отчасти реализовавшиеся в Грише Добросклонове. Этот вопрос оказался центральным и в историко-революционных поэмах, посвященных декабристам: «Дедушка» и «Русские женщины».

Для Некрасова, всегда жившего интересами современности, такое обращение к истории на первый взгляд необычно. Причины его многообразны. Здесь и невозможность сказать в полный голос о революционерах-современниках и желание представить их дела не как случайные, изолированные эпизоды, а в их исторической преемственности, в национальной традиции. Поэмы также отличает желание осмыслить события и их участников масштабно и обобщенно. Уже в коррек-

туре писатель заменит первоначальное заглавие «Декабристки» на «Русские женщины».

Как известно, после восстания 14 декабря 1825 года царский режим сделал все, чтобы вытравить память о декабристах, опакостить и ошельмовать в глазах общества их дело. И вдруг случилось, казалось, непредвиденное. Подвиг декабристов почти немедленно получил высшее признание, высшую нравственную и эстетическую санкцию. И дала эту санкцию русская женщина. После суда над декабристами за сосланными на каторгу последовали их жены: Е. И. Трубецкая, М. Н. Волконская, А. Г. Муравьева, Е. П. Нарышкина и другие. Последовали в Сибирь, оставляя жизнь удобную и богатую, часто светскую, даже придворную, покидая детей и родных. Последовали вопреки угрозам и жестоким мерам пресечения, принимавшимся царем и властями.

Еще в 1857 году Тарас Шевченко назвал подвиг декабристок «богатырской темой». И тема эта дождалась своего часа в русской литературе. В 1872 году в четвертом номере «Отечественных записок» появились некрасовские «Русские женщины». Это была первая часть поэмы — «Княгиня Трубецкая», напечатанная, правда, со многими цензурными искажениями и пропусками. Менее чем через год была опубликована «Княгиня Волконская».

Многое говорит за то, что поэма должна была состоять из нескольких частей; героиней одной из них, как можно судить по наброскам плана, мыслилась А. Г. Муравьева.

Осуществленные части поэмы сохраняют большую самостоятельность. В то же время художественный и идейный смысл каждой из них значительно усиливается именно в соотнесении с другой. Таким образом, они представляют единое целое. Уже в работе над первой частью Некрасов опирался на исторические источники, прежде всего на «Записки декабриста» А. Розена, изданные анонимно в 1870 году в Лейпциге, хотя сведения собственно о Трубецкой, которыми располагал поэт, были довольно скудны. Это заставило его, сохраняя верность фактической основе, достаточно свободно воссоздавать психологический тип героини, во многом романтизируя его. Вообще поэма представляет сплав картин, выполненных в реалистической манере (зарисовки жизни Италии и особенно восстание на Сенатской площади) с романтическим изображением событий. Композиция поэмы отличается некоторой отрывочностью, фрагментарностью резко контрастных сцен, героиня охвачена одним всепоглощающим порывом. Все это возвращает нас к романтической поэме 20-х годов, к творчеству не только Пушкина той поры, но и Рылеева, к декабристской поэзии. Так романтизм Некрасова, воссоздавая колорит ушедшей эпохи всем своим образным строем, самой фактурой стихов, служит реализму.

По-иному написана «Княгиня Волконская». «Бабушкины записки» — так пояснил поэт эту часть поэмы. В работе над нею Некрасов действительно опирался на «Записки» Марии Николаевны Волконской. Правда, «Записки» были опубликованы впервые лишь в 1904 году. Но поэт знал их. Хранивший

«Записки» сын Волконской, Михаил Сергеевич, по просьбе поэта летом 1872 года в течение нескольких вечеров читал Некрасову этот редкий документ эпохи, тут же переводя его: записи княгини были сделаны по-французски. В дальнейшем Волконский рассказал о потрясении, которое испытал поэт: «Вспоминаю, как при этом Николай Алексеевич по нескольку раз в вечер вскакивал со словами: «Довольно, не могу», бежал к камину, садился к нему и, схватясь руками за голову, плакал, как ребенок» [1].

В своей поэме Некрасов не только следовал фактам, изложенным в «Записках», но и стремился передать их тон, который сам называл полным «безыскусственной прелести». Для этого потребовался другой, нежели в первой части, стих. Быстрый, напряженный, столь характерный для романтической поэмы ямб, которым написана «Княгиня Трубецкая», сменился во второй поэме гораздо более спокойным, разговорным амфибрахием, а рассказ от первого лица определил глубокий задушевный лиризм повествования и сообщил ему особую достоверность личного свидетельства. Сама форма произведения — семейные воспоминания — позволила поэту с большой полнотой воссоздать характер героини, проследить ее жизнь. Сюжет развертывается как хронологически последовательные события: родительский дом, воспитание, замужество, борьба за право уехать в ссылку к мужу-декабристу...— все это нарисовано с бытовой и исторической достоверностью. «Княгиня Трубецкая» обрывалась кульминационным взрывом, когда старик губернатор, который буквально пытал героиню, кричит, потрясенный ее стойкостью:

Я не могу, я не хочу
Тиранить больше вас...
Я вас в три дня туда домчу...
Эй! запрягать, сейчас!..

Тот факт, что в финале «Княгини Волконской» происходит встреча Волконской с Трубецкой и наконец свидание обеих с ссыльными, придает сюжетную завершенность обеим поэмам и произведению в целом.

И, может быть, самое главное в поэмах — это динамика характеров героинь и особенно княгини Волконской, становление и даже перестройка их духовного мира, выход к подлинным ценностям бытия. С. Н. Раевская возмущалась: «Рассказ, который он (Некрасов.— *Н. С.*) вкладывает в уста моей сестры, был бы вполне уместен в устах какой-нибудь мужички» [2].

---

[1] Записки княгини Марии Николаевны Волконской с предисловием и приложением издателя князя М. С. Волконского. СПб., 1904, с. XVII.

[2] Архив декабриста С. Г. Волконского под ред. М. С. Волконского и Б. Л. Модзалевского, т. I, ч. I. Пг., 1918, с. XV.

Но поэт не искажал исторической правды. Он выявлял (опираясь, кстати сказать, на «Записки» самой М. Н. Волконской) ту широту исторической правды, ту ее значительность, которая превращала «декабристок» в «русских женщин». Княгиня Волконская в поэме, не переставая быть княгиней, становилась «мужичкой», способной на такое слово:

Быть может, вам хочется дальше читать,
    Да просится слово из груди!
Помедлим немного. Хочу я сказать
    Спасибо вам, русские люди!

. . . . .

Пусть много скорбей тебе пало на часть,
    Ты делишь чужие печали,
И где мои слезы готовы упасть,
    Твои уж давно там упали!..
Ты любишь несчастного, русский народ!
    Страдания нас породнили...

«...Самоотвержение, высказанное ими,— писал о декабристках Некрасов,—останется навсегда свидетельством великих душевных сил, присущих русской женщине...» Страдание, самоотвержение, великие душевные силы — вот что роднит «величавую славянку» Дарью и «мужичку» Марию Волконскую.

Большой советский поэт Михаил Исаковский чутко ощутил это родство. Одно из своих стихотворений военных лет, которое сразу же стало знаменитым, он назвал «Русской женщине», почти точно повторив название некрасовской поэмы («Русские женщины»). Причем рассказал Исаковский о русской женщине в стихах, которые оказались близки другой некрасовской поэме — «Мороз, Красный нос».

Новые тенденции проявляются в поздней лирике Некрасова. Его лирика семидесятых годов более чем когда-либо несет настроение сомнений, тревоги, подчас даже пессимизма. Все чаще образ мира как крестьянского жизнеустройства вытесняется образом мира как общего миропорядка. Масштабы, которыми меряется жизнь, становятся поистине глобальными. Позднюю лирику поэта проникает ощущение общего неблагополучия и катастрофичности. В стихах появляется стремление к максимальной обобщенности, желание осмыслить мир в целом, и как следствие этого — тяга к исчерпывающей афористичности, к всеохватывающей формуле:

Дни идут... все так же воздух душен,
Дряхлый мир — на роковом пути...
Человек — до ужаса бездушен,
Слабому спасенья не найти!

Отталкиваясь от конкретных впечатлений и фактов, поэт устремляется к философскому осмыслению жизни:

Страшный год! Газетное витийство
И резня, проклятая резня!
Впечатленья крови и убийства,
Вы вконец измучили меня!

О любовь! — где все твои усилья?
Разум! — где плоды твоих трудов?
Жадный пир злодейства и насилья,
Торжество картечи и штыков!

Этот год готовит и для внуков
Семена раздора и войны.
В мире нет святых и кротких звуков,
Нет любви, свободы, тишины!

Где вражда, где трусость роковая,
Мстящая — купаются в крови,
Стон стоит над миром, не смолкая...

Мир... в мире... над миром...— все время повторяет поэт. Некрасову в это время свойственно мыслить категориями мира. Вот почему его поэзию конца шестидесятых — семидесятых годов не всегда можно мерять мерками сороковых и даже начала шестидесятых годов, нельзя упорно заключать ее и в рамки собственно народнической идеологии и литературы.

Ощущение «вселенского горя», мира в целом как мира «дряхлого», страшного, сознание безысходности «рокового пути» приводят к новым тенденциям в реализме поэта. И здесь Некрасов достигает громадной художественной силы, подготавливая литературу нового времени, прежде всего поэзию Блока.

Интересно в этом смысле стихотворение «Утро». Сравнительно небольшое, оно стягивает многие сюжеты и образы творчества писателя.

Стихотворение — у Некрасова — одно из самых мрачных. Мрачных произведений у поэта «мести и печали» всегда хватало. Как писал он в стихах тех же лет «Уныние»: «Недуг не нов (но сила вся в размере)». Дело, впрочем, не только в размере. Здесь есть нечто новое во взгляде на жизнь и в том, как эта жизнь представлена. Некрасов сороковых — шестидесятых годов обычно воспринимает зло как конкретное, индивидуальное, будь то безобразная сцена избиения лошади или надругательство над крепостным человеком. В семидесятые же годы зло обобщается, масштаб его укрупняется.

В «Утре» — картина «страшного мира», в котором все «заодно»: и нищая деревня, и город «не краше», и люди, и природа (погода, наводненье, пожар). Здесь как бы пропадают индивидуальные проявления зла и страдания, конкретные носители того и другого, к которым поэт всегда был так внимателен и восприимчив.

Интересно, что почти к каждой строке некрасовского «Утра» можно найти в его же произведениях соответствие — сюжет.

На позорную площадь кого-то
Повезли — там уж ждут палачи —

и мы вспоминаем:

Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую...

То, что было развернутой картиной, вызывавшей активную реакцию сочувствия, стало простой информацией, а человек исчез за этим — «кого-то».

Проститутка домой на рассвете
Поспешает, покинув постель...

Сколько поведал нам поэт об этих несчастных проститутках («Убогая и нарядная», «Еду ли ночью...», «Когда из мрака заблужденья...»), и всегда это была драма индивидуальная. Здесь же лишь упоминание проститутки, не задерживающее нашего внимания ни одним частным штрихом, обозначение всех падших женщин вообще, как обозначены и все вообще торгаши:

Торгаши просыпаются дружно
И спешат за прилавки засесть.

И здесь нет обличения торгашей, только констатация:

Целый день им обмеривать нужно,
Чтобы вечером сытно поесть.

Чу! из крепости грянули пушки!
Наводненье столице грозит...
Кто-то умер: на красной подушке
Первой степени Анна лежит.

И «Анна» тут не средство возвеличивания (ср. в «Секрете»: «Имею и Анну с короною»,— хвастается герой) и не предмет обличения (первая-то степень и делает ее особенно жалкой).

Дворник вора колотит — попался!
Гонят стадо гусей на убой;
Где-то в верхнем этаже раздался
Выстрел — кто-то покончил собой...

В первом стихотворении цикла «На улице» — «Вор» тоже была изображена сцена поимки вора:

Спеша на званый пир по улице прегрязной,
Вчера был поражен я сценой безобразной:

Торгаш, у коего украден был калач,
Вздрогнув и побледнев, вдруг поднял вой и плач
И, бросясь от лотка, кричал: «Держите вора!»
И вор был окружен и остановлен скоро.
Закушенный калач дрожал в его руке;
Он был без сапогов, в дырявом сюртуке;
Лицо являло след недавнего недуга,
Стыда, отчаянья, моленья и испуга...

Какую пристрастность и какое внимание к вору поневоле мы видим в этой развернутой картине! Они находят выражение в предельной индивидуализации изображения.

В «Утре» — сообщение, почти равнодушное.

Дворник вора колотит — попался!
Гонят стадо гусей на убой...

«Похороны», ставшие народной «жалостной» песней, тоже отличает пристальное внимание к судьбе человека, необычная в нее углубленность. Первоначально биография самоубийцы была разработана еще более тщательно. Это очень характерно для некрасовского поэтического метода: чтобы уяснить конкретную судьбу, конкретную жизнь и смерть, ему, судя по черновым записям, нужны своеобразные «леса».

В «Утре» снова лишь «констатация факта смерти»:

Где-то в верхнем этаже раздался
Выстрел — кто-то покончил собой...

Чуть ли не кощунственно уравнение этой, да и других смертей с «убоем» гусей.

Вообще в «Утре» предстали, если воспользоваться словами Блока, настоящие «пляски смерти»: убийство («будет дуэль»), «просто» смерть («кто-то умер»), самоубийство («кто-то покончил собой»). Судьбы, лица, люди исчезают за безличным «кого-то повезли», «кто-то умер», «где-то... кто-то покончил собой». Но именно это позволяет рисовать всеобщую драму жизни-смерти «страшного мира».

Однако самое странное даже не в нагнетении мрачных событий. Ведь рассказано о фактах в своем роде исключительных. Но сама исключительность их поглощена обыденностью раз и навсегда заведенной жизни. Фраза «начинается всюду работа» — экспозиция картины и определение ее обычности и повторяемости. Именно вследствие необычайной концентрированности, сгущенности исключительного оно переходит в свою противоположность. Один из главных и страшных смыслов произведения содержится в этой уничтоженности исключительного обыденностью. Проблема и в том, что сама смерть уже не проблема. Отсюда жуткий и вроде неожиданный образ: «гонят стадо гусей на убой». В разоблачении поэт идет до конца.

В «Утре» Некрасова страшная обнаженность жизни находит выражение и в своеобразной наготе рассказа. Особенность образной структуры произведения заключается в отсутствии «образов», начисто пропадает какая бы то ни было метафоричность, каждое слово употреблено в своем прямом значении и уравнено с другими.

В то же время именно потому, что образы «дряхлого мира», «рокового пути» для поэта так укрупнились, он ищет не только противостоящие положительные начала, но и новую и большую меру для них. Так изменяются образы поэта, а особенно героя и матери. На примере образов героя и матери это проявляется особенно явственно.

Идеал гражданина, высшего человека, героя со временем менялся у Некрасова, все более приобретая качества высшей духовности и идеальности, абсолютизируясь и даже осеняясь именем Христа, осознанного, конечно, совсем не в официальном церковно-православном духе. Дистанция, пройденная на этом пути Некрасовым, явственно отмечается двумя произведениями: «Памяти приятеля» (ныне печатается под названием «Памяти Белинского».— *Н. С.*) и «Пророк». Первое связано с именем Белинского, второе — с именем Чернышевского.

Стихотворение «Памяти приятеля» было написано к пятилетию со дня смерти Белинского. Есть все основания думать, что лишь цензурные обстоятельства не позволили тогда Некрасову назвать имя критика-демократа. В стихотворении создан образ именно и только Белинского. Недаром Тургенев воспользовался строкой «упорствуя, волнуясь и спеша» в своих воспоминаниях о Белинском как точно зафиксированной неповторимой психологической приметой великого критика.

Белинский был для Некрасова «пророком» не менее, чем Чернышевский, Чернышевский был «приятелем» Некрасова еще более, чем Белинский. И все же в одном случае — «приятель», в другом — «пророк».

Хотя судьба Чернышевского, видимо, тоже стояла за образом, создаваемом в «Пророке», смысл стихотворения бесконечно шире. Образ пророка — высший тип героизма, духовности, подвижничества, ни за кем персонально не закрепленный и никем персонально до конца не выраженный. «Памяти приятеля» — только о Белинском. «Пророк» — далеко не только о Чернышевском. Тяга к такому типу особенно характерна для Некрасова семидесятых годов и входит в общие поиски высших положительных начал.

Подобно образу героя-гражданина не оставался неизменным образ матери. Еще в пятидесятые годы Некрасов создает этот образ в поэме «Рыцарь на час». Здесь слиты в одно и реальные биографические приметы матери поэта и идеальные начала в ней, в общем выходящие за пределы конкретного лица, хотя и связанные с ним. В дальнейшем, в семидесятые годы, этот образ как бы раздваивается и предстает в двух разных произведениях. Более реальный — в поэме «Мать», тесно связанной с ранними некрасовскими

разработками этой темы. Поэма «Мать» во многом автобиографична. Образ матери здесь сравнительно с «Рыцарем на час» гораздо более конкретен, а в черновых набросках к поэме были намечены сцены (например, с любовницей отца Аграфеной), которые еще более его обытовляли. Поэма не была закончена и вряд ли только из-за болезни. Уже в начале произведения автор обращался к матери:

Благослови, родная: час пробил!
В груди кипят рыдающие звуки,
Пора, пора им вверить мысль мою!
Твою любовь, твои святые муки,
Твою борьбу — подвижница, пою!..

Однако вопреки этой заявке из поэмы ушло нечто такое, что было уже в «Рыцаре на час», а именно — идеальность. Зато эта идеальность в бесконечно более высокой степени воплотилась в другом стихотворении — одном из лучших у Некрасова — «Баюшки-баю», созданном менее чем через месяц после того, как прекратилась работа над поэмой «Мать».

В стихотворении «Баюшки-баю» мать — последнее прибежище перед лицом всех потерь, утраты музы, перед лицом самой смерти. Мать утешает, прощает:

Еще вчера людская злоба
Тебе обиду нанесла;
Всему конец, не бойся гроба!
Не будешь знать ты больше зла!
Не бойся клеветы, родимый,
Ты заплатил ей дань живой,
Не бойся стужи нестерпимой:
Я схороню тебя весной.

Мать наделена здесь прерогативами божества, всевластием абсолютным.

Таким образом, в поэзии Некрасова есть некая восходящая триада развития образа, более того — идеи матери: мать, мать-родина, мать — высшее идеальное начало. Подобное движение видим и в процессе создания образа, и даже шире — идеи героя: приятель, гражданин, пророк. При этом у поэта происходит своеобразное возвращение к «наивностям» «первоначального христианства с его демократически-революционным духом» [1], о котором говорил В. И. Ленин.

Конечно, для Некрасова бога как такового, в церковно-православном представлении, не существовало. Тем более не приходится говорить о чем-то складывающемся в религиозную концепцию. И все же последние стихи поэта отмечены поисками абсолютного утверждения перед лицом абсолютного отрицания — смерти.

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 33, с. 43.

Интересно, что если в поэме «Мать» он, поэт, лирический герой, успокаивает, утешает мать, то в «Баюшки-баю» это делает она:

Пора с полуденного зноя!
Пора, пора под сень покоя;
Усни, усни, касатик мой!
Прийми трудов венец желанный,
Уж ты не раб — ты царь венчанный;
Ничто не властно над тобой!

Не страшен гроб, я с ним знакома;
Не бойся молнии и грома,
Не бойся цепи и бича,
Не бойся яда и меча,
Ни беззаконья, ни закона,
Ни урагана, ни грозы,
Ни человеческого стона,
Ни человеческой слезы.

Но Некрасов слишком твердо стоял на земле, и есть все-таки последнее земное утешение, «властное» над ним до конца:

Усни, страдалец терпеливый!
Свободной, гордой и счастливой
Увидишь родину свою,
Баю-баю-баю-баю!

«Баюшки-баю» и другие поздние стихи вместе с поэмой «Мать» вошли в сборник, который стал как бы поэтическим завещанием поэта.

Свои «Последние песни» — именно так назвал Некрасов книгу, которая вышла в марте 1877 года,— он допевал, будучи смертельно больным. Краткие перерывы в мучительно протекавшей болезни отдавались стихам. Еще раз являл поэт не только колоссальную силу поэтической энергии, но и могучую силу духа. Умер Николай Алексеевич Некрасов 27 декабря 1877 года (8 января 1878 года по новому стилю). Но поэзия его продолжает жить, и не только сама по себе. Как всякая великая творческая стихия, она оплодотворила многие таланты, большие и малые, отозвалась в стихах А. Блока и Вл. Маяковского, докатилась до наших дней, сказалась в лирике М. Исаковского и в эпосе А. Твардовского. Новые встречи с Некрасовым — это всегда и встречи с его наследниками и продолжателями, и эти встречи не прекратятся, пока жива русская поэзия, русское слово.

Н. Скатов.

СТИХОТВОРЕНИЯ
И
ПОЭМЫ

1844-1860

ГОВОРУН

Записки петербургского жителя А. Ф. Белопяткина

Глава 1

Две строчки точек.— Раздумье.— Эфир и канцелярия.— Несколько автобиографических сведений.— Нечто о супруге моей, Агафье Леонардовне.— Вступление.— О Санкт-Петербурге.— Приятности столичной жизни.— Шарманщик и шарманка.— Литература.— Иллюстрированные издания.— Большой театр.— Девица «Жизель».— Люция Гран.— «Руслан и Людмила».— Египетская магия.— Московские цыгане.— Груша, Матрена и я.— О том, какая история случилась с Гостиным двором.— Заключение.

1

Да, новый год!. . . . . . .
. . . .

...Я предан сокрушению,
Не пьется мне, друзья:
Мир ближе к разрушению,
К могиле ближе я.
Льдом жизненного холода
Не сковано еще,—
В вас сердце, други, молодо,
Свежо и горячо.
Еще вам свет корыстию
Рассудка не растлил
И жизни черной кистию
Злой рок не зачернил.

За счастьем безбоязненно
Пока вы мчитесь вдаль,
И гостьей неприязненной
Не ходит к вам печаль.
Увы!.. она пробудится:
Час близок роковой!
И с вами то же сбудется,
Что сталося со мной:
В дни возраста цветущего
Я так же был готов
Взять грудью у грядущего
И славу и любовь,
Кипел чудесной силою
И рвался всё к тому,
Чего душой остылою
Теперь и не пойму.
В житейских треволнениях
Терпел и стыд и зло
И видел в сновидениях
В венке свое чело.
Любил — и имя чудное
В отчаяньи твердил,—
То было время трудное:
Насилу пережил!

2

Когда восторг лирический
В себе я пробужу,
Я вам биографический
Портрет свой напишу.
Тогда вы всё узнаете,—
Как глуп я прежде был,
Мечтал, как вы мечтаете,
Душой в эфире жил,
Бежать хотел в Швейцарию,—
И как родитель мой
С эфира в канцелярию
Столкнул меня клюкой.
Как горд преуморительно
Я в новом был кругу

И как потом почтительно
Стал гнуть себя в дугу.
Как прежде, чем освоился
Со службой, всё краснел,
А после успокоился,
Окреп и потолстел.
Как гнаться стал за деньгами,
Изрядно нажился,
Детьми, и деревеньками,
И домом завелся...

3

Но счастье скоротечное
Изменчиво и зло!
Друзья мои сердечные,
Не вечно мне везло!
Терплю беду великую
С семейной стороны:
Я взял тигрицу дикую
Во образе жены...
Но что вперед печалиться?
Покуда погожу...
Наверно, всякий сжалится,
Как всё перескажу.
Большой портрет к изданию
Списать с себя велю
И в Великобританию
Гравировать пошлю.
Как скоро он воротится,
Явлюсь на суд людской,
Без галстуха, как водится,
С небритой бородой.

4

Чтоб дни мои смиренные
В несчастье коротать,
Записки современные
Решился я писать.

Дворянство и купечество
И всех других чинов
И званий человечество
Я видел без очков.
Как мир земной вращается,
Где тихо, где содом,—
Всё мною замечается,
Сужу я обо всем.
Болтать мне утешительно,
И публику прошу
Всё слушать снисходительно,
Что я ей расскажу.

5

Столица наша чудная
Богата через край,
Житье в ней нищим трудное,
Миллионерам — рай.
Здесь всюду наслаждения
Для сердца и очей.
Здесь всё без исключения
Возможно для людей:
При деньгах вдвое вырасти,
Чертовски разжиреть,
От голода и сырости
Без денег умереть
(Где розы, там и тернии —
Таков закон судьбы!
Бедняк, живи в губернии:
Там дешевы грибы).
С большими здесь и с малыми
В одном дому живешь
И рядом с генералами
По Невскому идешь.
Захочешь позабавиться —
Берешь газетный лист,
Задумаешь прославиться —
На то есть журналист:
Хвалы он всем славнейшие
Печатно раздает,

И ка́к — душа добрейшая —
Недорого берет!
Чего б здесь не увидели,
Чего бы не нашли?
Портные, сочинители,
Купцы со всей земли,
Найлучшие сапожники,
Актеры, повара,
С шарманками художники
Такие, что — ура!..
Я в них влюблен решительно
И здесь их воспою...

6

Поют преуморительно
Они галиматью.
Прикрыв одеждой шкурочку
Для смеха и красы,
С мартышками мазурочку
Выплясывают псы,
И сам в минуту пьяную,
По страсти иль нужде,
Шарманщик с обезьяною
Танцует *падеде*.
Всё скачет, всё волнуется,
Как будто маскарад.
А русский люд любуется:
«Как немцы-то хитрят!»
Да, сильны их познания,
Их ловкость мудрена...
Действительно, Германия —
Ученая страна!

(Захочешь продолжения
Описанных чудес —
Ступай на представление
Прославленных пиес.)

7

Придет охота страстная
За чтение засесть —
На то у нас прекрасная
Литература есть.
Цепями с модой скованный,
Изменчив человек:
Настал *иллюстриро́ванный*
В литературе век.
С тех пор, как шутка с «Нашими»
Пошла и удалась,
Тьма книг с политипажами
В столице развелась.
Увидишь тут Суворова
(Известный был герой),
Историю которого
Состряпал Полевой.
Одетого как барина,
Во всей его красе,
Увидишь тут Булгарина,
В бекеше, в картузе.
Различных тут по званию
Увидишь ты гуляк
И целую компанию
Салопниц и бродяг.
Рисунки чудно слажены,
В них каждый штрих хорош,
Иные и раскрашены:
Ну, нехотя возьмешь!
Изданья тоже славные,—
Бумага так бела,—
Но часто презабавные
Выходят тут дела.
Чем книга нашпигована,
Постигнуть нет ума:
В ней всё иллюминовано,
А в тексте — мрак и тьма!
В рисунках отличаются
Клот, Тимм и Нетельгорст,
Все ими восхищаются...
Художественный пёрст!

8

Когда беда случилася
И хочешь, чтоб в груди
Веселье пробудилося,—
В Большой театр иди.
Так ножки разлетаются,
Так зала там блестит,
Так платья развеваются —
Величественный вид!..
Ох!.. много с трубкой зрительной
Тут можно увидать!
Ее бы «подозрительной»
Приличней называть.
Недавно там поставили
Чудесную «Жизель»
И в ней плясать заставили
Приезжую мамзель.
Прекрасно! восхитительно!
Виват,[1] девица Гран!
В партере все решительно
Кричали: «*Се шарман!*[2]»
Во мне зажглася заново
Поэзией душа...
А впрочем, Андреянова
Тут тоже хороша!

9

В душе моей остылую,
Лишенную всех сил,
«Русланом и Людмилою»
Жизнь Глинка разбудил.
Поэма музыкальная
Исполнена красот,
Но самое печальное
Либретто: уши рвет!

---

[1] Браво (*лат.*) — *Ред.*
[2] Прелестно (*франц.*) — *Ред.*

Отменно мне понравилась
Полкана голова:
Едва в театр уставилась
И горлом здорова!
Искусно всем украшена —
От глаз и до усов.
Как слышал я, посажено
В ней несколько певцов
(Должно быть, для политики,
Чтоб петь ее слова) —
Не скажут тут и критики:
«Пустая голова!..»

10

Извел бы десть бумаги я,
Чтоб только описать,
Какую Боско магию
Умеет представлять.
Ломал он вещи целые
На мелкие куски,
Вставлял середки белые
В пунцовые платки,
Бог весть куда забрасывал
И кольца и перстни
И так смешно рассказывал,
Где явятся они.
Ну, словом: Боско рублики,
Как фокусник и враль,
Выманивал у публики
Так *ловко*, что не жаль!

11

Взамен его приехали
Цыганы из Москвы —
Скажите, не потеха ли?..
Не знаю, как-то вы,

А я, когда их слушаю,
Дыханье затая,
Чуть сам невольно с *Грушею*
Не гаркну «Соловья».
Раз собственной персоною,
Забыв лета и класс,
Я с пляшущей *Матреною*
Пустился было в пляс!

12

Проехав мимо нашего
Гостиного двора,
Я чуть, задетый заживо,
Не закричал: «ура!».
Бывало, день колотишься
На службе так и сяк,
А чуть домой воротишься,
Поешь — и день иссяк:
Нет входа в лавки русские!
Берешь жену и дочь
И едешь во французские,
Где грабят день и ночь.
Теперь — о восхищение
Для сердца и для глаз! —
В Гостином освещение:
Проводят в лавки газ!
Ликуй, всё человечество!
Решилось, в пользу дам,
Российское купечество
Сидеть по вечерам —
И газ распространяется
Скорехонько с тех пор:
Ну, точно, *просвещается*
У нас Гостиный двор!

Рука не разгибается,
Не вяжутся слова:
Умаялся!.. Кончается
Здесь первая глава...

Глава 2

Нет счастья под луной.— Романс.— Без трех в червях.— Страшный обет.— Путешествие в департамент.— Светлое воскресение.— Патриархальная жизнь.— Великий пост.— Петербургские новости.— Рубини.— Его концерты.— Оперы: «Отелло», «Лючия» и пр.— Лист.— Конское ристалище Сулье.— Арабы.— Скачущие мамзели.— Некоторые любопытные и достоверные известия о ките.— О погоде.— О печальном расположении духа, в котором находится г-н Белопяткин, и о причинах того.— Звездочка.— Банк.— Путешествие по Невскому проспекту в двенадцатом часу ночи.— Предсмертный приют.— Бильярд.— Заключение.— Читатели.— Критики.— Барон Брамбеус, комета и г-н Белопяткин.

1

. . . .
. . . .

Недаром люди плакали,
Роптали на судьбу.
Сочувствую их ропоту
Растерзанной душой,
Я сам узнал по опыту —
Нет счастья под луной!
Какой предосторожности
В поступках ни держись,
Формально нет возможности
От жребия спастись.
Будь барин по сословию,
Приказчик, землемер,
Заставит плакать кровию,—
Я сам тому пример!

2

На днях у экзекутора,
Чтоб скуку разогнать,
Рублишка по полутора
Засели мы играть.

Довольно флегматически
Тянулся преферанс;
Вдруг в зале поэтический
Послышался романс;
Согрет одушевлением,
Был голос так хорош,
Я слушал с восхищением,
Забыл весь мир... и что ж?..
Ошибкою малейшею
Застигнутый врасплох,
В червях игру сквернейшую
Сыграл и — был без трех!
Хотя в душе нотацию
Себе я прочитал,
Но тут же консоляцию
Сосед с меня взыскал.
Другие два приятеля
Огромные кресты
На бедного мечтателя
Черкнули за висты.
В тот вечер уж малинника
В глаза я не видал.
Сто тридцать два полтинника
С походом проиграл!..
Ох, пылкие движения
Чувствительной души!
От вас мне нет спасения,
В убыток — барыши!
Пропетый восхитительно,
Сгубил меня романс,
Вперед играть решительно
Не буду в преферанс!
Пусть с ним кто хочет водится,
Я — правилами строг:
В нем взятки брать приходится —
Избави меня бог!
Занятьем этим втянешься,
Пожалуй, в грех такой,
Что, черт возьми! останешься
По службе без одной!

3

То ль дело, как ранехонько
Пробудишься, зевнешь —
На цыпочках, тихохонько
Из спальни улизнешь
(Пока еще пронзительно
Жена себе храпит),
Побреешься рачительно,
Приличный примешь вид.
Смирив свою амбицию,
За леностью слуги
Почистишь амуницию
И даже сапоги.
Жилетку и так далее
Наденешь, застегнешь,
Прицепишь все регалии,
Стакан чайку хлебнешь.
Дела, какие б ни были,
Захватишь и, как мышь,
Согнувшись в три погибели,
На службу побежишь...
Начальнику почтение,
Товарищам поклон,
И вмиг за отношение —
Ничем не развлечен!
Молчания степенного
День целый не прервешь,
Лишь кстати подчиненного
Прилично распечешь
Да разве снисходительно
Подшутит генерал,—
Тогда мы все решительно
Хохочем наповал!
(Уж так издавна водится,
Да так и должно быть:
Нам, право, не приходится
Пред старшими мудрить!)
Его превосходительство —
Добрейший генерал,
Он много покровительства
Мне в службе оказал...

4

Я с час пред умывальником
Мучительный провел,
Когда с своим начальником
Христосоваться шел,
Умылся так рачительно,
Чуть кожу не содрал,
Зато как снисходительно
Меня он лобызал!
Дал слово мной заботиться,
Жал руку горячо,
А я его, как водится,
И в брюхо и в плечо!
Вот жизнь патриархальная,
Вот служба без химер.
О юность либеральная!
Бери с меня пример!..

5

Я в пост, как бы на станции
Задержанный, скучал,
Да, к счастию, из Франции
Рубини прискакал.
От чувства безотчетного
Вдруг всякий присмирел,
Как в зале Благородного
Собранья он запел.
На голову курчавую,
Во всех концах земли
Увенчанную славою,
Все взоры навели
И звуки изумрудные
Впивали жадно в грудь.
То были звуки чудные:
Он пел не как-нибудь!
Высокое художество
И выразить нет слов!
Я слышал в жизни множество
Отличнейших певцов,
Съезжаются на старости
Сюда со всех сторон,

Ревут, как волки в ярости,
А всё не то, что он!
Начнет в четыре голоса,
Зальется как река,
А кончит тоньше волоса,
Нежнее ветерка.
По свету благодарному
Об нем недаром гул:
Мне даже, титулярному,
Он сердце шевельнул!

6

Идешь ли в канцелярию,
Уходишь ли от дел,
Поешь невольно арию,
Которую он пел.
Выходит бестолковица,
А думаешь, что так.
Другой приостановится
И скажет: «Вот дурак!»
Отелло, мавра дикого,
Так чудно он сыграл,
Что им одним великого
Название стяжал!
Когда игралась «Лючия»,
Я пролил реки слез:
На верх благополучия
Певец меня вознес!

7

(Как всё по службе сделаю —
Нарочно поспешу —
О Листе книгу целую
Тогда вам напишу.)

8

Как все, страстей игралище,
Покинув кучу дел,
На конское ристалище
Намедни я смотрел.

Шталмейстера турецкого
Заслуга велика:
Верхом он молодецкого
Танцует трепака.
Арабы взоры радуют
Отважностью своей,
Изрядно также падают
Мамзели с лошадей.
Ристалище престранное,
По новости своей,
А впрочем, балаганные
Их штуки веселей.
Начальник представления
Сулье, красив и прям,
Приводит в восхищение
В особенности дам.
Доныне свет штукмейстера
Такого не видал:
Достоинство шталмейстера
Недаром он стяжал.

9

Прилежно я окидывал
Заморского кита.
Немало в жизни видывал
Я разного скота,
Но страшного, по совести,
Такого не видал,
Однажды только в повести
Брамбеуса читал.
Такой зверок — сокровище!
Аршинов сто длина,
Усищи у чудовища
Как будто два бревна,
Хвост длинный удивительно,
Башка — что целый дом,
Возможно всё решительно
В нем делать и на нем:
Плясать без затруднения
На брюхе контраданс,

А в брюхе без стеснения
Сражаться в преферанс!
Столь грузное животное
К нам трудно было ввезть,
Зато весьма доходное,
Да и не просит есть.
Дерут за рассмотрение
Полтинник, четвертак,
А взглянешь — наслаждение
Почувствуешь в пятак!

10

Вот май... Все разъезжаются
По дачам, отдохнуть...
Больные собираются
К водам, в далекий путь.
Лишь я один, тревогою
Измученный, грущу.
Душевных ран не трогаю
И сердца не лечу.
Изведал уж немало я
Житейской суеты...
Ах, молодость удалая!
Куда исчезла ты?
Бывало, лето красное
Мне счастие несло:
На сердце радость ясная,
Безоблачно чело!
Светила мне незримая
Звезда издалека,
Грудь, страстью шевелимая,
Вздымалась, как река.
Тогда за что ни схватишься —
Всё с жаром; хоть порой
И дорого поплатишься,
Зато живешь душой!
Бывало, заиграешься —
Огромный ставишь куш,
Дадут — не отгибаешься,
Как будто триста душ!
Не мысля о погибели,

Рад сам себя на *пе*,
Согнувши в три погибели,
Пустить, назло судьбе.
Дотла пропонтируешься,
Повеся нос уйдешь,
На всех день целый дуешься,
А там — опять за то ж.
Бывало, за хорошенькой
Верст десять пробежишь,
Пристукиваешь ноженькой
Да в уши ей жужжишь:
«Куда идти изволите,
Куда вы, ангел мой?
Что пальцы вы мозолите,
Поедемте со мной?..»
Теперь... увы! — безжизненно
На целый мир глядишь,
Живешь безукоризненно —
Страстями не кипишь.
Забывши и поэзию,
И карты, и дебош,
Поутру ешь магнезию,
Микстуру на ночь пьешь,
Нейдут на разум грации...

11

Кончаю, скромен, тих,
У Лерхе в ресторации
Остаток дней моих,
Из службы в биллиардную
Прямехонько иду,
Игру там не азартную,
Но скромную веду.
Там члены всё отличные,
Хохочут и острят,
Истории различные
Друг другу говорят.
Никто там не заносится,
Играем чередой,
И гений Тюри носится
Над каждой головой...

12

Здесь будет заключение
Второй моей главы.
Итак, мое почтение,
Читатель добрый. Вы
Ценитель снисходительный,
Я знаю вас давно.
А впрочем, мне решительно,
Поверьте, всё равно.
За опыты в пиитике
Я не прошу похвал.
Пускай иные критики
Отхлещут наповал —
Ей-богу, не посетую!
Свое я получил:
Брамбеус сам с кометою
За ум меня сравнил.

Глава 3

(Без оглавления)

Мотивы итальянские
Мне не дают заснуть,
И страсти африканские
Волнуют кровь и грудь:
Всё грезятся балкончики,
И искры черных глаз
Сверкают как червончики
В день по сту тысяч раз.
Отбою нет от думушки:
Эх! жизнь моя!.. увы!..
Зачем женили, кумушки,
Меня так рано вы!
На свете много водится
Красавиц, и каких!
А нам любить приходится
Курносых и рябых.
Что за красотка Боржия!..

Менялся весь в лице
И даже (не топор же я!)
Заплакал при конце;
Во всем талант, гармония...
Видал не много лиц
Таких, как у Альбони, я —
Певица из певиц,
В уме производящая
Содом и кутерьму,
Так много говорящая
И сердцу и уму;
Высокая и белая,
Красива и ловка,
И уж заматерелая —
Не скажешь, что жидка!
Избытки даже лишние
Заметны в ней души,
И верхние, и нижние —
Все ноты хороши!..

Чтоб только петь, как Гарция,
И удивлять весь свет —
Не пожалел бы гарнца я
Серебряных монет.
На миг заботы вечные
Смолкают, не томят,
И струны все сердечные
В груди дрожат, звучат —
Звучат в ответ чудеснице.
Могуча и легка,
Душа как бы по лестнице
Восходит в облака.
А мира треволнения —
Служебный весь содом,
Начальник отделения
С запуганным лицом,
Скучнейшие нотации
Ревнующей жены,
Червонцы, ассигнации
И самые чины —
Всё в мелочь и ничтожество
Тотчас обращено...

Чего бы уж художество
И делать не должно!
Подобные влечения
В неведомый предел
Ввергают в упущения
Житейских наших дел.
От итальянской арии,
Исполненной красот,
К занятьям канцелярии
Трудненек переход;
Спокойствие сменяется
Тревогою души,
И вовсе страсть теряется
Сколачивать гроши.
Но лишь предосторожности
Вовре́мя стоит взять,—
Как не найти возможности
Всему противустать?
На то и волю твердую
Дал человеку бог,
Чтоб кстати душу гордую
Воздерживать он мог...
Вот мне ничто решительно
Не помешает спать,
Ни счет вести рачительно,
Ни даже... взятки брать
(Не то чтобы с просителей,
А в картах... Что сорвешь
С столичных наших жителей?
Голь продувная сплошь!) —
А всё же я признаюся,
Что Гарцией порой
Так сильно восхищаюся,
Что слезы лью рекой.
Растрогает татарина!
Так хорошо поет,
Что даже у Фиглярина
Ругательств не стает;
Глаза большие, черные,
И столько в них огня...
Жаль — силы стихотворные
Слабеньки у меня;

А будь-ка красноречие!..
Но про меня и так
Трубит давно злоречие,
Что будто я дурак.
Молчу! Где нам подобные
Предметы воспевать:
Мы дураки, способные
Взятчонки только брать!
Над нами сочинители
Смеются в повестях...
А чем мы их обидели?
Будь я в больших чинах,
Тотчас благоразумие
Внушил бы им, ей-ей!
Давай нам остроумие,
Но трогать нас не смей!
Чем хуже я профессора,
Художника, врача?
Коллежского асессора
Трудами получа,
Я никому не здравствую.
Небезызвестно вам,
Что я давно участвую
В литературе сам;
Но никогда решительно
(И бог храни вперед)
Не нападал презрительно
И на простой народ!
Без вздоров сатирических
Идет лишь Полевой
В пиесах драматических
Дорогою прямой.
В нас страсти благородные
Умеет возбуждать
И, лица взяв почетные,
Умеет уважать;
Всем похвалы горячие,
Почтенье... а писцы
И мелкие подьячие —
Глупцы и подлецы,
С уродливыми рожами...

И тут ошибки нет
(Не всё же ведь хорошими
Людьми наполнен свет)...

1843—1845

ЧИНОВНИК

Как человек разумной середины,
Он многого в сей жизни не желал:
Перед обедом пил настойку из рябины
И чихирем обед свой запивал.
У Кинчерфа [1] заказывал одежду
И с давних пор (простительная страсть)
Питал в душе далекую надежду
В коллежские асессоры попасть,—
Затем, что был он крови не боярской
И не хотел, чтоб в жизни кто-нибудь
Детей его породой семинарской
Осмелился надменно попрекнуть.

Был с виду прост, держал себя сутуло,
Смиренно всё судьбе предоставлял,
Пред старшими подскакивал со стула
И в робость безотчетную впадал,
С начальником ни по каким причинам —
Где б ни было — не вмешивался в спор,
И было в нем всё соразмерно с чином —
Походка, взгляд, усмешка, разговор.
Внимательным, уступчиво-смиренным
Был при родных, при теще, при жене,
Но поддержать умел пред подчиненным
Достоинство чиновника вполне;
Мог и распечь при случае (распечь-то
Мы, впрочем, все большие мастера),
Имел даже значительное нечто
В бровях...

[1] Тогдашний портной средней руки. *(Прим. автора.)*

Теперь тяжелая пора!
С тех дней, как стал пытливостью рассудка
Тревожно-беспокойного наш век
Задерживать развитие желудка,
Уже не тот и русский человек.
Выводятся раскормленные туши,
Как ни едим геройски, как ни пьем,
И хоть теперь мы так же бьем баклуши,
Но в толщину от них уже нейдем.
И в наши дни, читатель мой любезный,
Лишь где-нибудь в коснеющей глуши
Найдете вы, по благости небесной,
Приличное вместилище души.

Но мой герой — хоть он и шел за веком —
Больных влияний века избежал
И был таким, как должно, человеком:
Ни тощ, ни толст. Торжественно лежал
Мясистый, двухэтажный подбородок
В воротничках,— но промежуток был
Меж головой и грудью так короток,
Что паралич — увы! — ему грозил.
Спина была — уж сказано — горбата,
И на ногах (шепну вам на ушко:
Кривых немножко — нянька виновата!)
Качалося солидное брюшко...

Сирот и вдов он не был благодетель,
Но нищим иногда давал гроши
И называл святую добродетель
Первейшим украшением души.
О ней твердил в семействе беспрерывно,
Но не во всем ей следовал подчас
И извинял грешки свои наивно
Женой, детьми, как многие из нас.

По службе вел дела свои примерно
И не бывал за взятки под судом,
Но (на жену, как водится) в Галерной
Купил давно пятиэтажный дом.

И радовал родительскую душу
Сей прочный дом — спокойствия залог.
И на Фому, Ванюшу и Феклушу
Без сладких слез он посмотреть не мог...

Вид нищеты, разительного блеска
Смущал его — приличье он любил.
От всяких слов, произносимых резко,
Он вздрагивал и тотчас уходил.
К писателям враждой — не беспричинной —
Пылал... бледнел и трясся сам не свой,
Когда из них какой-нибудь бесчинный
Ласкаем был чиновною рукой.
За лишнее считал их в мире бремя,
Звал книги побасенками: «Читать —
Не то ли же, что праздно тратить время?
А праздность — всех пороков наших мать» —
Так говорил ко благу подчиненных
(Мысль глубока, хоть и весьма стара)
И изо всех открытий современных
Знал только *консоляцию*...

Пора
Мне вам сказать, что, как чиновник дельный
И совершенно русский человек,
Он заражен был страстью той смертельно,
Которой все заражены в наш век,
Которая пустить успела корни
В обширном русском царстве глубоко
С тех пор, как вист в потеху нашей дворни
Мы отдали... «Приятно и легко
Бегут часы за преферансом; право,
Кто выдумал — был малый с головой!» —
Так иногда, прищурившись лукаво,
Говаривал почтенный наш герой.
И выше он не ведал наслаждений...
Как он играл?.. Серьезная статья!
Решить вопрос сумел бы разве гений,
Но так и быть, попробую и я.

Когда обед оканчивался чинный,
Крестясь, гостям хозяин руки жал
И, приказав поставить стол в гостиной,
С улыбкой добродушной замечал:
«Что, господа, сразиться бы не дурно?
Жизнь коротка, а нам не десять лет!»
Над ним неслось тогда дыханье бурно,
И — вдохновен — он забывал весь свет,
Жену, детей; единой предан страсти,
Молчал как жрец, бровями шевеля,
И для него тогда в четыре масти
Сливалось всё — и небо и земля!

Вне карт не знал, не слышал и не видел
Он ничего,— но помнил каждый приз...
Прижимистых и робких ненавидел,
Но к храбрецам, готовым на ремиз,
Исполнен был глубокого почтенья.
При трех тузах, при даме сам-четверт
Козырной — в вист ходил без опасенья.
В несчастье был, как многие, нетверд:
Ощипанной подобен куропатке,
Угрюм, сердит, ворчал, повеся нос,
А в счастии любил при каждой взятке
Пристукивать и говорил: «А что-с?»

Острил, как все острят или острили,
И замечал при выходе с бубен:
«Ну, Петр Кузьмич! недаром вы служили
Пятнадцать лет — вы знаете закон!»
Валетов, дам красивых, но холодных
Пушил слегка, как все; но никогда
Насчет тузов и прочих карт почетных
Не говорил ни слова...

Господа!
Быть может, здесь надменно вы зевнете
И повесть благонравную мою
В подробностях излишних упрекнете...
Ответ готов: не пустяки пою!

Пою, что Русь и тешит и чарует,
Что наши дни — как средние века
Крестовые походы — знаменует,
Чем наша жизнь полна и глубока
(Я не шучу — смотрите в оба глаза),
Чем от «Москвы родной» до Иртыша,
От «финских скал» до «грозного Кавказа»
Волнуется славянская душа!!.

Притом я сам страсть эту уважаю,—
Я ею сам восторженно киплю,
И хоть весьма несчастно прикупаю,
Но вечеров без карт я не терплю
И, где их нет, постыдно засыпаю...

Что ж делать нам?.. Блаженные отцы
И деды наши пировать любили,
Весной садили лук да огурцы,
Волков и зайцев осенью травили,
Их увлекал, их страсти шевелил
Паратый пес, статистый иноходец;
Их за столом и трогал и смешил
Какой-нибудь наряженный уродец.
Они сидеть любили за столом,
И было им и любо и доступно
Перепивать друг друга и потом,
Повздоривши по-русски, дружелюбно
Вдруг утихать и засыпать рядком.
Но мы забав отцов не понимаем
(Хоть мало, всё ж мы их переросли),
Что ж делать нам?.. Играть!.. И мы играем,
И благо, что занятие нашли,—
Сидеть грешно и вредно сложа руки...

В неделю раз, пресытившись игрой,
В театр Александринский, ради скуки,
Являлся наш почтеннейший герой.
Удвоенной ценой за бенефисы
Отечественный гений поощрял,
Но звание актера и актрисы
Постыдным, по преданию, считал.

Любил пальбу, кровавые сюжеты,
Где при конце карается порок...
И, слушая скоромные куплеты,
Толкал жену легонько под бочок.

Любил шепнуть в антракте плотной даме
(Всему научит хитрый Петербург),
Что страсти и движенье нужны в драме
И что Шекспир — великий драматург,—
Но, впрочем, не был твердо в том уверен
И через час другое подтверждал,—
По службе быв всегда благонамерен,
Он прочее другим предоставлял.

Зато, когда являлася сатира,
Где автор — тунеядец и нахал —
Честь общества и украшенье мира,
Чиновников, за взятки порицал,—
Свирепствовал он, не жалея груди,
Дивился, как допущена в печать
И как благонамеренные люди
Не совестятся видеть и читать.
С досады пил (сильна была досада!)
В удвоенном количестве чихирь
И говорил, что авторов бы надо
За дерзости подобные — в Сибирь!..

1844

ОТРЫВОК

Родился я в губернии
Далекой и степной
И прямо встретил тернии
В юдоли сей земной.
Мне будущность счастливую
Отец приготовлял,
Но жизнь трудолюбивую
Сам в бедности скончал!
Немытый, неприглаженный,
Бежал я босиком,
Как в церковь гроб некрашеный
Везли большим селом;

Я слезы непритворные
Руками утирал,
И волосенки черные
Мне ветер развевал...
Запомнил я сердитую
Улыбку мертвеца
И мать мою, убитую
Кончиною отца.
Я помню, как шепталися,
Как в церковь гроб несли;
Как с мертвым целовалися,
Как бросили земли;
Как сами мы лопатушкой
Сравняли бугорок...
Нам дядя с бедной матушкой
Дал в доме уголок.
К настойке страсть великую
Сей человек питал,
Имел наружность дикую
И мне не потакал...
Он часто, как страшилище,
Пугал меня собой
И порешил в училище
Отправить с рук долой.
Мать плакала, томилася,
Не ела по три дня,
Вздыхала и молилася,
Просила за меня,
Пешком идти до Киева
Хотела, но слегла
И с просьбой: «Не губи его!» —
В могилу перешла.
Мир праху добродетельной!
Старик потосковал,
Но тщетно благодетельной
Я перемены ждал:
Не изменил решение!
Изрядно куликнул,
Дал мне благословение,
Полтинник в руку ткнул;
Влепил с немым рыданием
В уста мне поцелуй:

«Учися с прилежанием,
Не шляйся! не балуй!» —
Сердечно, наставительно
Сказал в последний раз,
Махнул рукой решительно —
И кляча поплелась...

1844 (?)

*

Стишки! стишки! давно ль и я был гений?
Мечтал... не спал... пописывал стишки?
О вы, источник стольких наслаждений,
Мои литературные грешки!
Как дельно, как благоразумно-мило
На вас я годы лучшие убил!
В моей душе не много силы было,
А я и ту бесплодно расточил!
Увы!.. стихов слагатели младые,
С кем я делил и труд мой и досуг,
Вы, люди милые, поэты преплохие,
Вам изменил ваш недостойный друг!..
И вы... как много вас уж — слава небу — сгибло...
Того хандра, того жена зашибла,
Тот сам колотит бедную жену
И спину гнет другой... а в старину?
Как гордо мы на будущность смотрели!
Как ревностно бездействовали мы!
«Избранники небес», мы пели, пели
И песнями пересоздать умы,
Перевернуть действительность хотели,
И мнилось нам, что труд наш — не пустой,
Не детский бред, что с нами сам всевышний
И близок час блаженно-роковой,
Когда наш труд благословит наш ближний!
А между тем действительность была
По-прежнему безвыходно пошла,
Не убыло ни горя, ни пороков —
Смешон и дик был петушиный бой

Не понимающих толпы пророков
С не внемлющей пророчествам толпой!
И «ближний наш» всё тем же глазом видел,
Всё так же близоруко понимал,
Любил корыстно, пошло ненавидел,
Бесславно и бессмысленно страдал.
Пустых страстей пустой и праздный грохот
По-прежнему движенье заменял,
И не смолкал тот сатанинский хохот,
Который в сень холодную могил
Отцов и дедов наших проводил!..

Январь 1845

НОВОСТИ

(Газетный фельетон)

Почтеннейшая публика! на днях
Случилося в столице нашей чудо:
Остался некто без пяти в червях,
Хоть — знают все — играет он не худо.
О том твердит теперь весь Петербург.
«Событие вне всякого другого!»
Трагедию какой-то драматург,
На пользу поколенья молодого,
Сбирается состряпать из него...
Разумный труд! Заслуги, удальство
Похвально петь; но всё же не мешает
Порою и сознание грехов,
Затем что прегрешение отцов
Для их детей спасительно бывает.
Притом для нас не стыдно и легко
В ошибках сознаваться — их немного,
А доблестей — как милостей у бога...

Из черного французского трико
Жилеты, шелком шитые, недавно
В чести и в моде — в самом деле славно!

Почтенный муж шестидесяти лет
Женился на девице в девятнадцать

(На днях у них парадный был обед,
Не мог я, к сожаленью, отказаться);
Немножко было грустно. Взор ея
Сверкал, казалось, скрытыми слезами
И будто что-то спрашивал. Но я
Отвык, к несчастью, тешиться мечтами,
И мне ее не жалко. Этот взор
Унылый, длинный; этот вздох глубокий —
Кому они? — Любезник и танцор,
Гремящий саблей, статный и высокий —
Таков был пансионский идеал
Моей девицы... Что ж! распорядился
Иначе случай...

Маскарад и бал
В собранье был и очень долго длился.
Люблю я наши маскарады; в них,
Не говоря о прелестях других,
Образчик жизни петербургско-русской,
Так ловко переделанной с французской.

Уныло мы проходим жизни путь,
Могло бы нас будить одно — искусство,
Но редко нам разогревает грудь
Из глубины поднявшееся чувство,
Затем что наши русские певцы
Всем хороши, да петь не молодцы,
Затем что наши русские мотивы,
Как наша жизнь, и бедны и сонливы,
И тяжело однообразье их,
Как вид степей пустынных и нагих.

О, скучен день и долог вечер наш!
Однообразны месяцы и годы,
Обеды, карты, дребезжанье чаш,
Визиты, поздравленья и разводы —
Вот наша жизнь. Ее постылый шум
С привычным равнодушьем ухо внемлет,
И в действии пустом кипящий ум
Суров и сух, а сердце глухо дремлет;
И свыкшись с положением таким,

Другого мы как будто не хотим,
Возможность исключений отвергаем
И, словно по профессии, зеваем...
Но — скучны отступления!

Чудак!
Знакомый мне, в прошедшую субботу
Сошел с ума... А был он не дурак
И тысяч сто в год получал доходу,
Спокойно жил, доволен и здоров,
Но обошли его по службе чином,
И вдруг — уныл, задумчив и суров —
Он стал страдать славяно-русским сплином;
И наконец, в один прекрасный день,
Тайком от всех, одевшись наизнанку
В отличия, несвойственные рангу,
Пошел бродить по улицам, как тень,
Да и пропал. Нашли на третьи сутки,
Когда сынком какой-то важной утки
Уж он себя в припадках величал
И в совершенстве кошкою кричал,
Стараясь всех уверить в то же время,
Что чин большой есть тягостное бремя,
И служит он, ей-ей, не для себя,
Но только благо общее любя...

История другая в том же роде
С одним примерным юношей была:
Женился он для денег на уроде,
Она — для денег за него пошла,
И что ж? — о срам! о горе! — оказалось,
Что им обоим *только показалось;*
Она была как нищая бедна,
И беден был он так же, как она.
Не вынес он нежданного удара
И впал в хандру; в чахотке слег в постель,
И не прожить ему пяти недель.
А нежный тесть, неравнодушно глядя
На муки завербованного зятя
И положенье дочери родной,
Винит во всем «натуришку гнилую»

И думает: «Для дочери другой
Я женишка покрепче завербую».

Собачка у старухи Хвастуновой
Пропала, а у скряги Сурмина
Бежала гувернантка — ищет новой.
О том и о другом извещена
Столица чрез известную газету;
Явилась тотчас разных свойств и лет
Тьма гувернанток, а собаки нет.

Почтенный и любимый господин,
Прославившийся емкостью желудка,
Безмерным истребленьем всяких вин
И исступленной тупостью рассудка,
Объелся и скончался... Был на днях
Весь город на его похоронах.
О доблестях покойника рыдая,
Какой-то друг три речи произнес,
И было много толков, много слез,
Потом была пирушка — и большая!
На голову обжоры непохож,
Был полон погреб дорогих бутылок,
И длился до заутрени кутеж...
При дребезге ножей, бокалов, вилок
Припоминали добрые дела
Покойника, хоть их, признаться, было
Весьма немного; но обычай милый
Святая Русь доныне сберегла:
Ко всякому почтенье за могилой —
Ведь мертвый нам не может сделать зла!
Считается напомнить неприличным,
Что там-то он ограбил сироту,
А вот тогда-то пойман был с поличным.
Зато добра малейшую черту
Тотчас с большой горячностью подхватят
И разовьют, так истинно скорбя,
Как будто тем скончавшемуся платят
За то, что их избавил от себя!
Поговорив — нечаянно напьются,
Напившися — слезами обольются,

И в эпитафии напишут: «Человек
Он был такой, какие ныне редки!»
И так у нас идет из века в век,
И с нами так поступят наши детки...

Литературный вечер был; на нем
Происходило чтенье. Важно, чинно
Сидели сочинители кружком
И наслаждались мудростью невинной
Отставшей знаменитости. Потом
Один весьма достойный сочинитель
Тетрадищу поспешно развернул
И три часа — о изверг, о мучитель! —
Читал, читал и — даже сам зевнул,
Не говоря о жертвах благосклонных,
С четвертой же страницы усыпленных.
Их разбудил восторженный поэт;
Он с места встал торжественно и строго,
Глаза горят, в руках тетради нет,
Но в голове так много, много, много...
Рекой лились гремучие стихи,
Руками он махал как исступленный.
Слыхал я в жизни много чепухи
И много дичи видел во вселенной,
А потому я не был удивлен...
Ценителей толпа рукоплескала,
Младой поэт отвесил им поклон
И всё прочел торжественно с начала.
Затем как раз и к делу приступить
Пришла пора. К несчастью, есть и пить
В тот вечер я не чувствовал желанья
И вон ушел тихонько из собранья.
А пили долго, говорят, потом
И говорили горячо о том,
Что движемся мы быстро с каждым часом
И дурно, к сожаленью, в нас одно,
Что небрежем отечественным квасом
И любим иностранное вино.

На петербургских барынь и девиц
Напал недуг свирепый и великий:
Вскружился мир чиновниц полудикий
И мир ручных, но недоступных львиц.

Почто сия на лицах всех забота?
Почто сей шум, волнение умов?
От Невского до Козьего болота,
От Козьего болота до Песков,
От пестрой и роскошной Миллионной
До Выборгской унылой стороны —
Чем занят ум мужей неугомонно?
Чем души жен и дев потрясены??
Все женщины, от пресловутой Ольги
Васильевны, купчихи в сорок лет,
До той, которую воспел поэт
(Его уж нет),— помешаны на польке!
Предчувствие явления ея
В атмо́сфере носилося заране.
Она теперь у всех на первом плане
И в жизни нашей главная статья;
О ней и меж великими мужами
Нередко пренья, жаркий спор кипит,
И старец, убеленный сединами,
О ней с одушевленьем говорит.
Она в одной сорочке гонит с ложа
Во тьме ночной прелестных наших дев,
И дева пляшет, общий сон тревожа,
А горничная, барышню раздев,
В своей каморке производит то же.
Достойнейший сын века своего,
Пустейший франт, исполнен гордой силой,
Ей предан без границ — и для него
Средины нет меж полькой и могилой!
Проникнувшись великостью труда
И важностью предпринятого дела,
Как гладиатор в древние года,
С ней борется он ревностно и смело...
Когда б вы не были, читатель мой,
Аристократ — и побывать в танцклассе
У Кессених решилися со мной,
Оттуда вы вернулись бы в экстазе,
С утешенной и бодрою душой.
О юношество милое! Тебя ли
За хилость и недвижность упрекнуть?
Не умерли в тебе и не увяли
Младые силы, не зачахла грудь,

И сила там кипит твоя просторно,
Где всё тебе по сердцу и покорно.
И, гордое могуществом своим,
Довольно ты своею скромной долей:
Твоим порывам смелым и живым
Такое нужно поприще — не боле,
И тратишь ты среди таких тревог
Души всю силу и всю силу ног...

20 февраля 1845

СОВРЕМЕННАЯ ОДА

Украшают тебя добродетели,
До которых другим далеко,
И — беру небеса во свидетели —
Уважаю тебя глубоко...

Не обидишь ты даром и гадины,
Ты помочь и злодею готов,
И червонцы твои не украдены
У сирот беззащитных и вдов.

В дружбу к сильному влезть не желаешь ты,
Чтоб успеху делишек помочь,
И без умыслу с ним оставляешь ты
С глазу на глаз красавицу дочь.

Не гнушаешься темной породою:
«Братья нам по Христу мужички!»
И родню свою длиннобородую
Не гоняешь с порога в толчки.

Не спрошу я, откуда явилося,
Что теперь в сундуках твоих есть;
Знаю: с неба к тебе всё свалилося
За твою добродетель и честь!..

Украшают тебя добродетели,
До которых другим далеко,
И — беру небеса во свидетели —
Уважаю тебя глубоко...

Начало 1845

В ДОРОГЕ

«Скучно! скучно!.. Ямщик удалой,
Разгони чем-нибудь мою скуку!
Песню, что ли, приятель, запой
Про рекрутский набор и разлуку;
Небылицей какой посмеши
Или, что ты видал, расскажи —
Буду, братец, за всё благодарен».

— «Самому мне невесело, барин:
Сокрушила злодейка жена!..
Слышь ты, смолоду, сударь, она
В барском доме была учена
Вместе с барышней разным наукам,
Понимаешь-ста, шить и вязать,
На варгане играть и читать —
Всем дворянским манерам и штукам.
Одевалась не то, что у нас
На селе сарафанницы наши,
А, примерно представить, в атлас;
Ела вдоволь и меду и каши.
Вид вальяжный имела такой,
Хоть бы барыне, слышь ты, природной,
И не то что наш брат крепостной,
Тоись, сватался к ней благородный
(Слышь, учитель-ста врезамшись был,
Баит кучер, Иваныч Торопка),—
Да, знать, счастья ей бог не судил:
Не нужна-ста в дворянстве холопка!

Вышла замуж господская дочь,
Да и в Питер... А справивши свадьбу,
Сам-ат, слышь ты, вернулся в усадьбу,
Захворал и на Троицу в ночь
Отдал богу господскую душу,
Сиротинкой оставивши Грушу...
Через месяц приехал зятек —
Перебрал по ревизии души
И с запашки ссадил на оброк,

А потом добрался и до Груши.
Знать, она согрубила ему
В чем-нибудь, али напросто тесно
Вместе жить показалось в дому,
Понимаешь-ста, нам неизвестно.
Воротил он ее на село —
Знай-де место свое ты, мужичка!
Взвыла девка — крутенько пришло:
Белоручка, вишь ты, белоличка!

Как на грех, девятнадцатый год
Мне в ту пору случись... посадили
На тягло — да на ней и женили...
Тоись, сколько я нажил хлопот!
Вид такой, понимаешь, суровый...
Ни косить, ни ходить за коровой!..
Грех сказать, чтоб ленива была,
Да, вишь, дело в руках не спорилось!
Как дрова или воду несла,
Как на барщину шла — становилось
Инда жалко подчас... да куды! —
Не утешишь ее и обновкой:
То натерли ей ногу коты,
То, слышь, ей в сарафане неловко.
При чужих и туда и сюда,
А украдкой ревет как шальная...
Погубили ее господа,
А была бы бабенка лихая!

На какой-то патрет всё глядит
Да читает какую-то книжку...
Инда страх меня, слышь ты, щемит,
Что погубит она и сынишку:
Учит грамоте, моет, стрижет,
Словно барченка, каждый день чешет,
Бить не бьет — бить и мне не дает...
Да недолго пострела потешит!
Слышь, как щепка худа и бледна,
Ходит, тоись, совсем через силу,
В день двух ложек не съест толокна —
Чай, свалим через месяц в могилу...

А с чего?.. Видит бог, не томил
Я ее безустанной работой...
Одевал и кормил, без пути не бранил,
Уважал, тоись, вот как, с охотой...
А, слышь, бить — так почти не бивал,
Разве только под пьяную руку...»

— «Ну, довольно, ямщик! Разогнал
Ты мою неотвязную скуку!..»

1845

ПЬЯНИЦА

Жизнь в трезвом положении
Куда нехороша!
В томительном борении
Сама с собой душа,
А ум в тоске мучительной...
И хочется тогда
То славы соблазнительной,
То страсти, то труда.
Всё та же хата бедная —
Становится бедней,
И мать — старуха бледная —
Еще бледней, бледней.
Запуганный, задавленный,
С поникшей головой,
Идешь как обесславленный,
Гнушаясь сам собой;
Сгораешь злобой тайною...
На скудный твой наряд
С насмешкой неслучайною
Все, кажется, глядят.
Всё, что во сне мерещится,
Как будто бы назло,
В глаза вот так и мечется
Роскошно и светло!
Всё — повод к искушению,
Всё дразнит и язвит
И руку к преступлению
Нетвердую манит...

Ах! если б часть ничтожную!
Старушку полечить,
Сестрам бы не роскошную
Обновку подарить!
Стряхнуть ярмо тяжелого,
Гнетущего труда,—
Быть может, буйну голову
Сносил бы я тогда!
Покинув путь губительный,
Нашел бы путь иной
И в труд иной — свежительный —
Поник бы всей душой.
Но мгла отвсюду черная
Навстречу бедняку...
Одна открыта торная
Дорога к кабаку.

1845

*

Отрадно видеть, что находит
Порой хандра и на глупца,
Что иногда в морщины сводит
Черты и пошлого лица
Бес благородный скуки тайной,
И на искривленных губах
Какой-то думы чрезвычайной
Печать ложится; что в сердцах
И тех, чьих дел позорных повесть
Пройдет лишь в поздних племенах,
Не всё же спит мертвецки совесть
И, чуждый нас, не дремлет страх.
Что всем одно в дали грядущей —
Идем к безвестному концу,—
Что ты, подлец, меня гнетущий,
Сам лижешь руки подлецу.
Что лопнуть можешь ты, обжора!
Что ты, великий человек,
Чьего презрительного взора
Не выносил никто вовек,

Ты, лоб, как говорится, медный,
К кому все завистью полны,—
Дрожишь, как лист на ветке бедной.
Под башмаком своей жены.

1845

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

(Подражание Лермонтову)

Спи, пострел, пока безвредный!
    Баюшки-баю.
Тускло смотрит месяц медный
    В колыбель твою.
Стану сказывать не сказки —
    Правду пропою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
    Баюшки-баю.

По губернии раздался
    Всем отрадный клик:
Твой отец под суд попался —
    Явных тьма улик.
Но отец твой — плут известный —
    Знает роль свою.
Спи, пострел, покуда честный!
    Баюшки-баю.

Подрастешь — и мир крещеный
    Скоро сам поймешь,
Купишь фрак темно-зеленый
    И перо возьмешь.
Скажешь: «Я благонамерен,
    За добро стою!»
Спи — твой путь грядущий верен!
    Баюшки-баю.

Будешь ты чиновник с виду
    И подлец душой,
Провожать тебя я выду —
    И махну рукой!

В день привыкнешь ты картинно
Спину гнуть свою...
Спи, пострел, пока невинный!
Баюшки-баю.

Тих и кроток, как овечка,
И крепонек лбом,
До хорошего местечка
Доползешь ужом —
И охулки не положишь
На руку свою.
Спи, покуда красть не можешь!
Баюшки-баю.

Купишь дом многоэтажный,
Схватишь крупный чин
И вдруг станешь барин важный,
Русский дворянин.
Заживешь — и мирно, ясно
Кончишь жизнь свою...
Спи, чиновник мой прекрасный!
Баюшки-баю.

1845

*

Пускай мечтатели осмеяны давно,
Пускай в них многое действительно смешно,
Но всё же я скажу, что мне в часы разлуки
Отраднее всего, среди душевной муки,
Воспоминать о ней: усилием мечты
Из мрака вызывать знакомые черты,
В минуты горького раздумья и печали
Бродить по тем местам, где вместе мы гуляли,—
И даже иногда вечернею порой,
Любуясь бледною и грустною луной,
Припоминать тот сад, ту темную аллею,
Откуда мы луной пленялись вместе с нею,
Но, больше нашею любовию полны,
Чем тихим вечером и прелестью луны,
Влюбленные глаза друг к другу обращали
И в долгий поцелуй уста свои сливали...

1845

*

Я за то глубоко презираю себя,
Что живу — день за днем бесполезно губя;

Что я, силы своей не пытав ни на чем,
Осудил сам себя беспощадным судом

И, лениво твердя: я ничтожен, я слаб! —
Добровольно всю жизнь пресмыкался как раб;

Что, доживши кой-как до тридцатой весны,
Не скопил я себе хоть богатой казны,

Чтоб глупцы у моих пресмыкалися ног,
Да и умник подчас позавидовать мог!

Я за то глубоко презираю себя,
Что потратил свой век, никого не любя,

Что любить я хочу... что люблю я весь мир,
А брожу дикарем — бесприютен и сир,

И что злоба во мне и сильна и дика,
А хватаясь за нож — замирает рука!

Июнь 1845

*

Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падшую извлек
И, вся полна глубокой муки,
Ты прокляла, ломая руки,
Тебя опутавший порок;

Когда, забывчивую совесть
Воспоминанием казня,
Ты мне передавала повесть
Всего, что было до меня;

И вдруг, закрыв лицо руками,
Стыдом и ужасом полна,
Ты разрешилася слезами,
Возмущена, потрясена,—

Верь: я внимал не без участья,
Я жадно каждый звук ловил...
Я понял всё, дитя несчастья!
Я всё простил и всё забыл.

Зачем же тайному сомненью
Ты ежечасно предана?
Толпы бессмысленному мненью
Ужель и ты покорена?

Не верь толпе — пустой и лживой,
Забудь сомнения свои,
В душе болезненно-пугливой
Гнетущей мысли не таи!

Грустя напрасно и бесплодно,
Не пригревай змеи в груди
И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди!

<1846>

ПЕРЕД ДОЖДЕМ

Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес,
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес.

На ручей, рябой и пестрый,
За листком летит листок,
И струей сухой и острой
Набегает холодок.

Полумрак на всё ложится;
Налетев со всех сторон,
С криком в воздухе кружится
Стая галок и ворон.



«В ДОРОГЕ»



«ТРОЙКА»

Над проезжей таратайкой
Спущен верх, перед закрыт;
И «пошел!» — привстав с нагайкой,
Ямщику жандарм кричит...

<1846>

ОГОРОДНИК

Не гулял с кистенем я в дремучем лесу,
Не лежал я во рву в непроглядную ночь,—
Я свой век загубил за девицу-красу,
За девицу-красу, за дворянскую дочь.

Я в немецком саду работа́л по весне,
Вот однажды сгребаю сучки да пою,
Глядь, хозяйская дочка стоит в стороне,
Смотрит в оба да слушает песню мою.

По торговым села̀м, по большим городам
Я недаром живал, огородник лихой,
Раскрасавиц девиц насмотрелся я там,
А такой не видал, да и нету другой.

Черноброва, статна, словно сахар бела!..
Стало жутко, я песни своей не допел.
А она — ничего, постояла, прошла,
Оглянулась: за ней как шальной я глядел.

Я слыхал на селе от своих молодиц,
Что и сам я пригож, не уродом рожден,—
Словно сокол гляжу, круглолиц, белолиц,
У меня ль, молодца, кудри — чесаный лен...

Разыгралась душа на часок, на другой...
Да как глянул я вдруг на хоромы ее —
Посвистал и махнул молодецкой рукой,
Да скорей за мужицкое дело свое!

А частенько она приходила с тех пор
Погулять, посмотреть на работу мою
И смеялась со мной и вела разговор:
Отчего приуныл? что давно не пою?

Я кудрями тряхну, ничего не скажу,
Только буйную голову свешу на грудь...
«Дай-ка яблоньку я за тебя посажу,
Ты устал,— чай, пора уж тебе отдохнуть».

— «Ну, пожалуй, изволь, госпожа, поучись,
Пособи мужику, поработай часок».
Да как заступ брала у меня, смеючись,
Увидала на правой руке перстенек...

Очи стали темней непогодного дня,
На губах, на щеках разыгралася кровь.
«Что с тобой, госпожа? Отчего на меня
Неприветно глядишь, хмуришь черную бровь?»

— «От кого у тебя перстенек золотой?»
— «Скоро старость придет, коли будешь всё
знать».
— «Дай-ка я погляжу, несговорный какой!» —
И за палец меня белой рученькой хвать!

Потемнело в глазах, душу кинуло в дрожь,
Я давал — не давал золотой перстенек...
Я вдруг вспомнил опять, что и сам я пригож,
Да не знаю уж как — в щеку девицу чмок!..

Много с ней скоротал невозвратных ночей
Огородник лихой... В ясны очи глядел,
Расплетал, заплетал русу косыньку ей,
Целовал-миловал, песни волжские пел.

Мигом лето прошло, ночи стали свежей,
А под утро мороз под ногами хрустит.
Вот однажды, как я крался в горенку к ней,
Кто-то цап за плечо: «Держи вора!» — кричит.

Со стыдом молодца на допрос привели,
Я стоял да молчал, говорить не хотел...

И красу с головы острой бритвой снесли,
И железный убор на ногах зазвенел.

Постегали плетьми, и уводят дружка
От родной стороны и от лапушки прочь
На печаль и страду!.. Знать, любить не рука
Мужику-вахлаку да дворянскую дочь!

1846

ТРОЙКА

Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от веселых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу —
Всё лицо твое вспыхнуло вдруг.

И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед?..
На тебя, подбоченясь красиво,
Загляделся проезжий корнет.

На тебя заглядеться не диво,
Полюбить тебя всякий не прочь:
Вьется алая лента игриво
В волосах твоих, черных как ночь;

Сквозь румянец щеки твоей смуглой
Пробивается легкий пушок,
Из-под брови твоей полукруглой
Смотрит бойко лукавый глазок.

Взгляд один чернобровой дикарки,
Полный чар, зажигающих кровь,
Старика разорит на подарки,
В сердце юноши кинет любовь.

Поживешь и попразднуешь вволю,
Будет жизнь и полна и легка...
Да не то тебе пало на долю:
За неряху пойдешь мужика.

Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.

От работы и черной и трудной
Отцветешь, не успевши расцвесть,
Погрузишься ты в сон непробудный,
Будешь нянчить, работать и есть.

И в лице твоем, полном движенья,
Полном жизни,— появится вдруг
Выраженье тупого терпенья
И бессмысленный, вечный испуг.

И схоронят в сырую могилу,
Как пройдешь ты тяжелый свой путь,
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь.

Не гляди же с тоской на дорогу
И за тройкой вослед не спеши,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши!

Не нагнать тебе бешеной тройки:
Кони крепки, и сыты, и бойки,—
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой...

1846

РОДИНА

И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне божий свет увидеть,

Где научился я терпеть и ненавидеть,
Но, ненависть в душе постыдно притая,
Где иногда бывал помещиком и я;
Где от души моей, довременно растленной,
Так рано отлетел покой благословенный,
И неребяческих желаний и тревог
Огонь томительный до срока сердце жег...
Воспоминания дней юности — известных
Под громким именем роскошных и чудесных,—
Наполнив грудь мою и злобой и хандрой,
Во всей своей красе проходят предо мной...

Вот темный, темный сад... Чей лик в аллее дальной
Мелькает меж ветвей, болезненно-печальный?
Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя!
Кто жизнь твою сгубил... о! знаю, знаю я!..
Навеки отдана угрюмому невежде,
Не предавалась ты несбыточной надежде —
Тебя пугала мысль восстать против судьбы,
Ты жребий свой несла в молчании рабы...
Но знаю: не была душа твоя бесстрастна;
Она была горда, упорна и прекрасна,
И всё, что вынести в тебе достало сил,
Предсмертный шепот твой губителю простил!..

И ты, делившая с страдалицей безгласной
И горе и позор судьбы ее ужасной,
Тебя уж также нет, сестра души моей!
Из дома крепостных любовниц и псарей
Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила
Тому, которого не знала, не любила...
Но, матери своей печальную судьбу
На свете повторив, лежала ты в гробу
С такой холодною и строгою улыбкой,
Что дрогнул сам палач, заплакавший ошибкой.

Вот серый, старый дом... Теперь он пуст и глух:
Ни женщин, ни собак, ни гаеров, ни слуг,—
А встарь?.. Но помню я: здесь что-то всех давило,
Здесь в малом и в большом тоскливо сердце ныло.
Я к няне убегал... Ах, няня! сколько раз
Я слезы лил о ней в тяжелый сердцу час;

При имени ее впадая в умиленье,
Давно ли чувствовал я к ней благоговенье?..

Ее бессмысленной и вредной доброты
На память мне пришли немногие черты,
И грудь моя полна враждой и злостью новой...
Нет!. в юности моей, мятежной и суровой,
Отрадного душе воспоминанья нет;
Но всё, что, жизнь мою опутав с первых лет,
Проклятьем на меня легло неотразимым,—
Всему начало здесь, в краю моем родимом!..

И с отвращением кругом кидая взор,
С отрадой вижу я, что срублен темный бор —
В томящий летний зной защита и прохлада,—
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,
Понурив голову над высохшим ручьем,
И набок валится пустой и мрачный дом,
Где вторил звону чаш и гласу ликований
Глухой и вечный гул подавленных страданий,
И только тот один, кто всех собой давил,
Свободно и дышал, и действовал, и жил...

1846

ПСОВАЯ ОХОТА

Провидению угодно было создать человека так, что ему нужны внезапные потрясения, восторг, порыв и хотя мгновенное забвение от житейских забот; иначе, в уединении, грубеет нрав и вселяются разные пороки.

Р е у т т, *Псовая охота*

1

Сторож вкруг дома господского ходит,
Злобно зевает и в доску колотит.

Мраком задернуты небо и даль,
Ветер осенний наводит печаль;

По небу тучи угрюмые гонит,
По полю листья — и жалобно стонет...

Барин проснулся, с постели вскочил,
В туфли обулся и в рог затрубил.

Вздрогнули сонные Ваньки и Гришки,
Вздрогнули все — до грудного мальчишки.

Вот, при дрожащем огне фонарей,
Движутся длинные тени псарей.

Крик, суматоха!.. ключи зазвенели,
Ржавые петли уныло запели;

С громом выводят, поят лошадей,
Время не терпит — седлай поскорей!

В синих венгерках на заячьих лапках,
В остроконечных, неслыханных шапках

Слуги толпой подъезжают к крыльцу.
Любо глядеть — молодец к молодцу!

Хоть и худеньки у многих подошвы —
Да в сертуках зато желтые прошвы,

Хоть с толокна животы подвело —
Да в позументах под каждым седло,

Конь — загляденье, собачек две своры,
Пояс черкесский, арапник и шпоры.

Вот и помещик. Долой картузы!
Молча он крутит седые усы,

Грозен осанкой и пышен нарядом,
Молча поводит властительным взглядом.

Слушает важно обычный доклад:
«Змейка [1] издохла, в забойке Набат,

Сокол сбесился, Хандра захромала».
Гладит, нагнувшись, любимца Нахала,

И, сладострастно волнуясь, Нахал
На спину лег и хвостом завилял.

2

В строгом порядке, ускоренным шагом
Едут псари по холмам и оврагам.

Стало светать; проезжают селом —
Дым поднимается к небу столбом,

Гонится стадо, с мучительным стоном
Очеп[2] скрипит (запрещенный законом);

Бабы из окон пугливо глядят,
«Глянь-ко, собаки!» — ребята кричат...

Вот поднимаются медленно в гору.
Чудная даль открывается взору:

Речка внизу, под горою, бежит,
Инеем зелень долины блестит,

А за долиной, слегка беловатой,
Лес, освещенный зарей полосатой.

Но равнодушно встречают псари
Яркую ленту огнистой зари,

И пробужденной природы картиной
Не насладился из них не единый.

«В Банники[3],— крикнул помещик,—
набрось![4]»
Борзовщики[5] разъезжаются врозь,

А предводитель команды собачьей,
В острове[6] скрылся крикун-доезжачий.

Горло завидное дал ему бог:
То затрубит оглушительно в рог,

То закричит: «Добирайся, собачки!
Да не давай ему, вору, потачки!»

То заорет: «Го-го-го! — ту!-ту!!-ту!!!»
Вот и нашли — залились на следу.

Варом-варит [7] закипевшая стая,
Внемлет помещик, восторженно тая,

В мощной груди занимается дух,
Дивной гармонией нежится слух!

Однопометников лай музыкальный
Душу уносит в тот мир идеальный,

Где ни уплат в Опекунский совет,
Ни беспокойных исправников нет!

Хор так певуч, мелодичен и ровен,
Что твой Россини! что твой Бетховен!

3

Ближе и лай, и порсканье, и крик —
Вылетел бойкий русак-материк!

Гикнул помещик и ринулся в поле...
То-то раздолье помещичьей воле!

Через ручьи, буераки и рвы
Бешено мчится: не жаль головы!

В бурных движеньях — величие власти,
Голос проникнут могуществом страсти,

Очи горят благородным огнем —
Чудное что-то свершилося в нем!

Здесь он не струсит, здесь не уступит,
Здесь его Крез за мильоны не купит!

Буйная удаль не знает преград,
Смерть иль победа — ни шагу назад!

Смерть иль победа! (Но где ж, как не в буре,
И развернуться славянской натуре?)

Зверь отседает [8] — и в смертной тоске
Плачет помещик, припавши к луке.

Зверя поймали — он дико кричит,
Мигом отпазончил, [9] сам торочит, [10]

Гордый удачей любимой потехи,
В заячий хвост отирает доспехи

И замирает, главу преклоня
К шее покрытого пеной коня.

4

Много травили, много скакали,
Гончих из острова в остров бросали,

Вдруг неудача: Свиреп и Терзай
Кинулись в стадо, за ними Ругай,

Следом за ними Угар и Замашка —
И растерзали в минуту барашка!

Барин велел возмутителей сечь,
Сам же держал к ним суровую речь.

Прыгали псы, огрызались и выли
И разбежались, когда их пустили.

Рёвма-ревет злополучный пастух,
За лесом кто-то ругается вслух.

Барин кричит: «Замолчи, животина!»
Не унимается бойкий детина.

Барин озлился и скачет на крик,
Струсил — и валится в ноги мужик.

Барин отъехал — мужик встрепенулся,
Снова ругается; барин вернулся,

Барин арапником злобно махнул —
Гаркнул буян: «Караул, караул!»

Долго преследовал парень побитый
Барина бранью своей ядовитой:

«Мы-ста тебя взбутетеним дубьем
Вместе с горластым твоим холуем!»

Но уже барин сердитый не слушал,
К стогу подсевши, он рябчика кушал,

Кости Нахалу кидал, а псарям
Передал фляжку, отведавши сам.

Пили псари — и угрюмо молчали,
Лошади сено из стога жевали,

И в обагренные кровью усы
Зайцев лизали голодные псы.

5

Так отдохнув, продолжают охоту,
Скачут, порскают [11] и травят без счету.

Время меж тем незаметно идет,
Пес изменяет, и конь устает.

Падает сизый туман на долину,
Красное солнце зашло вполовину,

И показался с другой стороны
Очерк безжизненно-белой луны.

Слезли с коней; поджидают у стога,
Гончих сбивают, сзывают в три рога,

И повторяются эхом лесов
Дикие звуки нестройных рогов.

Скоро стемнеет. Ускоренным шагом
Едут домой по холмам и оврагам.

При переправе чрез мутный ручей,
Кинув поводья, поят лошадей —

Рады борзые, довольны тявкуши:
В воду залезли по самые уши!

В поле завидев табун лошадей,
Ржет жеребец под одним из псарей...

Вот наконец добрались до ночлега.
В сердце помещика радость и нега —

Много загублено заячьих душ.
Слава усердному гону тявкуш!

Из лесу робких зверей выбивая,
Честно служила ты, верная стая!

Слава тебе, неизменный Нахал,—
Ты словно ветер пустынный летал!

Слава тебе, резвоножка Победка!
Бойко скакала, ловила ты метко!

Слава усердным и бурным коням!
Слава выжлятнику [12], слава псарям!

6

Выпив изрядно, поужинав плотно,
Барин отходит ко сну беззаботно,

Завтра велит себя раньше будить.
Чудное дело — скакать и травить!

Чуть не полмира в себе совмещая,
Русь широко протянулась, родная!

Много у нас и лесов и полей,
Много в отечестве нашем зверей!

Нет нам запрета по чистому полю
Тешить степную и буйную волю.

Благо тому, кто предастся во власть
Ратной забаве: он ведает страсть,

И до седин молодые порывы
В нем сохранятся, прекрасны и живы,

Черная дума к нему не зайдет,
В праздном покое душа не заснет.

Кто же охоты собачьей не любит,
Тот в себе душу заспит и погубит.

ПРИМЕЧАНИЯ К «ПСОВОЙ ОХОТЕ»

[1] *Змейка, Набат, Сокол, Хандра, Нахал* и далее употребляющиеся в этой пьесе названия — *Свиреп, Терзай, Ругай, Угар, Замашка, Победка* — собачьи клички.

[2] Так называется снаряд особого устройства, имеющий в спокойном положении форму неправильного треугольника. С помощью этого снаряда в некоторых наших деревнях достают воду из колодцев, что производится с раздирающим душу скрипом.

[3] *Банники* — название леска.

[4] *Набрасывать* — техническое выражение: спускать гончих в остров для отыскания зверя (остров — отъемный лес, удобный, по положению своему, для охотников). Набрасывает гончих обыкновенно так называемый доезжачий; бросив в остров, он поощряет их порсканьем (порскать — значит у охотников криками понуждать гончих к отысканию зверя и подбивать всю стаю на след, отысканный одною) и вообще содержит в неослабном повиновении своему рогу и арапнику. Помощник его называется подъезжим. При выез-

де из дому или переходе от одного острова к другому соблюдается обыкновенно такой порядок: впереди доезжачий, за ним стая гончих, а за нею подъезжий, всегда готовый с криком: «В кучу» хлестнуть арапником собаку, отбившуюся от стаи,— а за ним уже барин и остальные борзовщики. Обязанность борзовщика — стеречь зверя с борзыми близ острова, переменяя место по направлению движения стаи. В уменье выбрать хорошую позицию, выждать зверя, выгнанного наконец гончими из острова, хорошо принять его (т. е. вовремя показать собакам) и хорошо потравить — заключается главная задача охотника и великий источник его наслаждения.

[5] См. примеч. 4.

[6] См. примеч. 4.

[7] *Варом-варит* — техническое выражение, употребляется, когда гонит вся стая дружно, с неумолкающим лаем и заливаньем, что бывает, когда собаки попадут на след только что вскочившего зайца (называемый горячим следом) или когда зверь просто у них в виду. В последнем случае говорится: гонят по зрячему, и гон бывает в полном смысле неистовый. При жарком и дружном гоне хорошо подобранной стаи голоса гончих сливаются в довольно стройную и не чуждую дикой приятности гармонию, для охотников ни с чем не сравнимую.

[8] *Зверь отседает* — говорят, когда заяц, уже нагнанный борзыми, вдруг оставляет их далеко за собою, обманув неожиданным уклонением в сторону, прыжком вверх или другим каким-нибудь хитрым и часто разительным движением. Иногда, например, он бросается просто к собакам; собаки с разбега пронесутся вперед, и, когда попадут на новое направление зайца, он уже далеко.

[9] *Отпазончить* — отрезать задние лапы в среднем суставе.

[10] *Торочить, приторачивать* — привязывать зайца к седлу, для чего при охотничьих седлах находятся особенные ремешки, называемые тороками.

[11] См. примеч. 4.

[12] *Тявкуша* — то же, что гончая, иногда также называются выжлецами (в женск.— выжловка); от этого слова доезжачий, заправляющий ими, называется еще *выжлятником*.

1846

*

(Подражание Лермонтову)

В неведомой глуши, в деревне полудикой
Я рос средь буйных дикарей,
И мне дала судьба, по милости великой,
В руководители псарей.
Вокруг меня кипел разврат волною грязной,
Боролись страсти нищеты,

И на душу мою той жизни безобразной
Ложились грубые черты.
И прежде, чем понять рассудком неразвитым,
Ребенок, мог я что-нибудь,
Проник уже порок дыханьем ядовитым
В мою младенческую грудь.
Застигнутый врасплох, стремительно и шумно
Я в мутный ринулся поток
И молодость мою постыдно и безумно
В разврате безобразном сжег...
Шли годы. Оторвав привычные объятья
От негодующих друзей,
Напрасно посылал я поздние проклятья
Безумству юности моей.
Не вспыхнули в груди растраченные силы —
Мой ропот их не пробудил;
Пустынной тишиной и холодом могилы
Сменился юношеский пыл,
И в новый путь, с хандрой, болезненно развитой,
Пошел без цели я тогда
И думал, что душе, довременно убитой,
Уж не воскреснуть никогда.
Но я тебя узнал... Для жизни и волнений
В груди проснулось сердце вновь:
Влиянье ранних бурь и мрачных впечатлений
С души изгладила любовь...
Во мне опять мечты, надежды и желанья...
И пусть меня не любишь ты,
Но мне избыток слез и жгучего страданья
Отрадней мертвой пустоты...

1846

*

— Так, служба! сам ты в той войне
Дрался — тебе и книги в руки,
Да дай сказать словцо и мне:
Мы сами делывали штуки.

Как затесался к нам француз
Да увидал, что проку мало,

Пришел он, помнишь ты, в конфуз
И на попятный тотчас драло.
Поймали мы одну семью,
Отца да мать с тремя щенками.
Тотчас ухлопали мусью,
Не из фузеи — кулаками!
Жена давай вопить, стонать,
Рвет волоса,— глядим да тужим!
Жаль стало: топорищем хвать —
И протянулась рядом с мужем!
Глядь: дети! Нет на них лица:
Ломают руки, воют, скачут,
Лепечут — не поймешь словца —
И в голос, бедненькие, плачут.
Слеза прошибла нас, ей-ей!
Как быть? Мы долго толковали,
Пришибли бедных поскорей
Да вместе всех и закопали...

Так вот что, служба! верь же мне:
Мы не сидели сложа руки,
И хоть не бились на войне,
А сами делывали штуки!

1846

НРАВСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

1

Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.
Жена моя, закрыв лицо вуалью,
Под вечерок к любовнику пошла.
Я в дом к нему с полицией прокрался
И уличил... Он вызвал — я не дрался!
Она слегла в постель и умерла,
Истерзана позором и печалью...
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.

2

Приятель в срок мне долга не представил.
Я, намекнув по-дружески ему,
Закону рассудить нас предоставил;
Закон приговорил его в тюрьму.
В ней умер он, не заплатив алтына,
Но я не злюсь, хоть злиться есть причина!
Я долг ему простил того ж числа,
Почтив его слезами и печалью...
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.

3

Крестьянина я отдал в повара,
Он удался; хороший повар — счастье!
Но часто отлучался со двора
И званью неприличное пристрастье
Имел: любил читать и рассуждать.
Я, утомясь грозить и распекать,
Отечески посек его, каналью;
Он взял да утопился: дурь нашла!
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.

4

Имел я дочь; в учителя влюбилась
И с ним бежать хотела сгоряча.
Я погрозил проклятьем ей: смирилась
И вышла за седого богача.
Их дом блестящ и полон был как чаша;
Но стала вдруг бледнеть и гаснуть Маша
И через год в чахотке умерла,
Сразив весь дом глубокою печалью...
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла...

Январь или февраль 1847

*

Если, мучимый страстью мятежной,
Позабылся ревнивый твой друг
И в душе твоей, кроткой и нежной,
Злое чувство проснулося вдруг —

Всё, что вызвано словом ревнивым,
Всё, что подняло бурю в груди,
Переполнена гневом правдивым,
Беспощадно ему возврати.

Отвечай негодующим взором,
Оправданья и слезы осмей,
Порази его жгучим укором —
Всю до капли досаду излей!

Но когда, отдохнув от волненья,
Ты поймешь его грустный недуг
И дождется минуты прощенья
Твой безумный, но любящий друг —

Позабудь ненавистное слово
И упреком своим не буди
Угрызений мучительных снова
У воскресшего друга в груди!

Верь: постыдный порыв подозренья
Без того ему много принес
Полных муки тревог сожаленья
И раскаянья позднего слез...

Первая половина 1847

*

Еду ли ночью по улице темной,
Бури заслушаюсь в пасмурный день —
Друг беззащитный, больной и бездомный,
Вдруг предо мной промелькнет твоя тень!
Сердце сожмется мучительной думой.
С детства судьба невзлюбила тебя:
Беден и зол был отец твой угрюмый,
Замуж пошла ты — другого любя.

Муж тебе выпал недобрый на долю:
С бешеным нравом, с тяжелой рукой;
Не покорилась — ушла ты на волю,
Да не на радость сошлась и со мной...

Помнишь ли день, как, больной и голодный,
Я унывал, выбивался из сил?
В комнате нашей, пустой и холодной,
Пар от дыханья волнами ходил.
Помнишь ли труб заунывные звуки,
Брызги дождя, полусвет, полутьму?
Плакал твой сын, и холодные руки
Ты согревала дыханьем ему.
Он не смолкал — и пронзительно звонок
Был его крик... Становилось темней;
Вдоволь поплакал и умер ребенок...
Бедная! слез безрассудных не лей!
С горя да с голоду завтра мы оба
Так же глубоко и сладко заснем;
Купит хозяин, с проклятьем, три гроба —
Вместе свезут и положат рядком...

В разных углах мы сидели угрюмо.
Помню, была ты бледна и слаба,
Зрела в тебе сокровенная дума,
В сердце твоем совершалась борьба.
Я задремал. Ты ушла молчаливо,
Принарядившись, как будто к венцу,
И через час принесла торопливо
Гробик ребенку и ужин отцу.
Голод мучительный мы утолили,
В комнате темной зажгли огонек,
Сына одели и в гроб положили...
Случай нас выручил? Бог ли помог?
Ты не спешила печальным признаньем,
Я ничего не спросил,
Только мы оба глядели с рыданьем,
Только угрюм и озлоблен я был...

Где ты теперь? С нищетой горемычной
Злая тебя сокрушила борьба?

Или пошла ты дорогой обычной
И роковая свершится судьба?
Кто ж защитит тебя? Все без изъятья
Именем страшным тебя назовут,
Только во мне шевельнутся проклятья —
И бесполезно замрут!..

Август 1847

*

Ты всегда хороша несравненно,
Но когда я уныл и угрюм,
Оживляется так вдохновенно
Твой веселый, насмешливый ум;

Ты хохочешь так бойко и мило,
Так врагов моих глупых бранишь,
То, понурив головку уныло,
Так лукаво меня ты смешишь;

Так добра ты, скупая на ласки,
Поцелуй твой так полон огня,
И твои ненаглядные глазки
Так голубят и гладят меня,—

Что с тобой настоящее горе
Я разумно и кротко сношу
И вперед — в это темное море —
Без обычного страха гляжу...

1847

ВИНО

1

Не водись-ка на свете вина,
Тошен был бы мне свет.
И пожалуй — силен сатана! —
Натворил бы я бед.

Без вины меня барин посек,
Сам не знаю, что сталось со мной?

Я не то чтоб большой человек,
Да, вишь, дело-то было впервой.
Как подумаю, весь задрожу,
На душе всё черней да черней.
Как теперь на людей погляжу?
Как приду к ненаглядной моей?
И я долго лежал на печи,
Всё молчал, не отведывал щей;
Нашептал мне нечистый в ночи
Неразумных и буйных речей,
И наутро я сумрачен встал;
Помолиться хотел, да не мог,
Ни словечка ни с кем не сказал
И пошел, не крестясь, за порог.
Вдруг: «Не хочешь ли, братик, вина?» —
Мне вослед закричала сестра.
Целый штоф осушил я до дна
И в тот день не ходил со двора.

2

Не водись-ка на свете вина,
    Тошен был бы мне свет.
И пожалуй — силен сатана! —
    Натворил бы я бед.

Зазнобила меня, молодца,
Степанида, соседская дочь,
Я посватал ее у отца —
И старик, да и девка не прочь.
Да, знать, старосте вплоть до земли
Поклонился другой молодец,
И с немилым ее повели
Мимо окон моих под венец.
Не из камня душа! Невтерпеж!
Расходилась, что буря, она,
Наточил я на старосту нож
И для смелости выпил вина.
Да попался Петруха, свой брат,
В кабаке: назвался угостить;
Даровому ленивый не рад —
Я остался полштофа распить.

А за первым — другой; в кураже
От души невзначай отлегло,
Позабыл я в тот день об ноже,
А наутро раздумье пришло...

3

Не водись-ка на свете вина,
    Тошен был бы мне свет.
И пожалуй — силен сатана! —
    Натворил бы я бед.

Я с артелью взялся у купца
Переделать все печи в дому,
В месяц дело довел до конца
И пришел за расчетом к нему.
Обсчитал, воровская душа!
Я корить, я судом угрожать;
«Так не будет тебе ни гроша!» —
И велел меня в шею прогнать.
Я ходил к нему восемь недель,
Да застать его дома не мог;
Рассчитать было нечем артель,
И меня, слышь, потянут в острог...
Наточивши широкий топор,
«Пропадай!» — сам себе я сказал;
Побежал, притаился как вор,
У знакомого дома — и ждал.
Да прозяб, а напротив кабак,
Рассудил: отчего не зайти?
На последний хватил четвертак,
Подрался — и проснулся в части...

1848 (?)

*

Поражена потерей невозвратной,
Душа моя уныла и слаба:
Ни гордости, ни веры благодатной —
Постыдное бессилие раба!

Ей всё равно — холодный сумрак гроба,
Позор ли, слава, ненависть, любовь,—
Погасла и спасительная злоба,
Что долго так разогревала кровь.

Я жду... но ночь не близится к рассвету,
И мертвый мрак кругом... и та,
Которая воззвать могла бы к свету,—
Как будто смерть сковала ей уста!

Лицо без мысли, полное смятенья,
Сухие, напряженные глаза —
И, кажется, зарею обновленья
В них никогда не заблестит слеза.

1848 (?)

*

Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.

Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя...
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»

1848(?)

*

Так это шутка? Милая моя,
Как боязлив, как недогадлив я!
Я плакал над твоим рассчитанно суровым,
Коротким и сухим письмом;
Ни лаской дружеской, ни откровенным словом
Ты сердца не порадовала в нем.
Я спрашивал: не демон ли раздора
Твоей рукой насмешливо водил?
Я говорил: «Когда б нас разлучила ссора —
Но так тяжел, так горек, так уныл,

Так нежен был последний час разлуки...
Еще твой друг забыть его не мог,
И вновь ему ты посылаешь муки
Сомнения, догадок и тревог,—
Скажи, зачем?.. Не ложью ли пустою.
Рассеянной досужей клеветою
Возмущена душа твоя была?
И, мучима томительным недугом,
Ты над своим отсутствующим другом
Без оправданья суд произнесла?
Или то был один каприз случайный,
Иль давний гнев?..» Неразрешимой тайной
Я мучился: я плакал и страдал,
В догадках ум испуганный блуждал,
Я жалок был в отчаянье суровом...

Всему конец! Своим единым словом
Душе моей ты возвратила вновь
И прежний мир, и прежнюю любовь;
И сердце шлет тебе благословенья,
Как вестнице нежданного спасенья...

Так няня в лес ребенка заведет
И спрячется сама за куст высокой;
Встревоженный, он ищет и зовет,
    И мечется в тоске жестокой,
И падает, бессильный, на траву...
    А няня вдруг: ау! ау!
В нем радостью внезапной сердце бьется,
Он всё забыл: он плачет и смеется,
И прыгает, и весело бежит,
И падает — и няню не бранит,
Но к сердцу жмет виновницу испуга,
Как от беды избавившего друга...

Апрель — сентябрь 1850

*

Да, наша жизнь текла мятежно,
Полна тревог, полна утрат,
Расстаться было неизбежно —
И за тебя теперь я рад!

Но с той поры как всё кругом меня пустынно!
Отдаться не могу с любовью ничему,
И жизнь скучна, и время длинно,
И холоден я к делу своему.
Не знал бы я, зачем встаю с постели,
Когда б не мысль: авось и прилетели
Сегодня наконец заветные листы,
В которых мне расскажешь ты:
Здорова ли? что думаешь? легко ли
Под дальним небом дышится тебе,
Грустишь ли ты, жалея прежней доли,
Охотно ль повинуешься судьбе?
Желал бы я, чтоб сонное забвенье
На долгий срок мне на душу сошло,
Когда б мое воображенье
Блуждать в прошедшем не могло...

Прошедшее! его волшебной власти
Покорствуя, переживаю вновь
И первое движенье страсти,
Так бурно взволновавшей кровь,
И долгую борьбу с самим собою,
И не убитую борьбою,
Но с каждым днем сильней кипевшую любовь.
Как долго ты была сурова,
Как ты хотела верить мне,
И как и верила, и колебалась снова,
И как поверила вполне!
(Счастливый день! Его я отличаю
В семье обыкновенных дней;
С него я жизнь мою считаю,
Я праздную его в душе моей!)
Я вспомнил всё... одним воспоминаньем,
Одним прошедшим я живу —
И то, что в нем казалось нам страданьем,—
И то теперь я счастием зову...

А ты?.. ты так же ли печали предана?..
И так же ли в одни воспоминанья
Средь добровольного изгнанья
Твоя душа погружена?

Иль новая роскошная природа,
И жизнь кипящая, и полная свобода
Тебя невольно увлекли,
И позабыла ты вдали
Всё, чем мучительно и сладко так порою
Мы были счастливы с тобою?
Скажи! я должен знать... Как странно я люблю!
Я счастия тебе желаю и молю,
Но мысль, что и тебя гнетет тоска разлуки,
Души моей смягчает муки...

Апрель — сентябрь 1850

*

Я не люблю иронии твоей.
Оставь ее отжившим и не жившим,
А нам с тобой, так горячо любившим,
Еще остаток чувства сохранившим,—
Нам рано предаваться ей!

Пока еще застенчиво и нежно
Свидание продлить желаешь ты,
Пока еще кипят во мне мятежно
Ревнивые тревоги и мечты —
Не торопи развязки неизбежной!

И без того она не далека:
Кипим сильней, последней жаждой полны,
Но в сердце тайный холод и тоска...
Так осенью бурливее река,
Но холодней бушующие волны...

1850

НА УЛИЦЕ

1

ВОР

Спеша на званый пир по улице прегрязной,
Вчера был поражен я сценой безобразной:
Торгаш, у коего украден был калач,
Вздрогнув и побледнев, вдруг поднял вой и плач

И, бросясь от лотка, кричал: «Держите вора!»
И вор был окружен и остановлен скоро.
Закушенный калач дрожал в его руке;
Он был без сапогов, в дырявом сертуке;
Лицо являло след недавнего недуга,
Стыда, отчаянья, моленья и испуга...
Пришел городовой, подчаска подозвал,
По пунктам отобрал допрос отменно строгой,
И вора повели торжественно в квартал.
Я крикнул кучеру: «Пошел своей дорогой!» —
И богу поспешил молебствие принесть
За то, что у меня наследственное есть...

2

ПРОВОДЫ

Мать касатиком сына зовет,
Сын любовно глядит на старуху,
Молодая бабенка ревет
И всё просит остаться Ванюху,
А старик непреклонно молчит:
Напряженная строгость во взоре,
Словно сам на себя он сердит
За свое бесполезное горе.

Сивка дернул дровнишки слегка —
Чуть с дровней не свалилась старуха.
Ну! нагрел же он сивке бока,
Да помог старику и Ванюха...

3

ГРОБОК

Вот идет солдат. Под мышкою
Детский гроб несет, детинушка.
На глаза его суровые
Слезы выжала кручинушка.

А как было живо дитятко,
То и дело говорилося:
«Чтоб ты лопнуло, проклятое!
Да зачем ты и родилося?»

ВАНЬКА

Смешная сцена! Ванька-дуралей,
Чтоб седока промыслить побогаче,
Украдкой чистит бляхи на своей
Ободранной и заморенной кляче.
Не так ли ты, продажная краса,
Себе придать желая блеск фальшивый,
Старательно взбиваешь волоса
На голове, давно полуплешивой?
Но оба вы — извозчик-дуралей
И ты, смешно причесанная дама,—
Вы пробуждаете не смех в душе моей —
Мерещится мне всюду драма.

1850 (?)

*

Мы с тобой бестолковые люди:
Что минута, то вспышка готова!
Облегченье взволнованной груди,
Неразумное, резкое слово.

Говори же, когда ты сердита,
Всё, что душу волнует и мучит!
Будем, друг мой, сердиться открыто:
Легче мир — и скорее наскучит.

Если проза в любви неизбежна,
Так возьмем и с нее долю счастья:
После ссоры так полно, так нежно
Возвращенье любви и участья...

<1851>

МОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Говорят, что счастье наше скользко,—
Сам, увы! я то же испытал!
На границе Юрьевец-Повольска
В собственном селе я проживал.
Недостаток внешнего движенья
Заменив работой головы,
Приминал я в лето, без сомненья,
Десятин до двадцати травы;
Я лежал с утра до поздней ночи
При волшебном плеске ручейка
И мечтал, поднявши к небу очи,
Созерцая гордо облака.
Вереницей чудной и беспечной
Предо мной толпился ряд идей,
И витал я в сфере бесконечной,
Презирая мелкий труд людей.
Я лежал, гнушаясь их тревогой,
Не нуждаясь, к счастию, ни в чем,
Но зато широкою дорогой
В сфере мысли шел богатырем;
Гордый дух мой рос и расширялся,
Много тайн я совмещал в груди
И поведать миру собирался;
Но любовь сказала: погоди!
Я давно в созданье идеала
Погружен был страстною душой:
Я желал, чтоб женщина предстала
В виде мудрой Клии предо мной,
Чтоб и свет, и танцы, и наряды,
И балы не нужны были ей;
Чтоб она на всё бросала взгляды,
Добытые мыслию своей;
Чтоб она не плакала напрасно,
Не смеялась втуне никогда,
Говоря восторженно и страстно,
Вдохновенно действуя всегда;
Чтоб она не в рюмки и подносы,
Не в дела презренной суеты —
Чтоб она в великие вопросы
Погружала мысли и мечты...

И нашел, казалось, я такую.
Молода она еще была
И свою натуру молодую
Радостно развитью предала.
Я читал ей Гегеля, Жан-Поля,
Демосфена, Галича, Руссо,
Глинку, Ричардсона, Декандоля,
Вольтера, Шекспира, Шамиссо,
Байрона, Мильтона, Соутэя,
Шеллинга, Клопштока, Дидеро...
В ком жила великая идея,
Кто любил науку и добро;
Всех она, казалось, понимала,
Слушала без скуки и тоски,
И сама уж на ночь начинала
Тацита читать, надев очки.
Правда, легче два десятка кегель
Разом сбить ей было, чем понять,
Как велик и плодотворен Гегель;
Но умел я вразумлять и ждать!
Видел я: не пропадет терпенье —
Даже мать красавицы моей,
Бросивши варенье и соленье,
Философских набралась идей.
Так мы шли в развитьи нашем дружно,
О высоком вечно говоря...
Но не то ей в жизни было нужно!
Раз, увы! в начале сентября
Прискакал я поутру к невесте.
Нет ее ни в зале, ни в саду.
Где ж она? «Они на кухне вместе
С маменькой» — и я туда иду.
Тут предстала страшная картина...
Разом столько горя и тоски!
Растерзав на клочья Ламартина,
На бумагу клала пирожки
И сажала в печь моя невеста!!
Я смотреть без ужаса не мог,
Как она рукой месила тесто,
Как потом отведала пирог.
Я не верил зрению и слуху,
Думал я, не перестать ли жить?

А у ней еще достало духу
Мне пирог проклятый предложить.
Вот они — великие идеи!
Вот они — развития плоды!
Где же вы, поэзии затеи?
Что из вас, усилья и труды?
Я рыдал. Сконфузилися обе.
Видимо, перепугались вдруг;
Я ушел в невыразимой злобе,
Объявив, что больше им не друг.
С той поры я верю: счастье скользко,
Я без слез не проживаю дня;
От Москвы до Юрьевец-Повольска
Нет лица несчастнее меня!

Март или апрель 1851

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

Ж у р н а л и с т
(выходя утром в свой кабинет и садясь к рабочему столу)

Вот почта новая. Какая груда дел!
Куда деваться мне от писем и посылок?
В провинции народ взыскателен и пылок:
Чуть к первому числу с журналом не поспел,
Завалят письмами — тоска и разоренье!
Тот делает упрек, тому дай объясненье,
А тот с угрозами... досадная статья!
Посылки также вздор, их ненавижу я!
Плохие повести, а чаще рифмотворство!..
Я, кажется, стихам не делаю потворства —
В них толку не ищи... Какая польза в том,
Что́ чувствовал поэт то дома, то на бале?..
Я положителен и в жизни и в журнале,
Девиз мой: интерес существенный во всем!
И как их различать? Хороших нет эстетик,
А практик я плохой — я больше теоретик...

С л у г а
(входит и докладывает)

Помещик Свистунов — приезжий из Уфы.

Журналист

Проси его, проси: сегодня принимаю...

Слуга уходит.

Всю жизнь я разделил на ровные графы,
Как счетную тетрадь, и только отмечаю,
Куда который час и как употреблен...
В рот капли не беру и ем один бульон...

Подписчик

(входя)

Семь лет подписчиком и данником покорным
Я вашим был — и ныне состою.
Пылая к вам почтеньем непритворным
(Простите, батюшка, докучливость мою),
Священным долгом счел, прибыв в столицу нашу,
Сначала облететь ее во все концы,
Кунсткамеру взглянуть, потом особу вашу...
А там опять домой... чай, ждут мои птенцы!..

Журналист

Садитесь; очень рад. Как розы среди терний,
Как светлый ручеек во глубине степей —
Цветисто говоря,— так жители губерний
Приятны нам всегда. Вы, щедростью своей
Поддерживая нас, конечно, заслужили,
Чтоб полное мы к вам почтение хранили,—
И если в микроскоп рассматривать меня
Охота вам придет — я должен согласиться!

Подписчик

Поздненько, батюшка, мне оптике учиться:
Мне стукнет шестьдесят через четыре дня!

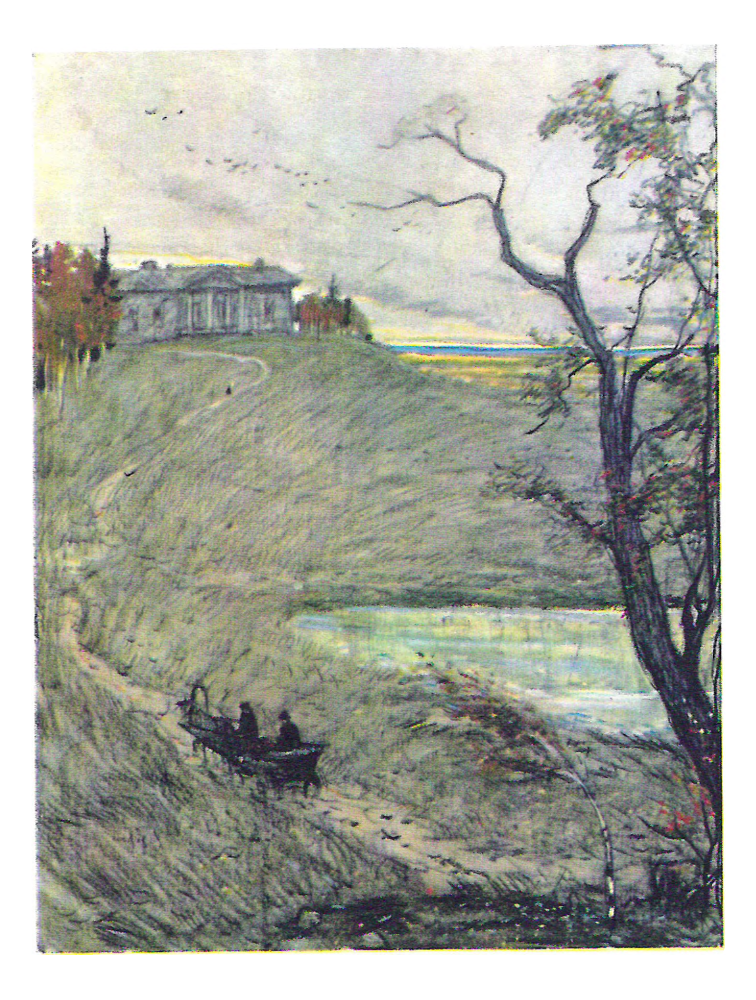
Журналист

Да я ведь пошутил. А говоря прямее,
Как дело всякое со стороны виднее,
То и доволен я, что завернули вы...
Трудами наших рук и нашей головы
Мы жертвуем для вас, журналы издавая...

Подписчик

(перебивая, с поклоном)

И благодарность вам, почтеннейший, большая...



«РОДИНА»



«НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА»

Журналист

Мы пишем день и ночь; торопимся, спешим
Роман перевести; театр, литературу
За месяц обозреть, исправить корректуру —
Всё к первому числу... И еле мы дышим,
Оттиснув наконец и выдав книжку нашу...
Но какова она?.. Которые статьи
Охотно вы прочли в кругу своей семьи?
Какие усыпить успели милость вашу?
Не знаем ничего, и знать нам мудрено.
Конечно, судят нас собратья аккуратно;
Но замечать они умеют только пятна,
И в беспристрастии их упрекнуть грешно!
Купаясь в мелочной и тягостной борьбе,
Которая порой близка бывает к драке,
Увы! не знаем мы цены самим себе
И ощупью бредем в каком-то полумраке!
Кто ж может этот путь тернистый осветить?
Кто на дурное нам беззлобиво укажет?
Кто за хорошее нам благодарность скажет,
Умея покарать, умея и простить?

Подписчик

Конечно, публика...

Журналист

К тому и речь веду я.
Как умный человек и как подписчик мой,
Вы представителем явились предо мной
Всей нашей публики; и вас теперь спрошу я:
Довольны ли вы тем, что производим мы?
Интересуют ли читателей умы
«Словесность», «Критика», «Хозяйство», «Смесь»,
«Науки»?..
Что любит публика? к чему негоряча?..

Подписчик

Благодаря всевластной силе скуки
И рьяности чтецов, читаются сплеча,
За исключением «Наук» и «Домоводства»,
Все ваши рубрики...

Журналист

О стыд! о готтентотство!
Ужель еще читать не начали «Наук»?

Подписчик

Давно бы начали, но, батюшка, «Науки»
Так пишутся у вас, что просто вон из рук!
Охотно ставлю вам семью свою в поруки:
Изрядным наделен достатком — сыновей
Я дома воспитал, а дочек в пансионе,
Страсть к чтенью развита у всех моих детей;
Засядем вечерком с журналом на балконе,
Читаем, и летят скорехонько часы...
Не спит моя жена; а как довольны дети!
Но чуть в «Науки» я — повесят все носы,
Как будто их поймал волшебник лютый в сети!
Стараюсь убеждать, доказываю им,
Что с пользою теперь мы время посвятим
Не басенке пустой, а дельному трактату,
И дети верят мне... Поближе к ним подсяду,
Читаю, горячусь... Но такова статья,
Что через час и сам спать начинаю я!
Ну, что вы скажете?..

Журналист

Еще бы малым детям
Читать вы начали ученые статьи!..

Подписчик

Нет, дети, батюшка, немалы уж мои,
И в нашей публике ученей вряд ли встретим:
Держал учителей, три года жил в Москве...
Прислушивался я частехонько к молве
И слышал всё одно: «Быть может, и прекрасно,
Да только тяжело, снотворно и неясно!»
Имейте, батюшка, слова мои в виду!..
Притом, какие вы трактуете предметы?
«Проказы домовых, пословицы, приметы,
О роли петуха в языческом быту,
Значенье кочерги, история ухвата...»
Нет, батюшка, таких статеек нам не надо!

Журналист

Но ежели вопрос нас к истине ведет,
Ученый помышлять обязан ли о скуке?

Подписчик

Не спорю, батюшка, полезно всё в науке,
И ваша кочерга с достоинством займет
В ученом сборнике достойные страницы...
Но если дилетант-читатель предпочтет
Ученой кочерге пустые небылицы,
Ужели он неправ?

Журналист

Да вы против наук?

Подписчик

Напротив, батюшка, я их всегдашний друг!
И в вашем и в других журналах, хоть нечасто,
Случалось мне встречать ученые статьи —
Я сам, жена моя, домашние мои
Читали жадно их, как повести... Нет, за сто
Изрядных повестей, поверьте, не отдам
Одной такой статьи: какое снисхожденье
К невинной публике! какое изложенье!
Не путешествуя, по дальним городам
С туристом я блуждал; талантливый ученый
Вопрос мне разъяснял в истории мудреный...
Вот этаких статей побольше надо нам!

Журналист
(со вздохом)

Ах, рады бы и мы всегда таким статьям,
Да где их доставать? Таланты так ленивы,
Что ежели статью в журнале в год прочли вы
С известным именем — благополучный год!
Но часто журналист и по три года ждет
Обещанной статьи; а в публике толкуют,
Что шарлатанит он...

Подписчик

Куда как негодуют,
Что обещаний вы не держите своих!

Журналист
(махнув рукой)

Мы нынче и давать уж перестали их!

Подписчик

Но прихотлив талант — в нем возбудить охоту
Полезно иногда — скупитесь, видно, вы?

Журналист

Помилуйте! платить готовы мы без счету!
Кто только прогремит, по милости молвы,
Тому наперехват и деньги и вниманье...
Ох, дорогонько мне пришлось соревнованье!
Набили цену так в последние года,
Что наши барыши не годны никуда!
Бог знает, из чего стараемся, хлопочем?
«Известности» теперь так дорого берут,
Что сбавил цену я своим чернорабочим...
Романы, например... поверьте, приведут
Мою и без того тщедушную особу
К сухотке злой они, а может, и ко гробу!
Спасение в одном — почаще перевод
Печатай, и конец...

Подписчик

По мне, так переводы
Пора бы выводить решительно из моды,
А много перевесть романа два-три в год...
Не спорю: хороши французские романы,
И в аглицких меня пленяет здравый ум...
Но мы читаем их, как дети, наобум:
Нас авторы ведут в неведомые страны;
Народности чужой неясные черты
Нам трудно понимать, не зная той среды,
В которой романист рисуется как дома...
То ль дело русский быт и русское житье?
Природа русская?.. Жизнь русская знакома
Так каждому из нас, так любим мы ее,
Что, как ни даровит роман ваш переводный,
Мы слабую ему статейку предпочтем,
В которой нам дохнет картиною народной,

И русской грустию, и русским удальством,
Где развернется нам знакомая природа,
Знакомые черты знакомого народа...

Журналист

Вы судите умно. Всё к сведенью приму.
Теперь же вам вопрос последний предлагаю:
Сужденье ваше знать о «Критике» желаю...

Подписчик

Позвольте умолчать.

Журналист

Скажите, почему?

Подписчик

Сегодня повод вам своей свободной речью
Я подал, сударь мой, и так к противоречью,
А если мнение о «Критике» скажу,
Название глупца, пожалуй, заслужу.

Журналист

Напротив, никогда! Ведь нет о вкусах спора!
Прошу вас, и клянусь, что яблоком раздора
Не будет никакой строжайший приговор.

Подписчик

Ну, если так, я рад! Полезно разговор,
О чем бы он ни шел, довесть до окончанья.
Я вашей «Критики» любитель небольшой:
Не то чтоб были в ней неверны замечанья,
Но многословием, надутой пустотой,
Самодовольствием, задором и педантством
Смущает нас она... а пуще шарлатанством!
Ну что хорошего? Как только летний жар
Немного поспадет и осенью суровой
Повеет над селом, над полем и дубровой,
Меж вами, так и жди, поднимется базар!
Забыв достоинство своей журнальной чести,
Из зависти, вражды, досады, мелкой мести
Спешите вы послать врагам своим стрелу.

Враги стремительно бросают вам перчатку —
И бурей роковой к известному числу
Всё разрешается... Ошибку, опечатку
С восторгом подхватив, готовы целый том
О ней вы сочинить... А публика? Мы ждем,
Когда окончится промышленная стычка,
Критический отдел наполнившая весь
И даже наконец забравшаяся в «Смесь»,
И думаем свое: «Несчастная привычка,
Ошибка грустная испытанных умов,
К чему ты приведешь?..» О, выразить нет слов,
Как сами вы себя роняете жестоко,
Как оскорбляете вы публику глубоко —
И всё ведь из чего?.. Шумливая толпа
Газетных писунов, журнальных ратоборцев,
Напрасно мыслишь ты, что публика слепа!..
Я верю вам, когда бездарных стихотворцев
Преследуете вы, трактуя свысока
О рифме, о стихе, о формах языка,
Во имя Пушкина, Жуковского и Гете,
Доказывая им, что хуже в целом свете
Не писывал никто и что рубить дрова
Полезней, чем низать — «слова, слова, слова!»
(Привычка водится за всем ученым миром
Сужденье подкрепить то Данте, то Шекспиром).
Я верю вам, когда озлобленным пером
Вонзаетесь порой в нелепые романы,
Пигмеям нанося решительные раны,
В надежде щегольнуть и собственным умом;
Когда неловкий стих или хромую фразу,
Вдобавок исказив и, на потеху глазу,
Косыми буквами поставив мне на вид,
Кричите вы: «И вот что автор говорит!
Где мысль, где логика, где истинное чувство?
Тут попран здравый смысл, поругано искусство!
О муза русская! осиротела ты!..»
Горячность ваша мне хотя и непонятна
(Вы знаете, что есть и в самом солнце пятна),
Но верить я готов, что чувство правоты
Внушило вам и желчь, и едкие сарказмы
(Хотя противное видали и не раз мы!).
Я также верил вам, сочувствовал душой,

Когда в своих статьях, приличных и достойных,
Вы отзывалися с разумной похвалой
О Пушкине и о других покойных.
Язык красноречив, манера хороша:
Кто страстно так любил, так понимал искусство,
В том был глубокий ум, горело ярко чувство,
Светилася прекрасная душа!..
Когда авторитет, давно шумевший ложно,
Вы разрушаете — вам также верить можно;
Когда вы хвалите ученые труды,
Успех которых вам не сделает беды,
Я тоже верю вам (хоть страсть к литературе
Вас в равновесии не держит никогда:
То вдруг расходитесь, подобно грозной буре,
То так расхвалитесь, что новая беда).
Но иначе смотреть, иную думать думу
Привык я, господа, прислушиваясь к шуму,
Который иногда затеяв меж собой,
Вы разрешаетесь осеннею грозой;
Тоска меня берет, по телу дрожь проходит,
Когда один журнал, к другому подходя,
О совести своей журнальной речь заводит...

Журналист

Ужели, мой журнал внимательно следя,
И в нем открыли вы уловки самохвальства?

Подписчик

О, как же, батюшка, и даже до нахальства!..

Журналист
(вскакивая)

Но где ж! Помилуйте! еще подобных слов
Я сроду не слыхал...

Подписчик

Уж будто?

Слуга

(докладывает)

Хрипунов!

Журналист

А! нужный человек!

Подписчик

(вставая)

Так значит, до свиданья?
Оно и хорошо, а то, разгорячась,
До грубости свои довел я замечанья
И засиделся сам,— прощайте! третий час!
Простите, что мои сужденья были жестки
(А может, скажете, что даже просто плоски).
Но льстить не мастер я и спину гнуть в кольцо...
Не думайте, что мы трудов не ценим ваших:
Нет, дельный журналист — полезное лицо!
В вас благодетелей мы часто видим наших,
Мы благодарны вам за честные труды,
Которых видимы полезные плоды,—
Вы развиваете охоту к просвещенью,
Вы примиряете нас с собственною ленью,
И вам всегда открыт охотно наш карман —
Нас опыт научил, что без статей журнальных
Осенних вечеров, дождливых и печальных,
Нам некуда девать! Невежества туман
Рассеялся давно; смягчило время нравы;
Разгульные пиры и грубые забавы
Времен невежества сменило чередой
Стремленье к знанию, искусствам благородным,
И редкий дворянин — конечно, молодой —
Теперь не предпочтет собакам превосходным
Журнал ваш... Для чего ж грошовый интерес
Над правдою берет в вас часто перевес?
К чему хвастливый тон, осенние раздоры,
Зацепки, выходки, улики, желчь и споры?
К чему самих себя так глупо унижать?
Поверьте, публика поймет и без навета,
Что́ хорошо у вас, что̀ дурно у соседа,
Да, право, и труда большого нет понять!
Поверьте, всё пойдет и тихо и прекрасно,
Когда вы станете трудиться, господа,
Самостоятельно, разумно и согласно —
И процветете все на многие года!..

Прощайте! надоел я вам своим болтаньем;
Но если речь мою почтили вы вниманьем,
Готов я забрести, пожалуй, и опять...

Журналист

Весьма обяжете... Прощайте! буду ждать!

1851, 1874

НОВЫЙ ГОД

Что новый год, то новых дум,
    Желаний и надежд
Исполнен легковерный ум
    И мудрых и невежд.
Лишь тот, кто под землей сокрыт,
Надежды в сердце не таит!..

Давно ли ликовал народ
    И радовался мир,
Когда рождался прошлый год
    При звуках чаш и лир?
И чье суровое чело
Лучом надежды не цвело?

Но меньше ль видел он могил,
    Вражды и нищеты?
В нем каждый день убийцей был
    Какой-нибудь мечты;
Не пощадил он никого
И не дал людям ничего!

При звуках тех же чаш и лир,
    Обычной чередой
Бесстрастный гость вступает в мир
    Бесстрастною стопой —
И в тех лишь нет надежды вновь,
В ком навсегда застыла кровь!

И благо!.. С чашами в руках
    Да будет встречен гость,
Да разлетится горе в прах,

Да умирится злость —
И в обновленные сердца
Да снидет радость без конца!

Нас давит времени рука,
Нас изнуряет труд,
Всесилен случай, жизнь хрупка,
Живем мы для минут,
И то, что с жизни взято раз,
Не в силах рок отнять у нас!

Пускай кипит веселый рой
Мечтаний молодых —
Им предадимся всей душой...
А время скосит их? —
Что нужды! Снова в свой черед
В нас воскресит их новый год...

1851

ЗА ГОРОДОМ

«Смешно! нас веселит ручей, вдали журчащий,
И этот темный дуб, таинственно шумящий;
Нас тешит песнею задумчивой своей,
Как праздных юношей, вечерний соловей;
Далекий свод небес, усеянный звездами,
Нам кажется, простерт с любовию над нами:
Любуясь месяцем, оглядывая даль,
Мы чувствуем в душе ту тихую печаль,
Что слаще радости... Откуда чувства эти?
Чем так довольны мы?.. Ведь мы уже не дети!
Ужель поденный труд наклонности к мечтам
Еще в нас не убил?.. И нам ли, беднякам,
На отвлеченные природой наслажденья
Свободы краткие истрачивать мгновенья?»

— Э! полно рассуждать! искать всему причин!
Деревня согнала с души давнишний сплин.
Забыта тяжкая, гнетущая работа,
Докучной бедности бессменная забота,—

И сердцу весело... И лучше поскорей
Судьбе воздать хвалу, что в нищете своей,
Лишенные даров довольства и свободы,
Мы живо чувствуем сокровища природы,
Которых сильные и сытые земли
Отнять у бедняков голодных не могли...

<1852>

СТАРИКИ

Неизбежные напасти,
Бремя лет, трудов и зла
Унесли из нашей страсти
Много свету и тепла.

Сердце — времени послушно —
Бьется ровной чередой,
Расстаемся равнодушно,
Не торопимся домой.

Что таиться друг от друга?
Поседел я — видишь ты:
И в тебе, моя подруга,
Нету прежней красоты.

Что ж осталось в жизни нашей?
Ты молчишь... печальна ты...
Не случилось ли с Парашей —
Сохрани господь — беды?..

<1852>

*

(Из Гейне)

Ах, были счастливые годы!
Жил шумно и весело я,
Имел я большие доходы,
Со мной пировали друзья;

Я с ними последним делился,
И не было дружбы нежней,
Но мой кошелек истощился —
И нет моих милых друзей!

Теперь у постели больного —
Как зимняя вьюга шумит —
В ночной своей кофте, сурово
Старуха-Забота сидит.

Скрипя, раздирает мне ухо
Ее табакерка порой.
Как страшно кивает старуха
Седою своей головой!

Случается, снова мне снится
То полное счастья житье,
И станет отраднее биться
Изнывшее сердце мое...

Вдруг скрип, раздирающий ухо,—
И мигом исчезла мечта!
Сморкается громко старуха,
Зевает и крестит уста.

1851 или 1852

*

Блажен незлобивый поэт,
В ком мало желчи, много чувства:
Ему так искренен привет
Друзей спокойного искусства;

Ему сочувствие в толпе,
Как ропот волн, ласкает ухо;
Он чужд сомнения в себе —
Сей пытки творческого духа;

Любя беспечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Он прочно властвует толпой
С своей миролюбивой лирой.

Дивясь великому уму,
Его не гонят, не злословят,
И современники ему
При жизни памятник готовят...

Но нет пощады у судьбы
Тому, чей благородный гений
Стал обличителем толпы,
Ее страстей и заблуждений.

Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь
С своей карающею лирой.

Его преследуют хулы:
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

И веря и не веря вновь
Мечте высокого призванья,
Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья,—

И каждый звук его речей
Плодит ему врагов суровых,
И умных и пустых людей,
Равно клеймить его готовых.

Со всех сторон его клянут
И, только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он — ненавидя!

Конец февраля 1852

МУЗА

Нет, Музы ласково поющей и прекрасной
Не помню над собой я песни сладкогласной!
В небесной красоте, неслышимо, как дух,
Слетая с высоты, младенческий мой слух

Она гармонии волшебной не учила,
В пеленках у меня свирели не забыла,
Среди забав моих и отроческих дум
Мечтой неясною не волновала ум
И не явилась вдруг восторженному взору
Подругой любящей в блаженную ту пору,
Когда томительно волнуют нашу кровь
Неразделимые и Муза и Любовь...

Но рано надо мной отяготели узы
Другой, неласковой и нелюбимой Музы,
Печальной спутницы печальных бедняков,
Рожденных для труда, страданья и оков,—
Той Музы плачущей, скорбящей и болящей,
Всечасно жаждущей, униженно просящей,
Которой золото — единственный кумир...

В усладу нового пришельца в божий мир,
В убогой хижине, пред дымною лучиной,
Согбенная трудом, убитая кручиной,
Она певала мне — и полон был тоской
И вечной жалобой напев ее простой.
Случалось, не стерпев томительного горя,
Вдруг плакала она, моим рыданьям вторя,
Или тревожила младенческий мой сон
Разгульной песнею... Но тот же скорбный стон
Еще пронзительней звучал в разгуле шумном.
Всё слышалося в нем в смешении безумном:
Расчеты мелочной и грязной суеты,
И юношеских лет прекрасные мечты,
Погибшая любовь, подавленные слезы,
Проклятья, жалобы, бессильные угрозы.
В порыве ярости, с неправдою людской
Безумная клялась начать упорный бой.
Предавшись дикому и мрачному веселью,
Играла бешено моею колыбелью,
Кричала: «Мщение!» — и буйным языком
В сообщники свои звала господень гром!

В душе озлобленной, но любящей и нежной
Непрочен был порыв жестокости мятежной.

Слабея медленно, томительный недуг
Смирялся, утихал... и выкупалось вдруг
Всё буйство дикое страстей и скорби лютой
Одной божественно-прекрасною минутой,
Когда страдалица, поникнув головой,
«Прощай врагам своим!» шептала надо мной...

Так вечно плачущей и непонятной девы
Лелеяли мой слух суровые напевы,
Покуда наконец обычной чередой
Я с нею не вступил в ожесточенный бой.
Но с детства прочного и кровного союза
Со мною разорвать не торопилась Муза:
Чрез бездны темные Насилия и Зла,
Труда и Голода она меня вела —
Почувствовать свои страданья научила
И свету возвестить о них благословила...

1852

ПРЕКРАСНАЯ ПАРТИЯ

1

У хладных невских берегов,
В туманном Петрограде,
Жил некто господин Долгов
С женой и дочкой Надей.

Простой и добрый семьянин,
Чиновник непродажный,
Он нажил только дом один —
Но дом пятиэтажный.

Учась на медные гроши,
Не ведал по-французски,
Был добр по слабости души,
Но как-то не по-русски:

Есть русских множество семей,
Они как будто добры,
Но им у крепостных людей
Считать не стыдно ребры.

Не отличался наш Долгов
Такой рукою бойкой
И только колотить тузов
Любил козырной двойкой.

Зато господь его взыскал
Своею благодатью:
Он город за женою взял
И породнился с знатью.

Итак, жена его была
Наклонна к этикету
И дом как следует вела,—
Под стать большому свету:

Сама не сходит на базар
И в кухню ни ногою;
У дома их стоял швейцар
С огромной булавою;

Лакеи чинною толпой
Теснилися в прихожей,
И между ними ни одной
Кривой и пьяной рожи.

Всегда сервирован обед
И чай весьма прилично,
В парадных комнатах паркет
Так вылощен отлично.

Они давали вечера
И даже в год два бала:
Играли старцы до утра,
А молодежь плясала;

Гремела музыка всю ночь,
По требованью глядя.
Царицей тут была их дочь —
Красивенькая Надя.

2

Ни преждевременным умом,
    Ни красотой нимало
В невинном возрасте своем
    Она не поражала.

Была ленивой в десять лет
    И милою резвушкой:
Цветущ и ясен, божий свет
    Казался ей игрушкой.

В семнадцать — сверстниц и сестриц
    Всех красотой затмила,
Но наших чопорных девиц
    Собой не повторила:

В глазах природный ум играл,
    Румянец в коже смуглой,
Она любила шумный бал
    И не была там куклой.

В веселом обществе гостей
    Жеманно не молчала
И строгой маменьки своей
    Глазами не искала.

Любила музыку она
    Не потому, что в моде;
Не исключительно луна
    Ей нравилась в природе.

Читать любила иногда
    И с книгой не скучала,
Напротив, и гостей тогда
    И танцы забывала;

Но также *синего чулка*
    В ней не было приметы:
Не трактовала свысока
    Ученые предметы,

Разбору строгому еще
    Не предавала чувство
И не трещала горячо
    О святости искусства.

Ну, словом, глядя на нее,
    Поэт сказал бы с жаром:
«Цвети, цвети, дитя мое!
    Ты создана недаром!..»

Уж ей врала про женихов
    Услужливая няня.
Немало ей писал стихов
    Кузен какой-то Ваня.

Мамаша повторяла ей:
    «Уж ты давно невеста».
Но в сердце береглось у ней
    Незанятое место.

Девичий сон еще был тих
    И крепок благотворно.
А между тем давно жених
    К ней сватался упорно...

3

То был гвардейский офицер,
    Воитель черноокий.
Блистал он светскостью манер
    И лоб имел высокий;

Был очень тонкого ума,
    Воспитан превосходно,
Читал Фудраса и Дюма
    И мыслил благородно;

Хоть книги редко покупал,
    Но чтил литературу
И даже анекдоты знал
    Про русскую цензуру.

В Шекспире признавал талант
За личность Дездемоны
И строго осуждал Жорж Санд,
Что носит панталоны;

Был от Рубини без ума,
Пел басом «Caro mio»[1]
И к другу при конце письма
Приписывал: «addio».[2]

Его любимый идеал
Был Александр Марлинский,
Но он всему предпочитал
Театр Александринский.

Здесь пищи он искал уму,
Отхлопывал ладони,
И были по сердцу ему
И Кукольник и Кони.

Когда главою помавал,
Как некий древний магик,
И диким зверем завывал
Широкоплечий трагик,

И вдруг влетала, как зефир,
Воздушная Сюзета —
Тогда он забывал весь мир,
Вникая в смысл куплета,

Следил за нею чуть дыша,
Не отрывая взора,
Казалось, вылетит душа
С его возгла́сом: «фора!»

В нем бурно поднимала кровь
Все силы молодые.

---

[1] Дорогой мой (*итал.*).— *Ред.*
[2] Прощай (*итал.*).— *Ред.*

Счастливый юноша! любовь
Он познавал впервые!

Отрада юношеских лет,
Подруга идеалам,
О сцена, сцена! не поэт,
Кто не был театралом,

Кто не сдавался в милый плен,
Не рвался за кулисы
И не платил громадных цен
За кресла в бенефисы,

Кто по часам не поджидал
Зеленую карету
И водевилей не писал
На бенефис «предмету»!

Блажен, кто успокоил кровь
Обычной чередою:
Успехом увенчал любовь
И завелся семьею;

Но тот, кому не удались
Исканья,— не внакладе:
Прелестны грации кулис —
Покуда на эстраде,

Там вся поэзия души,
Там места нет для прозы.
А дома сплетни, барыши,
Упреки, зависть, слезы.

Так отдает внаймы другим
Свой дом владелец жадный,
А сам, нечист и нелюдим,
Живет в конуре смрадной.

Но ты, к кому души моей
Летят воспоминанья,—
Я бескорыстней и светлей
Не видывал созданья!

Блестящ и краток был твой путь...
    Но я на эту тему
Вам напишу когда-нибудь
    Особую поэму...

В младые годы наш герой
    К театру был прикован,
Но ныне он отцвел душой —
    Устал, разочарован!

Когда при тысяче огней
    В великолепной зале,
Кумир девиц, гроза мужей,
    Он танцевал на бале,

Когда являлся в маскарад
    Во всей парадной форме,
Когда садился в первый ряд
    И дико хлопал «Норме»,

Когда по Невскому скакал
    С усмешкой губ румяных
И кучер бешено кричал
    На пару шведок рьяных,—

Никто б, конечно, не узнал
    В нем нового Манфреда...
Но ах! он жизнию скучал —
    Пока лишь до обеда.

Являл он Байрона черты
    В характере усталом:
Не верил в книги и мечты,
    Не увлекался балом.

Он знал: фортуны колесо
    Пленяет только младость;
Он в ресторации Дюсо
    Давно утратил радость!

Не верил истине в друзьях —
Им верят лишь невежды —
С кием и с картами в руках
Познал тщету надежды!

Он буйно молодость убил,
Взяв образец в Ловласе,
И рано сердце остудил
У Кессених в танцклассе!

Расстроил тысячу крестьян,
Чтоб как-нибудь забыться...
Пуста душа, и пуст карман —
Пора, пора жениться!

4

Недолго в деве молодой
Таилося раздумье...
«Прекрасной партией такой
Пренебрегать — безумье», —

Сказала плачущая мать,
Дочь по головке гладя,
И не могла ей отказать
Растроганная Надя.

Их сговорили чередой
И обвенчали вскоре.
Как думаешь, читатель мой,
На радость или горе?..

1852

*

О письма женщины, нам милой!
От вас восторгам нет числа,
Но в будущем душе унылой
Готовите вы больше зла.

Когда погаснет пламя страсти
Или послушаетесь вы
Благоразумья строгой власти
И чувству скажете: увы! —
Отдайте ей ее посланья
Иль не читайте их потом,
А то нет хуже наказанья,
Как задним горевать числом.
Начнешь с усмешкою ленивой,
Как бред невинный и пустой,
А кончишь злобою ревнивой
Или мучительной тоской...

О ты, чьих писем много, много
В моем портфеле берегу!
Подчас на них гляжу я строго,
Но бросить в печку не могу.
Пускай мне время доказало,
Что правды в них и проку мало,
Как в праздном лепете детей,
Но и теперь они мне милы —
Поблекшие цветы с могилы
Погибшей юности моей!

1852

БУРЯ

Долго не сдавалась Любушка-соседка,
Наконец шепнула: «Есть в саду беседка,

Как темнее станет — понимаешь ты?..»
Ждал я, исстрадался, ночки-темноты!

Кровь-то молодая: закипит — не шутка!
Да взглянул на небо — и поверить жутко!

Небо обложилось тучами кругом...
Полил дождь ручьями — прокатился гром!

Брови я нахмурил и пошел угрюмый —
«Свидеться сегодня лучше и не думай!

Люба белоручка, Любушка пуглива,
В бурю за ворота выбежать ей в диво.

Правда, не была бы буря ей страшна,
Если б... да настолько любит ли она?..»

Без надежды, скучен прихожу в беседку,
Прихожу и вижу — Любушку-соседку!

Промочила ножки и хоть выжми шубку...
Было мне заботы обсушить голубку!

Да зато с той ночи я бровей не хмурю.
Только усмехаюсь, как заслышу бурю...

<1850>, 1853

ПАМЯТИ БЕЛИНСКОГО

Наивная и страстная душа,
В ком помыслы прекрасные кипели,
Упорствуя, волнуясь и спеша,
Ты честно шел к одной высокой цели;
Кипел, горел — и быстро ты угас!
Ты нас любил, ты дружеству был верен —
И мы тебя почтили в добрый час!
Ты по судьбе печальной беспримерен:
Твой труд живет и долго не умрет,
А ты погиб, несчастлив и незнаем!
И с дерева неведомого плод,
Беспечные, беспечно мы вкушаем.
Нам дела нет, кто возрастил его,
Кто посвящал ему и труд и время,
И о тебе не скажет ничего
Своим потомкам сдержанное племя...
И, с каждым днем окружена тесней,
Затеряна давно твоя могила,
И память благодарная друзей
Дороги к ней не проторила...

Между 1851 и 1853

ЗАСТЕНЧИВОСТЬ

Ах ты, страсть роковая, бесплодная,
Отвяжись, не тумань головы!
Осмеет нас красавица модная,
Вкруг нее увиваются львы:

Поступь гордая, голос уверенный,
Что ни скажут — их речь хороша,
А вот я-то войду как потерянный —
И ударится в пятки душа!

На ногах словно гири железные,
Как свинцом налита голова,
Странно руки торчат бесполезные,
На губах замирают слова.

Улыбнусь — непроворная, жесткая,
Не в улыбку улыбка моя,
Пошутить захочу — шутка плоская:
Покраснею мучительно я!

Помещусь, молчаливо досадуя,
В дальний угол... уныло смотрю
И сижу неподвижен, как статуя,
И судьбу потихоньку корю:

«Для чего-де меня, горемычного,
Дураком ты на свет создала?
Ни умишка, ни виду приличного,
Ни довольства собой не дала?..»

Ах! судьба ль меня, полно, обидела?
Отчего ж, как домой ворочусь
(Удивилась бы, если б увидела),
И умен и пригож становлюсь?

Всё припомню, что было ей сказано,
Вижу: сам бы сказал не глупей...
Нет! мне в божьих дарах не отказано,
И лицом я не хуже людей!

Малодушье пустое и детское,
Не хочу тебя знать с этих пор!

Я пойду в ее общество светское,
Я там буду умен и остер!

Пусть поймет, что свободно и молодо
В этом сердце волнуется кровь,
Что под маской наружного холода
Бесконечная скрыта любовь...

Полно роль-то играть сумасшедшего,
В сердце искру надежды беречь!
Не стряхнуть рокового прошедшего
Мне с моих невыносливых плеч!

Придавила меня бедность грозная,
Запугал меня с детства отец,
Бесталанная долюшка слезная
Извела, доконала вконец!

Знаю я: сожаленье постыдное,
Что как червь копошится в груди,
Да сознанье бессилья обидное
Мне осталось одно впереди...

1852 или 1853

ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК ГРАФА ГАРАНСКОГО

(Перевод с французского: Trois mois dans la Patrie. Essais de Poésie et de Prose, suivis d'un Discours sur les moyens de parvenir au développement des forces morales de la Nation Russe et des richesses naturelles de cet État. Par un Russe, comte de Garansky. 8 vol. in 4°. Paris, 1836 [1].)

Я путешествовал недурно: русский край
Оригинальности имеет отпечаток...
Не то чтоб в деревнях трактиры были — рай,
Не то чтоб в городах писцы не брали взяток —
Природа нравится громадностью своей.

[1] Три месяца в отчизне. Опыты в стихах и прозе, сопровождаемые рассуждением о мерах, способствующих развитию нравственных начал в русском народе и естественных богатств Российского государства. Сочинение россиянина, графа де Гаранского. Восемь томов в четвертую долю листа. Париж, 1836 (*франц.*).— *Ред.*

Такой громадности не встретите нигде вы:
Пространства широко раскинутых степей
Лугами здесь зовут; начнутся ли посевы —
Не ждите им конца! подобно островам,
Зеленые леса и серые селенья
Пестрят равнину их, и любо видеть вам
Картину сельского обычного движенья...
Подобно муравью, трудолюбив мужик:
Ни грубости их рук, ни лицам загорелым
Я больше не дивлюсь: я видеть их привык
В работах полевых чуть не по суткам целым.
Не только мужики здесь преданы труду,
Но даже дети их, беременные бабы —
Все терпят общую, по их словам, «страду»,
И грустно видеть, как иные бледны, слабы!
Я думаю, земель избыток и лесов
Способствует к труду всегдашней их охоте,
Но должно б вразумлять корыстных мужиков,
Что изнурительно излишество в работе.
Не такова ли цель — в немецких сертуках
Особенных фигур, бродящих между ними?
Нагайки у иных заметил я в руках...
Как быть! не вразумишь их средствами другими:
Натуры грубые!..

Какие реки здесь!
Какие здесь леса! Пейзаж природы русской
Со временем собьет, я вам ручаюсь, спесь
С природы реинской, но только не с французской!
Во Франции провел я молодость свою;
Пред ней, как говорят в стихах, всё клонит выю,
Но всё ж, по совести и громко признаю,
Что я не ожидал найти такой Россию!
Природа недурна: в том отдаю ей честь,—
Я славно ел и спал, подьячим не дал штрафа...
Да, средство странствовать и по России есть —
С французской кухнею и с русским титлом графа!..

Но только худо то, что каждый здесь мужик
Дворянский гонор мой, спокойствие и совесть
Безбожно возмущал; одну и ту же повесть
Бормочет каждому негодный их язык:

Помещик — лиходей! а если управитель,
То, верно,— живодер, отъявленный грабитель!
Спрошу ли ямщика: «Чей, братец, виден дом?»
— «Помещика...» — «Что, добр?» — «Нешто,
хороший барин,
Да только...» — «Что, мой друг?» — «С тяжелым
кулаком,
Как хватит — год хворай».— «Неужто? вот татарин!»
— «Э, нету, ничего! маненечко ретив,
А добрая душа, не тяготит оброком,
Почасту с мужиком и ласков и правдив,
А то скулу свернет, вестимо ненароком!
Куда б еще ни шло за барином таким,
А то и хуже есть. Вот памятное место:
Тут славно мужички расправились с одним...»
— «А что?» — «Да сделали из барина-то тесто».
— «Как тесто?» — «Да в куски живого изрубил
Его один мужик... попал такому в лапы...»
— «За что же?» — «Да за то, что барин лаком был
На свой, примерно, гвоздь чужие вешать шляпы».
— «Как так?» — «Да так, сударь: как женится
мужик,
Веди к нему жену; проспит с ней перву ночку,
А там и к мужу в дом... да наш народец дик,
Сначала потерпел — не всяко лыко в строчку,—
А после и того... А вот, примерно, тут,
Извольте посмотреть — домок на косогоре,
Четыре барышни-сестрицы в нем живут,
Так мужикам от них уж просто смех и горе.
Именья — семь дворов; так бедно, что с трудом
Дай бог своих детей прохарчить мужичонку,
А тут еще беда: что год, то в каждый дом
Сестрицы-барышни подкинут по ребенку».
— «Как, что ты говоришь?» — «А то, что в восемь лет
Так тридцать три души прибавилось в именье.
Убытку барышням, известно дело, нет,
Да, судырь, мужичкам какое разоренье!»

Ну, словом, всё одно: тот с дворней выезжал
Разбойничать, тот затравил мальчишку,—
Таких рассказов здесь так много я слыхал,
Что скучно, наконец, записывать их в книжку.

Ужель помещики в России таковы?
Я к многим заезжал; иные, точно, грубы —
Муж *ты* своей жене, жена супругу *вы*,
Сивуха, грязь и вонь, овчинные тулупы.
Но есть премилые: прилично убран дом,
У дочерей рояль, а чаще фортепьяно,
Хозяин с Францией и с Англией знаком,
Хозяйка не заснет без модного романа;
Ну, всё, как водится у развитых людей,
Которые глядят прилично на предметы
И вряд ли мужиков трактуют, как свиней...

Я также наблюдал — в окно моей кареты —
И быт крестьянина: он нищеты далек!
По собственным моим владеньям проезжая,
Созвал я мужиков: составили кружок
И гаркнули: «ура!..» С балкона наблюдая,
Спросил: довольны ли?.. Кричат: «Довольны всем!»
— «И управляющим?» — «Довольны»... О работах
Я с ними говорил, поил их — и затем,
Бекаса подстрелив в наследственных болотах,
Поехал далее... Я мало с ними был,
Но видел, что мужик свободно ел и пил,
Плясал и песни пел; а немец-управитель
Казался между них отец и покровитель...

Чего же им еще?.. А если точно есть
Любители кнута, поборники тиранства,
Которые, забыв гуманность, долг и честь,
Пятнают родину и русское дворянство —
Чего же медлишь ты, сатиры грозной бич?..
Я книги русские перебирал всё лето:
Пустейшая мораль, напыщенная дичь —
И лучшие темны, как стертая монета!
Жаль, дремлет русский ум. А то чего б верней?
Правительство казнит открытого злодея,
Сатира действует и шире и смелей,
Как пуля находить виновного умея.
Сатире уж не раз обязана была
Европа (кажется, отчасти и Россия)
Услугой важною . . . .

1853

ФИЛАНТРОП

Частию по глупой честности,
Частию по простоте,
Пропадаю в неизвестности,
Пресмыкаюсь в нищете.
Место я имел доходное,
А доходу не имел:
Бескорыстье благородное!
Да и брать-то не умел.
В Провиантскую комиссию
Поступивши, например,
Покупал свою провизию —
Вот какой миллионер!
Не взыщите! честность ярая
Одолела до ногтей;
Даже стыдно вспомнить старое —
Ведь имел уж и детей!
Сожалели по Житомиру:
«Ты-де нищим кончишь век
И семейство пустишь по миру,
Беспокойный человек!»
Я не слушал. Сожаления
В недовольство перешли,
Оказались упущения,
Подвели — и упекли!
Совершилося пророчество
Благомыслящих людей:
Холод, голод, одиночество,
Переменчивость друзей —
Всё мы, бедные, изведали,
Чашу выпили до дна:
Плачут дети — не обедали,—
Убивается жена,
Проклинает поведение,
Гордость глупую мою;
Я брожу как привидение,
Но — свидетель бог — не пью!
Каждый день встаю ранехонько,
Достаю насущный хлеб...
Так мы десять лет ровнехонько
Бились, волею судеб.

Вдруг — известье незабвенное! —
Получаю письмецо,
Что в столице есть отменное,
Благородное лицо;
Муж, которому подобного,
Может быть, не знали вы,
Сердца ангельски незлобного
И умнейшей головы.
Славен не короной графскою,
Не приездом ко двору,
Не звездою станиславскою,
А любовию к добру,—
О народном просвещении
Соревнуя, генерал
В популярном изложении
Восемь то̀мов написал.
Продавал в большом количестве
Их дешевле пятака,
Вразумить об электричестве
В них стараясь мужика.
Словно с равными беседуя,
Он и с нищими учтив,
Нам терпенье проповедуя,
Как Сократ красноречив.

Он мое же поведение
Мне как будто объяснил,
И ко взяткам отвращение
Я тогда благословил;
Перестал стыдиться бедности:
Да! лохмотья нищеты
Не свидетельство зловредности,
А скорее правоты!
Снова благородной гордости
(Человек самолюбив),
Упования и твердости
Я почувствовал прилив.
«Нам господь послал спасителя,—
Говорю тогда жене,—
Нашим крошкам покровителя!»
И бедняжка верит мне.

Горе мы забвенью предали,
Сколотили сто рублей,
Всё как следует разведали
И в столицу поскорей.
Прикатили прямо к сроднику,
Не пустил — я в нумера...
Вся семья моя угоднику
В ночь молилась. Со двора
Вышел я чем свет. Дорогою,
Чтоб участие привлечь,
Я всю жизнь мою убогую
Совместил в такую речь:
«Оттого-де ныне с голоду,
Умираю словно тварь,
Что был глуп и честен смолоду,
Знал, что значит бог и царь.
Не скажу: по справедливости
(Невелик я генерал),
По ребяческой стыдливости
Даже с правого не брал —
И погиб... Я горе мыкаю,
Я работаю за двух,
Но не чаркой — вашей книгою
Подкрепляю слабый дух,
Защитите!..»
                    Не заставили
Ждать минуты ни одной.
Вот в приемную поставили,
Доложили чередой.
Вот идут — остановилися,
Я сробел, чуть жив стою;
Замер дух, виски забилися,
И забыл я речь свою!
Тер и лоб и переносицу,
В потолок косил глаза,
Бормотал лишь околесицу,
А о деле — ни аза!
Изумились, брови сдвинули:
«Что вам нужно?» — говорят.
«Нужно мне...» Тут слезы хлынули
Совершенно невпопад.

Просто вещь непостижимая
Приключилася со мной:
Грусть, печаль неудержимая
Овладела всей душой.
Всё, чем жизнь богата с младости
Даже в нищенском быту —
Той поры счастливой радости,
Попросту сказать: мечту —
Всё, что кануло и сгинуло
В треволненьях жизни сей,
Всё я вспомнил, всё прихлынуло
К сердцу... Жалкий дуралей!
Под влиянием прошедшего,
В грудь ударив кулаком,
Взвыл я вроде сумасшедшего
Пред сиятельным лицом!..

Все такие обстоятельства
И в мундиришке изъян
Привели его сиятельство
К заключенью, что я пьян.
Экзекутора, холопа ли
Попрекнули, что пустил,
И ногами так затопали...
Я лишился чувств и сил!
Жаль, одним не осчастливили —
Сами не дали пинка...
Пьяницу с почетом вывели
Два огромных гайдука.
Словно кипятком ошпаренный,
Я бежал, не слыша ног,
Мимо лавки пивоваренной,
Мимо погребальных дрог,
Мимо магазина швейного,
Мимо бань, церквей и школ,
Вплоть до здания питейного —
И уж дальше не пошел!

Дальше нечего рассказывать!
Минет сорок лет зимой,

Как я щеку стал подвязывать,
Отморозивши хмельной.
Чувства словно как заржавели,
Одолела страсть к вину;
Дети пьяницу оставили,
Схоронил давно жену.
При отшествии к родителям,
Хоть кротка была весь век,
Попрекнула покровителем.
Точно: странный человек!
Верст на тысячу в окружности:
Повестят свой добрый нрав,
А осудят по наружности:
Неказист — так и неправ!
Пишут, как бы свет весь заново
К общей пользе изменить,
А голодного от пьяного
Не умеют отличить...

Ноябрь 1853

В ДЕРЕВНЕ

1

Право, не клуб ли вороньего рода
Около нашего нынче прихода?
Вот и сегодня... ну, просто беда!
Глупое карканье, дикие стоны...
Кажется, с целого света вороны
По вечерам прилетают сюда.
Вот и еще, и еще эскадроны...
Рядышком сели на купол, на крест,
На колокольне, на ближней избушке,—
Вон у плетня покачнувшийся шест:
Две уместились на самой верхушке,
Крыльями машут... Всё то же опять,
Что и вчера... посидят, и в дорогу!
Полно лениться! ворон наблюдать!
Черные тучи ушли, слава богу,
Ветер смирился: пройдусь до полей.

С самого утра унылый, дождливый,
Выдался нынче денек несчастливый:
Даром в болоте промок до костей,
Вздумал работать, да труд не дается,
Глядь, уж и вечер — вороны летят...
Две старушонки сошлись у колодца,
Дай-ка послушаю, что говорят...

2

«Здравствуй, родная».— «Как можется, кумушка?
Всё еще плачешь, никак?
Ходит, знать, по̀ сердцу горькая думушка,
Словно хозяин-большак?»
— «Как же не плакать? Пропала я, грешная!
Душенька ноет, болит...
Умер, Касьяновна, умер, сердешная,
Умер и в землю зарыт!

Ведь наскочил же на экую гадину!
Сын ли мой не был удал?
Сорок медведей поддел на рогатину —
На сорок первом сплошал!
Росту большого, рука что железная,
Плечи — косая сажень;
Умер, Касьяновна, умер, болезная,—
Вот уж тринадцатый день!

Шкуру с медведя-то содрали, продали;
Деньги — семнадцать рублей —
За душу бедного Савушки подали,
Царство небесное ей!
Добрая барыня Марья Романовна
На панихиду дала...
Умер, голубушка, умер, Касьяновна,—
Чуть я домой добрела.

Ветер шатает избенку убогую,
Весь развалился овин...
Словно шальная пошла я дорогою:
Не попадется ли сын?

Взял бы топорик — беда поправимая,—
Мать бы утешил свою...
Умер, Касьяновна, умер, родимая,—
Надо ль? топор продаю.

Кто приголубит старуху безродную?
Вся обнищала вконец!
В осень ненастную, в зиму холодную
Кто запасет мне дровец?
Кто, как доносится теплая шубушка,
Зайчиков новых набьет?
Умер, Касьяновна, умер, голубушка,—
Даром ружье пропадет!

Веришь, родная: с тоской да с заботами
Так опостылел мне свет!
Лягу в каморку, покроюсь тенетами,
Словно как саваном... Нет!
Смерть не приходит... Брожу нелюдимая,
Попусту жалоблю всех...
Умер, Касьяновна, умер, родимая,—
Эх! кабы только не грех...

Ну, да и так... дай бог зиму промаяться,—
Свежей травы мне не мять!
Скоро избенка совсем расшатается,
Некому поле вспахать.
В город сбирается Марья Романовна,
По миру сил нет ходить...
Умер, голубушка, умер, Касьяновна,
И не велел долго жить!»

3

Плачет старуха. А мне что за дело?
Что и жалеть, коли нечем помочь?..
Слабо мое изнуренное тело,
Время ко сну. Недолга моя ночь:
Завтра раненько пойду на охоту,
До свету надо покрепче уснуть...
Вот и вороны готовы к отлету,
Кончился раут... Ну, трогайся в путь!

Вот поднялись и закаркали разом.
— Слушай, равняйся! — Вся стая летит:
Кажется, будто меж небом и глазом
Черная сетка висит.

Весна 1854

ПРИЗНАНИЯ ТРУЖЕНИКА

По моей громадной толщине
Люди ложно судят обо мне.
Помню, раз четыре господина
Говорили: «Вот идет скотина!
Видно, нет заботы никакой —
С каждым годом прет его горой!»
Я совсем не так благополучен,
Как румян и шаровидно тучен;
Дочитав рассказ мой до конца,
Содрогнутся многие сердца!
Для поддержки бренной плоти нужен
Мне обед достаточный и ужин,
И чтоб к ним себя приготовлять,
Должен я — гулять, гулять, гулять!
Чуть проснусь, не выпив чашки чаю,
«Одевай!» — командую Минаю
(Адски глуп и копотлив Минай,
Да зато повязывать мне шею
Допускать его я не робею:
Предан мне безмерно негодяй...)
Как пройду я первые ступени,
Подогнутся слабые колени;
Стукотня ужасная в висках,
Пот на лбу и слезы на глазах,
Словно кто свистит и дует в ухо,
И, как волны в бурю, ходит брюхо!
Отошедши несколько шагов,
Я совсем разбит и нездоров;
Сел бы в грязь, так жутко и так тяжко,
Да грозит чудовище Кондрашка

И твердит, как Вечному Жиду,
Всё: «Иди, иди, иди!..» Иду...

Кажется, я очень авантажен:
Хорошо одет и напомажен,
Трость в руке и шляпа набекрень...
А терплю насмешки целый день!
Из кареты высунется дама
И в лицо мне засмеется прямо,
Крикнет школьник с хохотом: «Ура!
Посмотрите: катится гора!..»
А дурак лакей, за мной шагая,
Уваженье к барину теряя,
Так и прыснет!.. Праздный балагур
Срисовать в альбом карикатур
Норовит, рекомендуя дамам
Любоваться «сим гиппопотамом»!
Кучера по-своему острят:
«Этому,— мерзавцы говорят,—
Если б в брюхо и попало дышло,
Так насквозь оно бы, чай, не вышло?..»
Так, извне насмешками язвим,
Изнутри изжогою палим,
Я бреду... Пальто, бурнусы, шляпки,
Смех мужчин и дам нарядных тряпки,
Экипажи, вывески,— друзья,
Ничего не замечаю я!..
Наконец... Счастливая минута!..
Скоро пять — неведомо откуда
Силы вдруг возьмутся... Как зефир,
Я лечу домой, или в трактир,
Или в клуб... Теперь я жив и молод,
Я легок: я ощущаю голод!..
Ах, поверьте: счастие не в том,
Чтоб блистать чинами и умом,
Наше счастье бродит меж холмами
В бурой шкуре, с дюжими рогами!..
Впрочем, мне распространяться лень...
Дней моих хранительная сень,
Здравствуй, клуб!.. Почти еще ребенок,
В первый раз, и сухощав и тонок,
По твоим ступеням я всходил:

Ты меня взлелеял и вскормил!
Честь тебе, твоим здоровым блюдам!..
Если кто тебя помянет худом,
Не сердись, не уличай во лжи:
На меня безмолвно укажи!
Уголок спокойный и отрадный!
Сколько раз, в час бури беспощадной,
Думал я, дремля у камелька:
«Жизнь моя приятна и легка.
Кто-нибудь теперь от стужи стонет,
Кто-нибудь в сердитом море тонет,
Кто-нибудь дрожит... а надо мной
Ветерок не пролетит сквозной...
Скольких ты пригрел и успокоил
И в объеме, как меня, утроил!
Для какого множества людей
Заменил семейство и друзей!..»
. . . .

Октябрь 1854, 1874

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,

Только не сжата полоска одна...
Грустную думу наводит она.

Кажется, шепчут колосья друг другу:
«Скучно нам слушать осеннюю вьюгу,

Скучно склоняться до самой земли,
Тучные зерна купая в пыли!

Нас, что ни ночь, разоряют станицы
Всякой пролетной прожорливой птицы,

Заяц нас топчет, и буря нас бьет...
Где же наш пахарь? чего еще ждет?

Или мы хуже других уродились?
Или не дружно цвели-колосились?

Нет! мы не хуже других — и давно
В нас налилось и созрело зерно.

Не для того же пахал он и сеял,
Чтобы нас ветер осенний развеял?..»

Ветер несет им печальный ответ:
«Вашему пахарю моченьки нет.

Знал, для чего и пахал он и сеял,
Да не по силам работу затеял.

Плохо бедняге — не ест и не пьет,
Червь ему сердце больное сосет,

Руки, что вывели борозды эти,
Высохли в щепку, повисли как плети,

Очи потускли, и голос пропал,
Что заунывную песню певал,

Как, на соху налегая рукою,
Пахарь задумчиво шел полосою».

22—25 ноября 1854

ВЛАС

В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас — старик седой.

На груди икона медная:
Просит он на божий храм,—
Весь в веригах, обувь бедная,
На щеке глубокий шрам;

Да с железным наконешником
Палка длинная в руке...
Говорят, великим грешником
Был он прежде. В мужике

Бога не было: побоями
В гроб жену свою вогнал;
Промышляющих разбоями,
Конокрадов укрывал;

У всего соседства бедного
Скупит хлеб, а в черный год
Не поверит гроша медного,
Втрое с нищего сдерет!

Брал с родного, брал с убогого,
Слыл кащеем-мужиком;
Нрава был крутого, строгого...
Наконец и грянул гром!

Власу худо; кличет знахаря —
Да поможешь ли тому,
Кто снимал рубашку с пахаря,
Крал у нищего суму?

Только пуще всё неможется.
Год прошел — а Влас лежит,
И построить церковь божится,
Если смерти избежит.

Говорят, ему видение
Всё мерещилось в бреду:
Видел света преставление,
Видел грешников в аду;

Мучат бесы их проворные,
Жалит ведьма-егоза.
Ефиопы — видом черные
И как углие глаза,

Крокодилы, змии, скорпии
Припекают, режут, жгут...

Воют грешники в прискорбии,
Цепи ржавые грызут.

Гром глушит их вечным грохотом,
Удушает лютый смрад,
И кружит над ними с хохотом
Черный тигр шестокрылат.

Те на длинный шест нанизаны,
Те горячий лижут пол...
Там, на хартиях написаны,
Влас грехи свои прочел...

Влас увидел тьму кромешную
И последний дал обет...
Внял господь — и душу грешную
Воротил на вольный свет.

Роздал Влас свое имение,
Сам остался бос и гол
И сбирать на построение
Храма божьего пошел.

С той поры мужик скитается
Вот уж скоро тридцать лет,
Подаянием питается —
Строго держит свой обет.

Сила вся души великая
В дело божие ушла,
Словно сроду жадность дикая
Непричастна ей была...

Полон скорбью неутешною,
Смуглолиц, высок и прям,
Ходит он стопой неспешною
По селеньям, городам.

Нет ему пути далекого:
Был у матушки Москвы,
И у Каспия широкого,
И у царственной Невы.

Ходит с образом и с книгою,
Сам с собой всё говорит
И железною веригою
Тихо на ходу звенит.

Ходит в зимушку студеную,
Ходит в летние жары,
Вызывая Русь крещеную
На посильные дары,—

И дают, дают прохожие...
Так из лепты трудовой
Вырастают храмы божии
По лицу земли родной...

<1855>

*

Чуть-чуть не говоря: «Ты сущая ничтожность!»,
Стихов моих печатный судия
Советует большую осторожность
В употребленьи буквы «я».
Винюсь: ты прав, усердный мой ценитель
И общих мест присяжный расточитель,—
Против твоей я публики грешу,
Но только я не для нее пишу.
Увы! писать для публики, для света —
Удел не русского поэта...
Друзья мои по тяжкому труду,
По Музе гордой и несчастной,
Кипящей злобою безгласной!
Мою тоску, мою беду
Пою для вас... Не правда ли, отрадно
Несчастному несчастие в другом?
Кто болен сам, тот весело и жадно
Внимает вести о больном...

<1855>

МАША

Белый день занялся́ над столицей,
Сладко спит молодая жена,
Только труженик муж бледнолицый
Не ложится — ему не до сна!

Завтра Маше подруга покажет
Дорогой и красивый наряд...
Ничего ему Маша не скажет,
Только взглянет... убийственный взгляд!

В ней одной его жизни отрада,
Так пускай в нем не видит врага:
Два таких он ей купит наряда.
А столичная жизнь дорога!

Есть, конечно, прекрасное средство:
Под рукою казенный сундук;
Но испорчен он был с малолетства
Изученьем опасных наук.

Человек он был новой породы:
Исключительно честь понимал
И безгрешные даже доходы
Называл воровством, либерал!

Лучше жить бы хотел он попроще,
Не франтить, не тянуться бы в свет,—
Да обидно покажется теще,
Да осудит богатый сосед!

Всё бы вздор... только с Машей не сладишь,
Не втолкуешь — глупа, молода!
Скажет: «Так за любовь мою платишь!»
Нет! упреки тошнее труда!

И кипит-поспевает работа,
И болит-надрывается грудь...
Наконец наступила суббота:
Вот и праздник — пора отдохнуть!

Он лелеет красавицу Машу,
Выпив полную чашу труда,
Наслаждения полную чашу
Жадно пьет... и он счастлив тогда!

Если дни его полны печали,
То минуты порой хороши,
Но и самая радость едва ли
Не вредна для усталой души.

Скоро в гроб его Маша уложит,
Проклянет свой сиротский удел
И, бедняжка! ума не приложит:
Отчего он так скоро сгорел?

Начало 1855

СВАДЬБА

В сумерки в церковь вхожу. Малолюдно,
Светят лампады печально и скудно,
Темны просторного храма углы;
Длинные окна, то полные мглы,
То озаренные беглым мерцаньем,
Тихо колеблются с робким бряцаньем.
В куполе темень такая висит,
Что поглядеть туда — дрожь пробежит!
С каменных плит и со стен полутемных
Сыростью веет: на петлях огромных
Словно заплакана тяжкая дверь...

Нет богомольцев, не служба теперь —
Свадьба. Венчаются люди простые.
Вот у налоя стоят молодые:
Парень-ремесленник фертом глядит,
Красен с лица и с затылка подбрит —
Видно: разгульного сорта детина!
Рядом невеста: такая кручина
В бледном лице, что глядеть тяжело...
Бедная женщина! Что вас свело?

Вижу я, стан твой немного полнее,
Чем бы... Я понял! Стыдливо краснея
И нагибаясь, свой длинный платок
Ты на него потянула... Увлек,
Видно, гуляка подарком да лаской,
Песней, гитарой да честною маской?
Ты ему сердце свое отдала...
Сколько ночей ты потом не спала!
Сколько ты плакала!.. Он не оставил,
Волей ли, нет ли, он дело поправил —
Бог не без милости — ты спасена...
Что же ты так безнадежно грустна?

Ждет тебя много попреков жестоких,
Дней трудовых, вечеров одиноких:
Будешь ребенка больного качать,
Буйного мужа домой поджидать,
Плакать, работать — да думать уныло,
Что̀ тебе жизнь молодая сулила,
Чем подарила, что̀ даст впереди...
Бедная! лучше вперед не гляди!

29 марта, 23 апреля 1855

*

Давно — отвергнутый тобою,
Я шел по этим берегам
И, полон думой роковою,
Мгновенно кинулся к волнам.
Они приветливо яснели.
На край обрыва я ступил —
Вдруг волны грозно потемнели,
И страх меня остановил!
Поздней — любви и счастья полны,
Ходили часто мы сюда,
И ты благословляла волны,
Меня отвергшие тогда.
Теперь — один, забыт тобою,
Чрез много роковых годов,
Брожу с убитою душою
Опять у этих берегов.

И та же мысль приходит снова —
И на обрыве я стою,
Но волны не грозят сурово,
А манят в глубину свою...

24—25 апреля 1855

ПАМЯТИ <АСЕНКОВ>ОЙ

В тоске по юности моей
    И в муках разрушенья
Прошедших невозвратных дней
    Припомнив впечатленья,

Одно из них я полюбил
    Будить в душе суровой,
Одну из множества могил
    Оплакал скорбью новой...

Я помню: занавесь взвилась,
    Толпа угомонилась —
И ты на сцену в первый раз,
    Как светлый день, явилась.

Театр гремел: и дилетант,
    И скептик хладнокровный
Твое искусство, твой талант
    Почтили данью ровной.

И точно, мало я видал
    Красивее головок;
Твой голос ласково звучал,
    Твой каждый шаг был ловок;

Дышали милые черты
    Счастливым детским смехом...
Но лучше б воротилась ты
    Со сцены с неуспехом!

Увы, наивна ты была,
    Вступая за кулисы,—
Ты благородно поняла
    Призвание актрисы:

Исканья старых богачей
И молодых нахалов,
Куплеты бледных рифмачей
И вздохи театралов —

Ты всё отвергла... Заперлась
Ты феей недоступной —
И вся искусству предалась
Душою неподкупной.

И что ж? обижены тобой,
Лишенные надежды,
Отмстить решились клеветой
Бездушные невежды!

Переходя из уст в уста,
Коварна и бесчестна,
Крылатым змеем клевета
Носилась повсеместно —

И всё заговорило вдруг...
Посыпались упреки,
Стихи и письма, и подруг
Нетонкие намеки...

Душа твоя была нежна,
Прекрасна, как и тело,
Клевет не вынесла она,
Врагов не одолела!

Их говор лишь тогда затих,
Как смерть тебя сразила...
Ты до последних дней своих
Со сцены не сходила.

В сознаньи светлой красоты
И творческого чувства
Восторг толпы любила ты,
Любила ты искусство,

Любила славу... Твой закат
    Был странен и прекрасен:
Горел огнем глубокий взгляд,
    Пронзителен и ясен;

Пылали щеки; голос стал
    Богаче страстью нежной...
Увы! театр рукоплескал
    С тоскою безнадежной!

Сама ты знала свой удел,
    Но до конца, как прежде,
Твой голос, погасая, пел
    О счастье и надежде.

Не так ли звездочка в ночи,
    Срываясь, упадает
И на лету свои лучи
    Последние роняет?..

Ноябрь 1854, апрель 1855

*

Я сегодня так грустно настроен,
Так устал от мучительных дум,
Так глубоко, глубоко спокоен
Мой истерзанный пыткою ум,—

Что недуг, мое сердце гнетущий,
Как-то горько меня веселит —
Встречу смерти, грозящей, идущей,
Сам пошел бы... Но сон освежит —

Завтра встану и выбегу жадно
Встречу первому солнца лучу:
Вся душа встрепенется отрадно,
И мучительно жить захочу!

А недуг, сокрушающий силы,
Будет так же и завтра томить
И о близости темной могилы
Так же внятно душе говорить...

Апрель 1855

ПОСЛЕДНИЕ ЭЛЕГИИ

1

Душа мрачна, мечты мои унылы,
Грядущее рисуется темно.
Привычки, прежде милые, постыли,
И горек дым сигары. Решено!
Не ты горька, любимая подруга
Ночных трудов и одиноких дум,—
Мой жребий горек. Жадного недуга
Я не избег. Еще мой светел ум,
Еще в надежде глупой и послушной
Не ищет он отрады малодушной.
Я вижу всё... А рано смерть идет,
И жизни жаль мучительно. Я молод,
Теперь поменьше мелочных забот
И реже в дверь мою стучится голод:
Теперь бы мог я сделать что-нибудь.
Но поздно!.. Я, как путник безрассудный,
Пустившийся в далекий, долгий путь,
Не соразмерив сил с дорогой трудной:
Кругом всё чуждо, негде отдохнуть,
Стоит он, бледный, средь большой дороги.
Никто его не призрел, не подвез:
Промчалась тройка, проскрипел обоз —
Всё мимо, мимо!.. Подкосились ноги,
И он упал... Тогда к нему толпой
Сойдутся люди — смущены, унылы,
Почтят его ненужною слезой
И подвезут охотно — до могилы...

Январь или февраль 1853

2

Я рано встал, недолги были сборы,
Я вышел в путь, чуть занялась заря;
Переходил я пропасти и горы,
Переплывал я реки и моря;
Боролся я, один и безоружен,
С толпой врагов; не унывал в беде
И не роптал. Но стал мне отдых нужен —
И не нашел приюта я нигде!
Не раз, упав лицом в сырую землю,
С отчаяньем, голодный, я твердил:
«По силам ли, о боже! труд подъемлю?» —
И снова шел, собрав остаток сил.
Всё ближе и знакомее дорога,
И пройдено всё трудное в пути!
Главы церквей сияют впереди —
Недалеко до отчего порога!
Насмешливо сгибаясь и кряхтя
Под тяжестью сумы своей дырявой,
Алчбы и жажды бледное дитя,
Голодный труд, попутчик мой лукавый,
Уж прочь идет: теперь нам розный путь.
Вперед, вперед! Но изменили силы —
Очнулся я на рубеже могилы...

И некому и нечем помянуть!
Настанет утро — солнышко осветит
Бездушный труп; всё будет решено!
И в целом мире сердце лишь одно —
И то едва ли — смерть мою заметит...

Между 1853 и 1855

3

Пышна в разливе гордая река,
Плывут суда, колеблясь величаво,
Просмолены их черные бока,
Над ними флаг, на флаге надпись: слава!
Толпы народа берегом бегут,
К ним приковав досужее вниманье,

И, шляпами размахивая, шлют
Пловцы родному берегу прощанье,—
И вмиг оно подхвачено толпой,
И дружно берег весь ему ответит.
Но тут же, опрокинутый волной,
Погибни челн — и кто его заметит?
А если и раздастся дикий стон
На берегу — внезапный, одинокой,
За криками не будет слышен он
И не дойдет на дно реки глубокой...
Подруга темной участи моей!
Оставь скорее берег, озаренный
Горячим блеском солнечных лучей
И пестрою толпою оживленный,—
Чем солнце ярче, люди веселей,
Тем сердцу сокрушенному больней!

Между 21 мая и 7 июня 1855

*

Праздник жизни — молодости годы —
Я убил под тяжестью труда
И поэтом, баловнем свободы,
Другом лени — не был никогда.

Если долго сдержанные муки,
Накипев, под сердце подойдут,
Я пишу: рифмованные звуки
Нарушают мой обычный труд.

Всё ж они не хуже плоской прозы
И волнуют мягкие сердца,
Как внезапно хлынувшие слезы
С огорченного лица.

Но не льщусь, чтоб в памяти народной
Уцелело что-нибудь из них...
Нет в тебе поэзии свободной,
Мой суровый, неуклюжий стих!

Нет в тебе творящего искусства...
Но кипит в тебе живая кровь,

Торжествует мстительное чувство,
Догорая, теплится любовь,—

Та любовь, что добрых прославляет,
Что клеймит злодея и глупца
И венком терновым наделяет
    Беззащитного певца...

Весна 1855

*

Безвестен я. Я вами не стяжал
Ни почестей, ни денег, ни похвал,
Стихи мои — плод жизни несчастливой,
У отдыха похищенных часов,
Сокрытых слез и думы боязливой;
Но вами я не восхвалял глупцов,
Но с подлостью не заключал союза,
Нет! свой венец терновый приняла,
Не дрогнув, обесславленная Муза
И под кнутом без звука умерла.

Весна 1855

ИЗВОЗЧИК

1

Парень был Ванюха ражий,
    Рослый человек,—
Не поддайся силе вражей,
    Жил бы долгий век.
Полусонный по природе,
    Знай зевал в кулак
И прозвание в народе
    Получил: вахлак!
Правда, с ним случилось диво,
    Как в Грязной стоял:
Ел он мало и лениво,
    По ночам не спал...

Всё глядит, бывало, в оба
    В супротивный дом:
Там жила его зазноба —
    Кралечка лицом!
Под ворота словно птичка
    Вылетит с гнезда,
Белоручка, белоличка...
    Жаль одно: горда!
Прокатив ее, учтиво
    Он ей раз сказал:
«Вишь, ты больно тороплива»,—
    И за ручку взял...
Рассердилась: «Не позволю!
    Полно — не замай!
Прежде выкупись на волю,
    Да потом хватай!»
Поглядел за нею Ваня,
    Головой тряхнул:
«Не про нас ты,— молвил,— Таня»,—
    И рукой махнул...
Скоро лето наступило,
    С барыней своей
Таня в Тулу укатила.
    Ванька стал умней:
Он по прежнему порядку
    Полюбил чаёк,
Наблюдал свою лошадку,
    Добывал оброк,
Пил умеренно горелку,
    Знал копейке вес,
Да какую же проделку
    Сочинил с ним бес!..

2

Раз купец ему попался
    Из родимых мест;
Ванька с ним с утра катался
    До вечерних звезд.
А потом наелся плотно,
    Обрядил коня

И улегся беззаботно
До другого дня...
Спит и слышит стук в ворота.
Чу! шумят, встают...
Не пожар ли? вот забота!
Чу! к нему идут.
Он вскочил, как заяц сгонный,
Видит: с фонарем
Перед ним хозяин сонный
С седоком-купцом.
«Санки где твои, детина?
Покажи ступай!» —
Говорит ему купчина —
И ведет в сарай...
Помутился ум у Вани,
Он как лист дрожал...
Поглядел купчина в сани
И, крестясь, сказал:
«Слава богу! слава богу!
Цел мешок-то мой!
Не взыщите за тревогу —
Капитал большой.
Понимаете, с походом
Будет тысяч пять...»
И купец перед народом
Деньги стал считать...
И пока рубли звенели,
Поднялся весь дом —
Ваньки сонные глядели,
Оступя кругом.
«Цело всё!» — сказал купчина,
Парня подозвал:
«Вот на чай тебе полтина!
Благо ты не знал:
Серебро-то не бумажки,
Нет приметы, брат;
— Мне ходить бы без рубашки,
Ты бы стал богат —
Да господь-то справедливый
Попугал шутя...»
И ушел купец счастливый,
Под мешком кряхтя...

Над разиней поглумились
И опять легли,
А как утром пробудились
И в сарай пришли,
Глядь — и обмерли с испугу...
Ни гугу — молчат;
Показали вверх друг другу
И пошли назад...
Прибежал хозяин бледный,
Вся сошлась семья:
«Что такое?..» Ванька бедный —
Бог ему судья!—
Совладать с лукавым бесом,
Видно, не сумел:
Над санями под навесом
На вожжах висел!
А ведь был детина ражий,
Рослый человек,—
Не поддайся силе вражей,
Жил бы долгий век...

Весна 1855

*

Тяжелый крест достался ей на долю:
Страдай, молчи, притворствуй и не плачь;
Кому и страсть, и молодость, и волю —
Всё отдала,— тот стал ее палач!

Давно ни с кем она не знает встречи;
Угнетена, пуглива и грустна,
Безумные, язвительные речи
Безропотно выслушивать должна:

«Не говори, что молодость сгубила
Ты, ревностью истерзана моей;
Не говори!.. близка моя могила,
А ты цветка весеннего свежей!

Тот день, когда меня ты полюбила
И от меня услышала: люблю —

Не проклинай! близка моя могила:
Поправлю всё, всё смертью искуплю!

Не говори, что дни твои унылы,
Тюремщиком больного не зови:
Передо мной — холодный мрак могилы,
Перед тобой — объятия любви!

Я знаю: ты другого полюбила,
Щадить и ждать наскучило тебе...
О, погоди! близка моя могила —
Начатое и кончить дай судьбе!..»

Ужасные, убийственные звуки!..
Как статуя прекрасна и бледна,
Она молчит, свои ломая руки...
И что сказать могла б ему она?..

Весна 1855

СЕКРЕТ

Опыт современной баллады

1

В счастливой Москве, на Неглинной,
Со львами, с решеткой кругом,
Стоит одиноко старинный,
Гербами украшенный дом.

Он с роскошью барской построен,
Как будто векам напоказ;
А ныне в нем несколько боен
И с юфтью просторный лабаз.

Картофель да кочни капусты
Растут перед ним на грядах;
В нем лучшие комнаты пусты,
И мебель и бронза — в чехлах.

Не ведает мудрый владелец
Тщеславья и роскоши нег;

Он в собственном доме пришелец,
Занявший в конуре ночлег.

В его деревянной пристройке
Свеча одиноко горит;
Скупец умирает на койке
И детям своим говорит:

2

«Огни зажигались вечерние,
Выл ветер и дождик мочил,
Когда из Полтавской губернии
Я в город столичный входил.

В руках была палка предлинная,
Котомка пустая на ней,
На плéчах шубенка овчинная,
В кармане пятнадцать грошей.

Ни денег, ни званья, ни племени,
Мал ростом и с виду смешон.
Да сорок лет минуло времени —
В кармане моем миллион!

И сам я теперь благоденствую,
И счастье вокруг себя лью:
Я нравы людей совершенствую,
Полезный пример подаю.

Я сделался важной персоною,
Пожертвовав тысячу в год:
Имею и Анну с короною,
И звание *друга сирот*.

Но дни наступили унылые,
Смерть близко — спасения нет!
И время вам, детушки милые,
Узнать мой великий секрет.

Квартиру я нанял у дворника,
Дрова к постояльцам таскал;

Подбился я к дочери шорника
И с нею отца обокрал;

Потом и ее, бестолковую,
За нужное счел обокрасть
И в практику бросился новую —
Запрегся в питейную часть.

Потом...»

3

Вдруг лицо потемнело,
Раздался мучительный крик —
Лежит, словно мертвое тело,
И больше ни слова старик!

Но, видно, секрет был угадан,
Сынки угодили в отца:
Старик еще дышит на ладан
И ждет боязливо конца,

А дети гуляют с ключами.
Вот старший в шкатулку проник!
Старик осадил бы словами —
Нет слов: непокорен язык!

В меньшом родилось подозренье,
И ссора кипит о ключах —
Не слух бы тут нужен, не зренье,
А сила в руках и ногах:

Воспрянул бы, словно из гроба,
И словом и делом могуч —
Смирились бы дерзкие оба
И отдали б старому ключ.

Но брат поднимает на брата
Преступную руку свою...
И вот тебе, коршун, награда
За жизнь воровскую твою!

<1851>, весна 1855

НА РОДИНЕ

Роскошны вы, хлеба заповедные
Родимых нив,—
Цветут, растут колосья наливные,
А я чуть жив!
Ах, странно так я создан небесами,
Таков мой рок,
Что хлеб полей, возделанных рабами,
Нейдет мне впрок!

Лето 1855

В БОЛЬНИЦЕ

Вот и больница. Светя, показал
В угол нам сонный смотритель.
Трудно и медленно там угасал
Честный бедняк сочинитель.
Мы попрекнули невольно его,
Что, зануждавшись в столице,
Не известил он друзей никого,
А приютился в больнице...

«Что за беда,— он шутя отвечал: —
Мне и в больнице покойно.
Я всё соседей моих наблюдал:
Многое, право, достойно
Гоголя кисти. Вот этот субъект,
Что меж кроватями бродит,—
Есть у него превосходный проект,
Только — беда! — не находит
Денег... а то бы давно превращал
Он в бриллианты крапиву.
Он покровительство мне обещал
И миллион на разживу!

Вот старикашка актер: на людей
И на судьбу негодует;
Перевирая, из старых ролей
Всюду двустишия сует;

Он добродушен, задорен и мил,
Жалко — уснул (или умер?),
А то бы, верно, он вас посмешил...
Смолк и семнадцатый нумер!
А как он бредил деревней своей,
Как, о семействе тоскуя,
Ласки последней просил у детей,
А у жены поцелуя!

Не просыпайся же, бедный больной!
Так в забытьи и умри ты...
Очи твои не любимой рукой —
Сторожем будут закрыты!
Завтра дежурные нас обойдут,
Саваном мертвых накроют,
Счетом в мертвецкий покой отнесут,
Счетом в могилу зароют.
И уж тогда не являйся жена,
Чуткая сердцем, в больницу —
Бедного мужа не сыщет она,
Хоть раскопай всю столицу!

Случай недавно ужасный тут был:
Пастор какой-то немецкий
К сыну приехал — и долго ходил...
«Вы поищите в мертвецкой»,—
Сторож ему равнодушно сказал;
Бедный старик пошатнулся,
В страшном испуге туда побежал,
Да, говорят, и рехнулся!
Слезы ручьями текут по лицу,
Он между трупами бродит:
Молча заглянет в лицо мертвецу,
Молча к другому подходит...

Впрочем, не вечно чужою рукой
Здесь закрываются очи.
Помню: с прошибленной в кровь головой
К нам привели среди ночи
Старого вора — в остроге его
Буйный товарищ изранил.

Он не хотел исполнять ничего,
Только грозил и буянил.
Наша сиделка к нему подошла;
Вздрогнула вдруг — и ни слова...
В странном молчаньи минута прошла:
Смотрят один на другого!
Кончилось тем, что угрюмый злодей,
Пьяный, обрызганный кровью,
Вдруг зарыдал — перед первой своей,
Светлой и честной любовью.
(Смолоду знали друг друга они...)
Круто старик изменился:
Плачет да молится целые дни,
Перед врачами смирился.
Не было средства, однако, помочь...
Час его смерти был странен
(Помню я эту печальную ночь):
Он уже был бездыханен,
А всепрощающий голос любви,
Полный мольбы бесконечной,
Тихо над ним раздавался: «Живи,
Милый, желанный, сердечный!»
Всё, что имела она, продала —
С честью его схоронила.
Бедная! как она мало жила!
Как она много любила!
А что любовь ей дала, кроме бед,
Кроме печали и муки?
Смолоду — стыд, а на старости лет —
Ужас последней разлуки!..

Есть и писатели здесь, господа.
Вот, посмотрите: украдкой
Бледен и робок, подходит сюда
Юноша с толстой тетрадкой.
С юга пешком привела его страсть
В дальнюю нашу столицу —
Думал бедняга в храм славы попасть —
Рад, что попал и в больницу!
Всем он читал свой ребяческий бред —
Было тут смеху и шуму!

Я лишь один не смеялся... о, нет!
Думал я горькую думу.
Братья-писатели! в нашей судьбе
Что-то лежит роковое:
Если бы все мы, не веря себе,
Выбрали дело другое —
Не было б, точно, согласен и я,
Жалких писак и педантов —
Только бы не было также, друзья,
Скоттов, Шекспиров и Дантов!
Чтоб одного возвеличить, борьба
Тысячи слабых уносит —
Даром ничто не дается: судьба
Жертв искупительных просит».

Тут наш приятель глубоко вздохнул,
Начал метаться тревожно;
Мы посидели, пока он уснул,—
И разошлись осторожно...

Первая половина 1855

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

В одном из переулков дальных
Среди друзей своих печальных
Поэт в подвале умирал
И перед смертью им сказал:

«Как я, назад тому семь лет
Другой бедняк покинул свет,
Таким же сокрушен недугом.
Я был его ближайшим другом
И братом по судьбе. Мы шли
Одной тернистою дорогой
И пересилить не могли
Судьбы, равно к обоим строгой.
Он честно истине служил,
Он духом был смелей и чище,
Зато и раньше проложил
Себе дорогу на кладбище...
А ныне очередь моя...
Его я пережил не много;

Я сделал мало, волей бога
Погибла даром жизнь моя.
Мои страданья были люты,
Но многих был я сам виной;
Теперь, в последние минуты,
Хочу я долг исполнить мой,
Хочу сказать о бедном друге
Всё, что я видел, что я знал
И что в мучительном недуге
Он честным людям завещал...

Родился он почти плебеем
(Что мы бесславьем разумеем,
Что он иначе понимал).
Его отец был лекарь жалкой,
Он только пить любил, да палкой
К ученью сына поощрял.
Процесс развития — в России
Не чуждый многим — проходя,
Книжонки дельные, пустые
Читало с жадностью дитя,
Притом, как водится, украдкой...
Тоска мечтательности сладкой
Им овладела с малых лет...
Какой прозаик иль поэт
Помог душе его развиться,
К добру и славе прилепиться —
Не знаю я. Но в нем кипел
Родник богатых сил природных —
Источник мыслей благородных
И честных, бескорыстных дел!..

С кончиной лекаря, на свете
Остался он убог и мал;
Попал в Москву, учиться стал
В московском университете;
Но выгнан был, не доказав
Каких-то о рожденьи прав,
Не удостоенный патентом,—
И оставался целый век
Недоучившимся студентом.
(Один ученый человек

Колол его неоднократно
Таким прозванием печатно,
Но, впрочем, бог ему судья!..)
Бедняк, терпя нужду и горе,
В подвале жил,— и начал вскоре
Писать в журналах. Помню я:
Писал он много... Мыслью новой,
Стремленьем к истине суровой
Горячий труд его дышал,—
Его заметили... В ту пору
Пришла охота прожектеру,
Который барышей желал,
Обширный основать журнал...
Вникая в дело неглубоко,
Искал он одного, чтоб тот,
Кто место главное займет,
Писал разборчиво — и срока
В доставке своего труда
Не нарушал бы никогда.
Белинский как-то с ним списался
И жить на Север перебрался...

Тогда всё глухо и мертво
В литературе нашей было:
Скончался Пушкин; без него
Любовь к ней в публике остыла...
В бореньи пошлых мелочей
Она погрязнув поглупела...
До общества, до жизни ей
Как будто не было и дела.
В то время как в родном краю
Открыто зло торжествовало,
Ему лишь «баюшки-баю»
Литература распевала.
Ничья могучая рука
Ее не направляла к цели;
Лишь два задорных поляка
На первом плане в ней шумели.
Уж новый гений подымал
Тогда главу свою меж нами,
Но он один изнемогал,
Тесним бесстыдными врагами;

К нему под знамя приносил
Запас идей, надежд и сил
Кружок еще несмелый, тесный...
Потребность сильная была
В могучем слове правды честной,
В открытом обличеньи зла...

И он пришел, плебей безвестный!..
Не пощадил он ни льстецов,
Ни подлецов, ни идиотов,
Ни в маске жарких патриотов
Благонамеренных воров!
Он все предания проверил,
Без ложного стыда измерил
Всю бездну дикости и зла,
Куда, заснув под говор лести,
В забвеньи истины и чести,
Отчизна бедная зашла!
Он расточал ей укоризны
За рабство — вековой недуг,—
И прокричал врагом отчизны
Его — отчизны ложный друг.
Над ним уж тучи собирались,
Враги шумели, ополчались.
Но дикий вопль клеветника
Не помешал ему пока...
В нем силы пуще разгорались,
И между тем как перед ним
Его соратники редели,
Смирялись, пятились, немели,
Он шел один неколебим!..

О! сколько есть душой свободных
Сынов у родины моей,
Великодушных, благородных
И неподкупно верных ей,
Кто в человеке брата видит,
Кто зло клеймит и ненавидит,
Чей светел ум и ясен взгляд,
Кому рассудок не теснят
Преданья ржавые оковы,—

Не все ль они признать готовы
Его учителем своим?..

Судьбой и случаем храним,
Трудился долго он — и много
(Конечно, не без воли бога)
Сказать полезного успел
И может быть бы уцелел...
Но поднялась тогда тревога
В Париже буйном — и у нас
По-своему отозвалась...
Скрутили бедную цензуру —
Послушав наконец клевет,
И разбирать литературу
Созвали целый комитет.
По счастью, в нем сидели люди
Честней, чем был из них один,
Фанатик ярый Бутурлин,
Который, не жалея груди,
Беснуясь, повторял одно:
«Закройте университеты,
И будет зло пресечено!..»
(О муж бессмертный! не воспеты
Еще никем твои слова,
Но твердо помнит их молва!
Пусть червь тебя могильный гложет,
Но сей совет тебе поможет
В потомство перейти верней,
Чем том истории твоей...)

Почти полгода нас судили,
Читали, справки наводили —
И не остался прав никто...
Как быть! спасибо и за то,
Что не был суд бесчеловечен...
Настала грустная пора,
И честный сеятель Добра
Как враг отчизны был отмечен;
За ним следили, и тюрьму
Враги пророчили ему...
Но тут услужливо могила
Ему объятья растворила:

Замучен жизнью трудовой
И постоянной нищетой,
Он умер... Помянуть печатно
Его не смели... Так о нем
Слабеет память с каждым днем
И скоро сгибнет невозвратно!..»

Поэт умолк. А через день
Скончался он. Друзья сложились
И над усопшим согласились
Поставить памятник, но лень
Исполнить помешала вскоре
Благое дело, а потом
Могила заросла кругом:
Не сыщешь... Не велико горе!
Живой печется о живом,
А мертвый спи глубоким сном...

Первая половина 1855

ГАДАЮЩЕЙ НЕВЕСТЕ

У него прекрасные манеры,
Он не глуп, не беден и хорош,
Что гадать? ты влюблена без меры
И судьбы своей ты не уйдешь.

Я могу сказать и без гаданья:
Если сердце есть в его груди —
Ждут тебя, быть может, испытанья,
Но и счастье будет впереди...

Не из тех ли только он бездушных,
Что в столице много встретишь ты,
Одному лишь голосу послушных —
Голосу тщеславной суеты?

Что гордятся ровностью пробора,
Щегольски обутою ногой,
Потеряв сознание позора
Жизни дикой, праздной и пустой?

Если так — плоха порука счастью!
Как бы чудно ты ни расцвела,
Ни умом, ни красотой, ни страстью
Не поправишь рокового зла.

Он твои пленительные взоры,
Нежность сердца, музыку речей —
Всё отдаст за плоские рессоры
И за пару кровных лошадей!

8 сентября 1855

ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ

1

У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: «Нет лесу, и не жди — не будет!»
— «Вот приедет барин — барин нас рассудит:
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу»,— думает старушка.

2

Кто-то по соседству, лихоимец жадный,
У крестьян землицы косячок изрядный
Оттягал, отрезал плутовским манером.
«Вот приедет барин: будет землемерам! —
Думают крестьяне.— Скажет барин слово —
И землицу нашу отдадут нам снова».

3

Полюбил Наташу хлебопашец вольный,
Да перечит девке немец сердобольный,
Главный управитель. «Погодим, Игнаша,
Вот приедет барин!» — говорит Наташа.
Малые, большие — дело чуть за спором —
«Вот приедет барин!» — повторяют хором...

4

Умерла Ненила; на чужой землице
У соседа-плута — урожай сторицей;
Прежние парнишки ходят бородаты;
Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
И сама Наташа свадьбой уж не бредит...
Барина всё нету... барин всё не едет!

5

Наконец однажды середи дороги
Шестернею цугом показались дроги:
На дрогах высоких гроб стоит дубовый,
А в гробу-то барин; а за гробом — новый.
Старого отпели, новый слезы вытер,
Сел в свою карету — и уехал в Питер.

2 октября 1855

*

Замолкни, Муза мести и печали!
Я сон чужой тревожить не хочу,
Довольно мы с тобою проклинали.
Один я умираю — и молчу.

К чему хандрить, оплакивать потери?
Когда б хоть легче было от того!
Мне самому, как скрип тюремной двери,
Противны стоны сердца моего.

Всему конец. Ненастьем и грозою
Мой темный путь недаром омрача,
Не просветлеет небо надо мною,
Не бросит в душу теплого луча...

Волшебный луч любви и возрожденья!
Я звал тебя — во сне и наяву,
В труде, в борьбе, на рубеже паденья
Я звал тебя,— теперь уж не зову!

Той бездны сам я не хотел бы видеть,
Которую ты можешь осветить...
То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.

3 декабря 1855

САША

1

Словно как мать над сыновней могилой,
Стонет кулик над равниной унылой,

Пахарь ли песню вдали запоет —
Долгая песня за сердце берет;

Лес ли начнется — сосна да осина...
Не весела ты, родная картина!

Что же молчит мой озлобленный ум?..
Сладок мне леса знакомого шум,

Любо мне видеть знакомую ниву —
Дам же я волю благому порыву

И на родимую землю мою
Все накипевшие слезы пролью!

Злобою сердце питаться устало —
Много в ней правды, да радости мало;

Спящих в могилах виновных теней
Не разбужу я враждою моей.

Родина-мать! я душою смирился,
Любящим сыном к тебе воротился.

Сколько б на нивах бесплодных твоих
Даром ни сгинуло сил молодых,

Сколько бы ранней тоски и печали
Вечные бури твои ни нагнали

На боязливую душу мою —
Я побежден пред тобою стою!

Силу сломили могучие страсти,
Гордую волю погнули напасти,

И про убитую Музу мою
Я похоронные песни пою.

Перед тобою мне плакать не стыдно,
Ласку твою мне принять не обидно —

Дай мне отраду объятий родных,
Дай мне забвенье страданий моих!

Жизнью измят я... и скоро я сгину...
Мать не враждебна и к блудному сыну:

Только что ей я объятья раскрыл —
Хлынули слезы, прибавилось сил.

Чудо свершилось: убогая нива
Вдруг просветлела, пышна и красива,

Ласковей машет вершинами лес,
Солнце приветливей смотрит с небес.

Весело въехал я в дом тот угрюмый,
Что, осенив сокрушительной думой,

Некогда стих мне суровый внушил...
Как он печален, запущен и хил!

Скучно в нем будет. Нет, лучше поеду,
Благо не поздно, теперь же к соседу

И поселюсь среди мирной семьи.
Славные люди — соседи мои,

Славные люди! Радушье их честно,
Лесть им противна, а спесь неизвестна.

Как-то они доживают свой век?
Он уже дряхлый, седой человек;

Да и старушка не многим моложе.
Весело будет увидеть мне тоже

Сашу, их дочь... Недалеко их дом.
Всё ли застану по-прежнему в нем?

2

Добрые люди, спокойно вы жили,
Милую дочь свою нежно любили.

Дико росла, как цветок полевой,
Смуглая Саша в деревне степной.

Всем окружив ее тихое детство,
Что позволяли убогие средства,

Только развить воспитаньем, увы!
Эту головку не думали вы.

Книги ребенку — напрасная мука,
Ум деревенский пугает наука;

Но сохраняется дольше в глуши
Первоначальная ясность души,

Рдеет румянец и ярче и краше...
Мило и молодо дитятко ваше,—

Бегает живо, горит, как алмаз,
Черный и влажный смеющийся глаз.

Щеки румяны, и полны, и смуглы,
Брови так тонки, а плечи так круглы!

Саша не знает забот и страстей,
А уж шестнадцать исполнилось ей...

Выспится Саша, поднимется рано,
Черные косы завяжет у стана

И убежит, и в просторе полей
Сладко и вольно так дышится ей.

Та ли, другая пред нею дорожка —
Смело ей вверится бойкая ножка;

Да и чего побоится она?..
Всё так спокойно; кругом тишина,

Сосны вершинами машут приветно,—
Кажется, шепчут, струясь незаметно,

Волны под сводом зеленых ветвей:
«Путник усталый! бросайся скорей

В наши объятья: мы добры и рады
Дать тебе, сколько ты хочешь, прохлады».

Полем идешь — всё цветы да цветы,
В небо глядишь — с голубой высоты

Солнце смеется... Ликует природа!
Всюду приволье, покой и свобода;

Только у мельницы злится река:
Нет ей простора... неволя горька!

Бедная! как она вырваться хочет!
Брызжется пеной, бурлит и клокочет,

Но не прорвать ей плотины своей.
«Не суждена, видно, волюшка ей,—

Думает Саша,— безумно роптанье...»
Жизни кругом разлитой ликованье

Саше порукой, что милостив бог...
Саша не знает сомненья тревог.

Вот по распаханной, черной поляне,
Землю взрывая, бредут поселяне —

Саша в них видит довольных судьбой
Мирных хранителей жизни простой:

Знает она, что недаром с любовью
Землю польют они потом и кровью...

Весело видеть семью поселян,
В землю бросающих горсти семян;

Дорого-любо, кормилица-нива!
Видеть, как ты колосишься красиво,

Как ты, янтарным зерном налита,
Гордо стоишь, высока и густа!

Но веселей нет поры обмолота:
Легкая дружно спорится работа;

Вторит ей эхо лесов и полей,
Словно кричит: «Поскорей! поскорей!»

Звук благодатный! Кого он разбудит,
Верно, весь день тому весело будет!

Саша проснется — бежит на гумно.
Солнышка нет — ни светло, ни темно,

Только что шумное стадо прогнали.
Как на подмерзлой грязи натоптали

Лошади, овцы!.. Парным молоком
В воздухе пахнет. Мотая хвостом,

За нагруженной снопами телегой
Чинно идет жеребеночек пегой,

Пар из отворенной риги валит,
Кто-то в огне там у печки сидит.

А на гумне только руки мелькают
Да высоко молотила взлетают,

Не успевает улечься их тень.
Солнце взошло — начинается день...

Саша сбирала цветы полевые,
С детства любимые, сердцу родные,

Каждую травку соседних полей
Знала по имени. Нравилось ей

В пестром смешении звуков знакомых
Птиц различать, узнавать насекомых.

Время к полудню, а Саши всё нет.
«Где же ты, Саша? простынет обед,

Сашенька! Саша!..» С желтеющей нивы
Слышатся песни простой переливы;

Вот раздалося «ау!» вдалеке;
Вот над колосьями в синем венке

Черная быстро мелькнула головка...
«Вишь ты, куда забежала, плутовка!

Э!.. да никак колосистую рожь
Переросла наша дочка!» — «Так что ж?»

— «Что? ничего! понимай, как умеешь!
Что теперь надо, сама разумеешь:

Спелому колосу — серп удалой,
Девице взрослой — жених молодой!»

— «Вот еще выдумал, старый проказник!»
— «Думай не думай, а будет нам праздник!»

Так рассуждая, идут старики
Саше навстречу; в кустах у реки

Смирно присядут, подкрадутся ловко,
С криком внезапным: «Попалась, плутовка!» —

Сашу поймают, и весело им
Свидеться с дитятком бойким своим...

В зимние сумерки нянины сказки
Саша любила. Поутру в салазки

Саша садилась, летела стрелой,
Полная счастья, с горы ледяной.

Няня кричит: «Не убейся, родная!»
Саша, салазки свои погоняя,

Весело мчится. На полном бегу
Набок салазки — и Саша в снегу!

Выбьются косы, растреплется шубка —
Снег отряхает, смеется, голубка!

Не до ворчанья и няне седой:
Любит она ее смех молодой...

Саше случалось знавать и печали:
Плакала Саша, как лес вырубали,

Ей и теперь его жалко до слез.
Сколько тут было кудрявых берез!

Там из-за старой, нахмуренной ели
Красные грозды калины глядели,

Там поднимался дубок молодой.
Птицы царили в вершине лесной,

Понизу всякие звери таились.
Вдруг мужики с топорами явились —

Лес зазвенел, застонал, затрещал.
Заяц послушал — и вон побежал.

В темную нору забилась лисица,
Машет крылом осторожнее птица,

В недоуменьи тащат муравьи
Что ни попало в жилища свои.

С песнями труд человека спорился:
Словно подкошен, осинник валился,

С треском ломали сухой березняк,
Корчили с корнем упорный дубняк,

Старую сосну сперва подрубали,
После арканом ее нагибали

И, поваливши, плясали на ней,
Чтобы к земле прилегла поплотней.

Так, победив после долгого боя,
Враг уже мертвого топчет героя.

Много тут было печальных картин:
Стоном стонали верхушки осин,

Из перерубленной старой березы
Градом лилися прощальные слезы

И пропадали одна за другой
Данью последней на почве родной.

Кончились поздно труды роковые.
Вышли на небо светила ночные,

И над поверженным лесом луна
Остановилась, кругла и ясна,—

Трупы деревьев недвижно лежали:
Сучья ломались, скрипели, трещали,

Жалобно листья шумели кругом.
Так, после битвы, во мраке ночном

Раненый стонет, зовет, проклинает.
Ветер над полем кровавым летает —

Праздно лежащим оружьем звенит,
Волосы мертвых бойцов шевелит!

Тени ходили по пням беловатым,
Жидким осинам, березам косматым;

Низко летали, вились колесом
Совы, шарахаясь оземь крылом;

Звонко кукушка вдали куковала,
Да, как безумная, галка кричала,

Шумно летая над лесом... но ей
Не отыскать неразумных детей!

С дерева комом галчата упали,
Желтые рты широко разевали,

Прыгали, злились. Наскучил их крик —
И придавил их ногою мужик.

Утром работа опять закипела.
Саша туда и ходить не хотела,

Да через месяц — пришла. Перед ней
Взрытые глыбы и тысячи пней;

Только, уныло повиснув ветвями,
Старые сосны стояли местами,

Так на селе остаются одни
Старые люди в рабочие дни.

Верхние ветви так плотно сплелися,
Словно там гнезда жар-птиц завелися,

Что, по словам долговечных людей,
Дважды в полвека выводят детей.

Саше казалось, пришло уже время:
Вылетит скоро волшебное племя,

Чудные птицы посядут на пни,
Чудные песни споют ей они!

Саша стояла и чутко внимала.
В красках вечерних заря догорала —

Через соседний несрубленный лес,
С пышно-румяного края небес

Солнце пронзалось стрелой лучезарной,
Шло через пни полосою янтарной

И наводило на дальний бугор
Света и теней недвижный узор.

Долго в ту ночь, не смыкая ресницы,
Думает Саша: что петь будут птицы?

В комнате словно тесней и душней.
Саше не спится,— но весело ей.

Пестрые грезы сменяются живо,
Щеки румянцем горят не стыдливо,

Утренний сон ее крепок и тих...
Первые зорьки страстей молодых!

Полны вы чары и неги беспечной,
Нет еще муки в тревоге сердечной;

Туча близка, но угрюмая тень
Медлит испортить смеющийся день,

Будто жалея... И день еще ясен...
Он и в грозе будет чудно прекрасен,

Но безотчетно пугает гроза...
Эти ли детски живые глаза,

Эти ли полные жизни ланиты
Грустно поблекнут, слезами покрыты?

Эту ли резвую волю во власть
Гордо возьмет всегубящая страсть?..

Мимо идите, угрюмые тучи!
Горды вы силой! свободой могучи:

С вами ли, грозные, вынести бой
Слабой и робкой былинке степной?..

3

Третьего года, наш край покидая,
Старых соседей моих обнимая,

Помню, пророчил я Саше моей
Доброго мужа, румяных детей,

Долгую жизнь без тоски и страданья...
Да не сбылися мои предсказанья!

В страшной беде стариков я застал.
Вот что про Сашу отец рассказал:

«В нашем соседстве усадьба большая
Лет уже сорок стояла пустая;

В третьем году наконец прикатил
Барин в усадьбу и нас посетил,

Именем: Лев Алексеич Агарин,
Ласков с прислугой, как будто не барин,

Тонок и бледен. В лорнетку глядел,
Мало волос на макушке имел.

Звал он себя перелетною птицей:
«Был,— говорит,— я теперь за границей,

Много видал я больших городов,
Синих морей и подводных мостов —

Всё там приволье, и роскошь, и чудо,
Да высылали доходы мне худо.

На пароходе в Кронштадт я пришел,
И надо мной всё кружился орел,

Словно пророчил великую долю».
Мы со старухой дивилися вволю,

Саша смеялась, смеялся он сам...
Начал он часто похаживать к нам,

Начал гулять, разговаривать с Сашей
Да над природой подтрунивать нашей —

Есть-де на свете такая страна,
Где никогда не проходит весна,

Там и зимою открыты балконы,
Там поспевают на солнце лимоны,

И начинал, в потолок посмотрев,
Грустное что-то читать нараспев.

Право, как песня слова выходили.
Господи! сколько они говорили!

Мало того: он ей книжки читал
И по-французски ее обучал.

Словно брала их чужая кручина,
Всё рассуждали: какая причина,

Вот уж который теперича век
Беден, несчастлив и зол человек?

Но,— говорит,— не слабейте душою:
Солнышко правды взойдет над землею!

И в подтвержденье надежды своей
Старой рябиновкой чокался с ней.

Саша туда же — отстать-то не хочет —
Выпить не выпьет, а губы обмочит;

Грешные люди — пивали и мы.
Стал он прощаться в начале зимы:

«Бил,— говорит,— я довольно баклуши,
Будьте вы счастливы, добрые души.

Благословите на дело... пора!»
Перекрестился — и съехал с двора...

В первое время печалилась Саша,
Видим: скучна ей компания наша.

Годы ей, что ли, такие пришли?
Только узнать мы ее не могли:

Скучны ей песни, гаданья и сказки.
Вот и зима! — да не тешат салазки.

Думает думу, как будто у ней
Больше забот, чем у старых людей.

Книжки читает, украдкою плачет.
Видели: письма всё пишет и прячет.

Книжки выписывать стала сама —
И наконец набралась же ума!

Что ни спроси, растолкует, научит,
С ней говорить никогда не наскучит;

А доброта... Я такой доброты
Век не видал, не увидишь и ты!

Бедные все ей приятели-други:
Кормит, ласкает и лечит недуги.

Так девятнадцать ей минуло лет.
Мы поживаем — и горюшка нет.

Надо же было вернуться соседу!
Слышим: приехал и будет к обеду.

Как его весело Саша ждала!
В комнату свежих цветов принесла;

Книги свои уложила исправно,
Просто оделась, да так-то ли славно;

Вышла навстречу — и ахнул сосед!
Словно оробел. Мудреного нет:

В два-то последние года на диво
Сашенька стала пышна и красива,

Прежний румянец в лице заиграл.
Он же бледней и плешивее стал...

Всё, что ни делала, что ни читала,
Саша тотчас же ему рассказала;

Только не впрок угожденье пошло!
Он ей перечил, как будто назло:

«Оба тогда мы болтали пустое!
Умные люди решили другое,

Род человеческий низок и зол».
Да и пошел! и пошел! и пошел!..

Что говорил — мы понять не умеем,
Только покоя с тех пор не имеем:

Вот уж сегодня семнадцатый день
Саша тоскует и бродит как тень!

Книжки свои то читает, то бросит,
Гость навестит, так молчать его просит.

Был он три раза; однажды застал
Сашу за делом: мужик диктовал

Ей письмецо, да какая-то баба
Травки просила — была у ней жаба.

Он поглядел и сказал нам шутя:
«Тешится новой игрушкой дитя!»

Саша ушла — не ответила слова...
Он было к ней; говорит: «Нездорова».

Книжек прислал — не хотела читать
И приказала назад отослать.

Плачет, печалится, молится богу...
Он говорит: «Я собрался в дорогу» —

Сашенька вышла, простилась при нас,
Да и опять наверху заперлась.

Что ж?.. он письмо ей прислал. Между нами:
Грешные люди, с испугу мы сами

Прежде его прочитали тайком:
Руку свою предлагает ей в нем.

Саша сначала отказ отослала,
Да уж потом нам письмо показала.

Мы уговаривать: чем не жених?
Молод, богат, да и нравом-то тих.

«Нет, не пойду». А сама неспокойна;
То говорит: «Я его недостойна» —

То: «Он меня недостоин: он стал
Зол и печален и духом упал!»

А как уехал, так пуще тоскует,
Письма его потихоньку целует!..

Что тут такое? Родной, объясни!
Хочешь, на бедную Сашу взгляни.

Долго ли будет она убиваться?
Или уж ей не певать, не смеяться,

И погубил он бедняжку навек?
Ты нам скажи: он простой человек

Или какой чернокнижник-губитель?
Или не сам ли он бес-искуситель?..»

4

Полноте, добрые люди, тужить!
Будете скоро по-прежнему жить:

Саша поправится — бог ей поможет.
Околдовать никого он не может:

Он... не могу приложить головы,
Как объяснить, чтобы поняли вы...

Странное племя, мудреное племя
В нашем отечестве создало время!

Это не бес, искуситель людской,
Это, увы! — современный герой!

Книги читает да по свету рыщет —
Дела себе исполинского ищет,

Благо наследье богатых отцов
Освободило от малых трудов,

Благо идти по дороге избитой
Лень помешала да разум развитый.

«Нет, я души не растрачу моей
На муравьиной работе людей:

Или под бременем собственной силы
Сделаюсь жертвою ранней могилы,

Или по свету звездой пролечу!
Мир,— говорит,— осчастливить хочу!»

Что ж под руками, того он не любит,
То мимоходом без умыслу губит.

В наши великие, трудные дни
Книги не шутка: укажут они

Всё недостойное, дикое, злое,
Но не дадут они сил на благое,

Но не научат любить глубоко...
Дело веков поправлять не легко!

В ком не воспитано чувство свободы,
Тот не займет его; нужны не годы —

Нужны столетья, и кровь, и борьба,
Чтоб человека создать из раба.

Всё, что высоко, разумно, свободно,
Сердцу его и доступно и сродно,

Только дающая силу и власть.
В слове и деле чужда ему страсть!

Любит он сильно, сильней ненавидит,
А доведись — комара не обидит!

Да говорят, что ему и любовь
Голову больше волнует — не кровь!

Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет:

Верить, не верить — ему всё равно,
Лишь бы доказано было умно!

Сам на душе ничего не имеет,
Что вчера сжал, то сегодня и сеет;

Нынче не знает, что́ завтра сожнет,
Только наверное сеять пойдет.

Это в простом переводе выходит,
Что в разговорах он время проводит;

Если ж за дело возьмется — беда!
Мир виноват в неудаче тогда;

Чуть пообслабнут нетвердые крылья,
Бедный кричит: «Бесполезны усилья!»

И уж куда как становится зол
Крылья свои опаливший орел...

Поняли?.. нет!.. Ну, беда небольшая!
Лишь поняла бы бедняжка больная.

Благо теперь догадалась она,
Что отдаваться ему не должна,

А остальное всё сделает время.
Сеет он все-таки доброе семя!

В нашей степной полосе, что ни шаг,
Знаете вы,— то бугор, то овраг.

В летнюю пору безводны овраги,
Выжжены солнцем, песчаны и наги,

Осенью грязны, не видны зимой,
Но погодите: повеет весной

С теплого края, оттуда, где люди
Дышат вольнее — в три четверти груди,—

Красное солнце растопит снега,
Реки покинут свои берега,—

Чуждые волны кругом разливая,
Будет и дерзок и полон до края

Жалкий овраг... Пролетела весна —
Выжжет опять его солнце до дна,

Но уже зреет на ниве поёмной,
Что оросил он волною заемной,

Пышная жатва. Нетронутых сил
В Саше так много сосед пробудил...

Эх! говорю я хитро, непонятно!
Знайте и верьте, друзья: благодатна

Всякая буря душе молодой —
Зреет и крепнет душа под грозой.

Чем неутешнее дитятко ваше,
Тем встрепенется светлее и краше:

В добрую почву упало зерно —
Пышным плодом отродится оно!

1854—1855

ДЕМОНУ

Где ты, мой старый мучитель,
Демон бессонных ночей?
Сбился я с толку, учитель,
С братьей болтливой моей.

Дуешь, бывало, на пламя —
Пламя пылает сильней,
Краше волнуется знамя
Юности гордой моей.

Прямо ли, криво ли вижу,
Только душою киплю:
Так глубоко ненавижу,
Так бескорыстно люблю!

Нынче я всё понимаю,
Всё объяснить я хочу,
Всё так охотно прощаю,
Лишь неохотно молчу.

Что же со мною случилось?
Как разгадаю себя?
Всё бы тотчас объяснилось,
Да не докличусь тебя!

Способа ты не находишь
Сладить с упрямой душой?
Иль потому не приходишь,
Что уж доволен ты мной?

1855

*

Где твое личико смуглое
Нынче смеется, кому?
Эх, одиночество круглое!
Не посулю никому!

А ведь, бывало, охотно
Шла ты ко мне вечерком;
Как мы с тобой беззаботно
Веселы были вдвоем!

Как выражала ты живо
Милые чувства свои!
Помнишь, тебе особливо
Нравились зубы мои;

Как любовалась ты ими,
Как целовала любя!
Но и зубами моими
не удержал я тебя...

1855

*

Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя...
Увы! утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна —
Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы —
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей...

1855 или 1856

*

Тяжелый год — сломил меня недуг,
Беда застигла, счастье изменило,
И не щадит меня ни враг, ни друг,
И даже ты не пощадила!
Истерзана, озлоблена борьбой
С своими кровными врагами,
Страдалица! стоишь ты предо мной
Прекрасным призраком с безумными глазами!
Упали волосы до плеч,
Уста горят, румянцем рдеют щеки,
И необузданная речь
Сливается в ужасные упреки,
Жестокие, неправые... Постой!
Не я обрек твои младые годы
На жизнь без счастья и свободы,
Я друг, я не губитель твой!
Но ты не слушаешь.....
. . . .

1855 или 1856

ВЛЮБЛЕННОМУ

Как вести о дороге трудной,
Когда-то пройденной самим,
Внимаю речи безрассудной,
Надеждам розовым твоим.
Любви безумными мечтами
И я по-твоему кипел,
Но я делить их не хотел
С моими праздными друзьями.
За счастье сердца моего
Томим боязнию ревнивой,
Не допускал я никого
В тайник души моей стыдливой.
Зато теперь, когда угас
В груди тот пламень благодатный,
О прошлом счастии рассказ
Твержу с отрадой непонятной.
Так проникаем мы легко
И в недоступное жилище,
Когда хозяин далеко
Или почиет на кладбище

16 марта 1856

КНЯГИНЯ

Дом — дворец роскошный, длинный, двухэтажный,
С садом и с решеткой; муж — сановник важный.
Красота, богатство, знатность и свобода —
Всё ей даровали случай и природа.
Только показалась — и над светским миром
Солнцем засияла, вознеслась кумиром!
Воин, царедворец, дипломат, посланник —
Красоты волшебной раболепный данник;
Свет ей рукоплещет, свет ей подражает.
Властвует княгиня, цепи налагает,
Но цепей не носит; прихоти послушна,
Ни за что полюбит, бросит равнодушно:

Ей чужое счастье ничего не стоит —
Если и погибнет, торжество удвоит!

Сердце ли в ней билось чересчур спокойно,
Иль кругом всё было страсти недостойно,
Только ни однажды в молодые лета
Грудь ее любовью не была согрета.
Годы пролетали. В вихре жизни бальной
До поры осенней — пышной и печальной —
Дожила княгиня... Тут супруг скончался...
Труден был ей траур,— доктор догадался
И нашел, что воды были б ей полезны
(Доктора в столицах вообще любезны).

Если только русский едет за границу,
Посылай в Палермо, в Пизу или в Ниццу,
Быть ему в Париже — так судьбам угодно!
Год в столице моды шумно и свободно
Прожила княгиня; на второй влюбилась
В доктора-француза — и сама дивилась!
Не был он красавец, но ей было ново
Страстно и свободно льющееся слово,
Смелое, живое... Свергнуть иго страсти
Нет и помышленья... да уж нет и власти!
Решено! В Россию тотчас написали;
Немец-управитель без большой печали
Продал за бесценок, в силу повеленья,
Английские парки, русские селенья,
Земли, лес и воды, дачу и усадьбу...
Получили деньги — и сыграли свадьбу...

Тут пришла развязка. Круто изменился
Доктор-спекулятор: деспотом явился!
Деньги, бриллианты — всё пустил в аферы,
А жену тиранил, ревновал без меры,
И когда бедняжка с горя захворала,
Свез ее в больницу... Навещал сначала,
А потом уехал — словно канул в воду!

Скорбная, больная, гасла больше году
В нищете княгиня... и тот год тяжелый
Был ей долгим годом думы невеселой!

Смерть ее в Париже не была заметна:
Бедно нарядили, схоронили бедно...
А в отчизне дальной словно были рады:
Целый год судили — резко, без пощады,
Наконец устали... И одна осталась
Память: что с отличным вкусом одевалась!
Да еще остался дом с ее гербами,
Доверху набитый бедными жильцами,
Да в строфах небрежных русского поэта
Вдохновенных ею чудных два куплета,
Да голяк-потомок отрасли старинной,
Светом позабытый — и ни в чем невинный.

Начало 1856

*

«Самодовольных болтунов,
Охотников до споров модных,
Где много благородных слов,
А дел не видно благородных,
Ты откровенно презирал:
Ты не однажды предсказал
Конец велеречивой сшибки
И слово *русский либерал*
Произносил не без улыбки.
Ты силу собственной души
Бессильем их надменно мерил
И добродушной ей ты верил.
И точно, были хороши
Твои начальные порывы:
Озолотил бы бедняка!
Но дед и бабка были живы,
И сам ты не имел куска.
И долго спали сном позорным
Благие помыслы твои,
Как дремлют подо льдом упорным
Речные вольные струи.

Ты их лелеял на соломе
И только применять их мог
Ко псу, который в жалком доме
Пожитки жалкие стерег.
И правда: пес был сыт и жирен,
И спал всё, дворнику назло.
Теперь... теперь твой круг обширен!
Взгляни: богатое село
Лежит, обставлено скирдами,
Спускаясь по горе к ручью,
А избы полны мужиками...»

Въезжая в отчину свою,
Такими мыслями случайно
Был Решетилов осажден.
И побледнел необычайно,
И долго, долго думал он...
Потом — вступил он во владенье,
Вопрос отложен и забыт.
Увы! не наше поколенье
Его по совести решит!

Середина июня 1856

ПОЭТ И ГРАЖДАНИН

Гражданин
(Входит)

Опять один, опять суров,
Лежит — и ничего не пишет.

Поэт

Прибавь: хандрит и еле дышит —
И будет мой портрет готов.

Гражданин

Хорош портрет! Ни благородства,
Ни красоты в нем нет, поверь,
А просто пошлое юродство.
Лежать умеет дикий зверь...

Поэт

Так что же?

Гражданин

Да глядеть обидно.

Поэт

Ну, так уйди.

Гражданин

Послушай: стыдно!
Пора вставать! Ты знаешь сам,
Какое время наступило;
В ком чувство долга не остыло,
Кто сердцем неподкупно прям,
В ком дарованье, сила, меткость,
Тому теперь не должно спать...

Поэт

Положим, я такая редкость,
Но нужно прежде дело дать.

Гражданин

Вот новость! Ты имеешь дело,
Ты только временно уснул,
Проснись: громи пороки смело...

Поэт

А! знаю: «Вишь, куда метнул!»
Но я обстрелянная птица.
Жаль, нет охоты говорить.

(Берет книгу.)

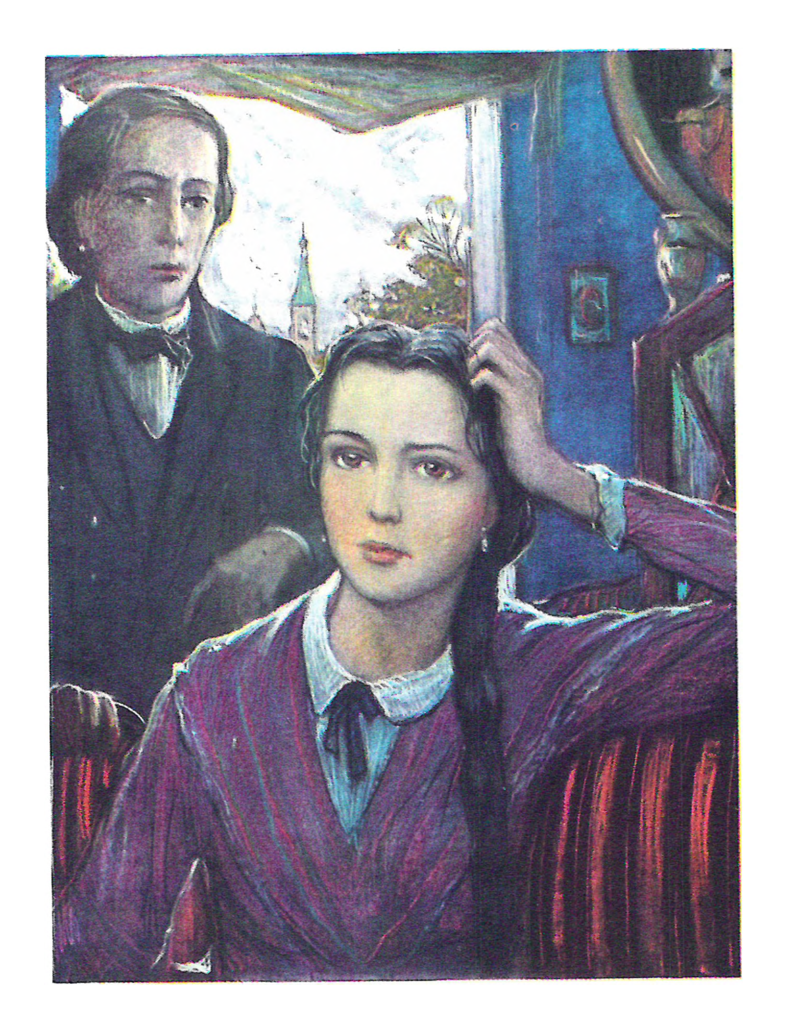
Спаситель Пушкин! — Вот страница:
Прочти — и перестань корить!

Гражданин
(читает)

«Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,



«ВЛАС»



«САША»

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв».

Поэт
(с восторгом)

Неподражаемые звуки!..
Когда бы с Музою моей
Я был немного поумней,
Клянусь, пера бы не взял в руки!

Гражданин

Да, звуки чудные... ура!
Так поразительна их сила,
Что даже сонная хандра
С души поэта соскочила.
Душевно радуюсь — пора!
И я восторг твой разделяю,
Но, признаюсь, твои стихи
Живее к сердцу принимаю.

Поэт

Не говори же чепухи!
Ты рьяный чтец, но критик дикий.
Так я, по-твоему,— великий,
Повыше Пушкина поэт?
Скажи пожалуйста?!.

Гражданин

Ну, нет!
Твои поэмы бестолковы,
Твои элегии не новы,
Сатиры чужды красоты,
Неблагородны и обидны,
Твой стих тягуч. Заметен ты,
Но так без солнца звезды видны.
В ночи, которую теперь
Мы доживаем боязливо,
Когда свободно рыщет зверь,
А человек бредет пугливо,—
Ты твердо светоч свой держал,
Но небу было неугодно,
Чтоб он под бурей запылал,
Путь освещая всенародно;

Дрожащей искрою впотьмах
Он чуть горел, мигал, метался.
Моли, чтоб солнца он дождался
И потонул в его лучах!

Нет, ты не Пушкин. Но покуда
Не видно солнца ниоткуда,
С твоим талантом стыдно спать;
Еще стыдней в годину горя
Красу долин, небес и моря
И ласку милой воспевать...

Гроза молчит, с волной бездонной
В сияньи спорят небеса,
И ветер ласковый и сонный
Едва колеблет паруса,—
Корабль бежит красиво, стройно,
И сердце путников спокойно,
Как будто вместо корабля
Под ними твердая земля.
Но гром ударил; буря стонет;
И снасти рвет, и мачту клонит,—
Не время в шахматы играть,
Не время песни распевать!
Вот пес — и тот опасность знает
И бешено на ветер лает:
Ему другого дела нет...
А ты что делал бы, поэт?
Ужель в каюте отдаленной
Ты стал бы лирой вдохновенной
Ленивцев уши услаждать
И бури грохот заглушать?

Пускай ты верен назначенью,
Но легче ль родине твоей,
Где каждый предан поклоненью
Единой личности своей?
Наперечет сердца благие,
Которым родина свята.
Бог помочь им!.. а остальные?
Их цель мелка, их жизнь пуста.
Одни — стяжатели и воры,

Другие — сладкие певцы,
А третьи... третьи — мудрецы:
Их назначенье — разговоры.
Свою особу оградя,
Они бездействуют, твердя:
«Неисправимо наше племя,
Мы даром гибнуть не хотим,
Мы ждем: авось поможет время,
И горды тем, что не вредим!»
Хитро скрывает ум надменный
Себялюбивые мечты,
Но... брат мой! кто бы ни был ты,
Не верь сей логике презренной!
Страшись их участь разделить,
Богатых словом, делом бедных,
И не иди во стан безвредных,
Когда полезным можешь быть!
Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди и гибни безупрёчно.
Умрешь не даром: дело прочно,
Когда по ним струится кровь...

А ты, поэт! избранник неба,
Глашатай истин вековых,
Не верь, что не имущий хлеба
Не стòит вещих струн твоих!
Не верь, чтоб вовсе пали люди;
Не умер бог в душе людей,
И вопль из верующей груди
Всегда доступен будет ей!
Будь гражданин! служа искусству,
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей Любви;
И если ты богат дарами,
Их выставлять не хлопочи:

В твоем труде заблещут сами
Их животворные лучи.
Взгляни: в осколки твердый камень
Убогий труженик дробит,
А из-под молота летит
И брызжет сам собою пламень!

Поэт

Ты кончил?.. чуть я не уснул.
Куда нам до таких воззрений!
Ты слишком далеко шагнул.
Учить других — потребен гений,
Потребна сильная душа,
А мы с своей душой ленивой,
Самолюбивой и пугливой,
Не стоим медного гроша.
Спеша известности добиться,
Боимся мы с дороги сбиться
И тропкой торною идем,
А если в сторону свернем —
Пропали, хоть беги со света!
Куда жалка ты, роль поэта!
Блажен безмолвный гражданин:
Он, музам чуждый с колыбели,
Своих поступков господин,
Ведет их к благодарной цели,
И труд его успешен, спор...

Гражданин

Не очень лестный приговор.
Но твой ли он? тобой ли сказан?
Ты мог бы правильней судить:
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.
А что такое гражданин?
Отечества достойный сын.
Ах! будет с нас купцов, кадетов,
Мещан, чиновников, дворян,
Довольно даже нам поэтов,
Но нужно, нужно нам граждан!
Но где ж они? Кто не сенатор,
Не сочинитель, не герой,

Не предводитель, не плантатор,
Кто гражданин страны родной?
Где ты? откликнись! Нет ответа.
И даже чужд душе поэта
Его могучий идеал!
Но если есть он между нами,
Какими плачет он слезами!!.
Ему тяжелый жребий пал,
Но доли лучшей он не просит:
Он, как свои, на теле носит
Все язвы родины своей.

. . . .

. . . .

Гроза шумит и к бездне гонит
Свободы шаткую ладью,
Поэт клянет или хоть стонет,
А гражданин молчит и клонит
Под иго голову свою.
Когда же... Но молчу. Хоть мало,
И среди нас судьба являла
Достойных граждан... Знаешь ты
Их участь?.. Преклони колени!
Лентяй! смешны твои мечты
И легкомысленные пени!
В твоем сравненье смыслу нет.
Вот слово правды беспристрастной:
Блажен болтающий поэт,
И жалок гражданин безгласный!

Поэт

Не мудрено того добить,
Кого уж добивать не надо.
Ты прав: поэту легче жить —
В свободном слове есть отрада.
Но был ли я причастен ей?
Ах, в годы юности моей,
Печальной, бескорыстной, трудной,
Короче,— очень безрассудной,—
Куда ретив был мой Пегас!
Не розы — я вплетал крапиву
В его размашистую гриву
И гордо покидал Парнас.

Без отвращенья, без боязни
Я шел в тюрьму и к месту казни,
В суды, в больницы я входил.
Не повторю, что̀ там я видел...
Клянусь, я честно ненавидел!
Клянусь, я искренно любил!
И что ж?.. мои послышав звуки,
Сочли их черной клеветой;
Пришлось сложить смиренно руки
Иль поплатиться головой...
Что было делать? Безрассудно
Винить людей, винить судьбу.
Когда б я видел хоть борьбу,
Бороться стал бы, как ни трудно,
Но... гибнуть, гибнуть... и когда?
Мне было двадцать лет тогда!
Лукаво жизнь вперед манила,
Как моря вольные струи,
И ласково любовь сулила
Мне блага лучшие свои —
Душа пугливо отступила...
Но сколько б ни было причин,
Я горькой правды не скрываю
И робко голову склоняю
При слове: честный гражданин.
Тот роковой, напрасный пламень
Доныне сожигает грудь,
И рад я, если кто-нибудь
В меня с презреньем бросит камень.
Бедняк! и из чего попрал
Ты долг священный человека?
Какую подать с жизни взял
Ты — сын больной больного века?..
Когда бы знали жизнь мою,
Мою любовь, мои волненья...
Угрюм и полон озлобленья,
У двери гроба я стою...

Ах! песнею моей прощальной
Та песня первая была!
Склонила Муза лик печальный
И, тихо зарыдав, ушла.

С тех пор не часты были встречи:
Украдкой, бледная, придет
И шепчет пламенные речи,
И песни гордые поет.
Зовет то в города, то в степи,
Заветным умыслом полна,
Но загремят внезапно цепи —
И мигом скроется она.
Не вовсе я ее чуждался,
Но как боялся! как боялся!
Когда мой ближний утопал
В волнах существенного горя —
То гром небес, то ярость моря
Я добродушно воспевал.
Бичуя маленьких воришек
Для удовольствия больших,
Дивил я дерзостью мальчишек
И похвалой гордился их.
Под игом лет душа погнулась,
Остыла ко всему она,
И Муза вовсе отвернулась,
Презренья горького полна.
Теперь напрасно к ней взываю —
Увы! сокрылась навсегда.
Как свет, я сам ее не знаю
И не узнаю никогда.
О Муза, гостьею случайной
Являлась ты душе моей?
Иль песен дар необычайный
Судьба предназначала ей?
Увы! кто знает? рок суровый
Всё скрыл в глубокой темноте.
Но шел один венок терновый
К твоей угрюмой красоте...

1855 — июнь 1856

<ТУРГЕНЕ>ВУ

Прощай! Завидую тебе —
Твоей поездке, не судьбе:
Я гордостью, ты знаешь, болен

И не сменяю ни на чью
Судьбу плачевную мою,
Хоть очень ею недоволен.
Ты счастлив. Ты воскреснешь вновь;
В душе твоей проснется живо
Всё, чем терзает прихотливо
И награждает нас любовь,—
Пора наград, улыбок ясных,
Простых, как молодость, речей,
Ночей таинственных и страстных
И полных сладкой лени дней!
Ты знал ее?.. Нет лучшей доли!
Живешь легко, глядишь светлей,
Не жалко времени и воли,
Не стыдно праздности своей,
Душа тоскливо вдаль не рвется
И вся блаженна перед той,
Чье сердце ласковое бьется
Одним биением с тобой...
Счастливец! из доступных миру
Ты наслаждений взять умел
Всё, чем прекрасен наш удел:
Бог дал тебе свободу, лиру
И женской любящей душой
Благословил твой путь земной...

21 июля 1856

ПРОСТИ

Прости! Не помни дней паденья,
Тоски, унынья, озлобленья,—
Не помни бурь, не помни слез,
Не помни ревности угроз!

Но дни, когда любви светило
Над нами ласково всходило
И бодро мы свершали путь,—
Благослови и не забудь!

29 июля 1856

ШКОЛЬНИК

— Ну, пошел же, ради бога!
Небо, ельник и песок —
Невеселая дорога...
— Эй! садись ко мне, дружок!

Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь...
Не стыдися! что за дело?
Это многих славных путь.

Вижу я в котомке книжку.
Так, учиться ты идешь...
Знаю: батька на сынишку
Издержал последний грош.

Знаю: старая дьячиха
Отдала четвертачок,
Что проезжая купчиха
Подарила на чаек.

Или, может, ты дворовый
Из отпущенных?.. Ну, что ж!
Случай тоже уж не новый —
Не робей, не пропадешь!

Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и божьей воле
Стал разумен и велик.

Не без добрых душ на свете —
Кто-нибудь свезет в Москву,
Будешь в университете —
Сон свершится наяву!

Там уж поприще широко:
Знай работай да не трусь...
Вот за что тебя глубоко
Я люблю, родная Русь!

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай,—

Столько добрых, благородных,
Сильных любящей душой,
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!

Лето 1856

*

Как ты кротка, как ты послушна,
Ты рада быть его рабой,
Но он внимает равнодушно,
Уныл и холоден душой.

А прежде... помнишь? Молода,
Горда, надменна и прекрасна,
Ты им играла самовластно,
Но он любил, любил тогда!

Так солнце осени — без туч
Стоит не грея, на лазури,
А летом и сквозь сумрак бури
Бросает животворный луч...

Лето 1856

*

Я посетил твое кладбище,
Подруга трудных, трудных дней!
И образ твой светлей и чище
Рисуется душе моей.
Бывало, натерпевшись муки,
Устав и телом и душой,
Под игом молчаливой скуки
Встречался грустно я с тобой.

Ни смех, ни говор твой веселый
Не прогоняли темных дум:
Они бесили мой тяжелый,
Больной и раздраженный ум.
Я думал: нет в душе беспечной
Сочувствия душе моей,
И горе в глубине сердечной
Держалось дольше и сильней...
Увы, то время невозвратно!
В ошибках юность не вольна:
Без слез ей горе непонятно,
Без смеху радость не видна...
Ты умерла... Смирились грозы.
Другую женщину я знал,
Я поминутно видел слезы
И часто смех твой вспоминал.
Теперь мне дороги и милы
Те грустно прожитые дни,—
Как много нежности и силы
Душевной вызвали они!
Твержу с упреком и тоскою:
«Зачем я не ценил тогда?»
Забудусь, ты передо мною
Стоишь — жива и молода:
Глаза блистают, локон вьется,
Ты говоришь: «Будь веселей!»
И звонкий смех твой отдается
Больнее слез в душе моей...

1856

«НЕСЧАСТНЫЕ»

1

Тяжел мой крест: уединенье,
Преступной совести мученье,
Нужда, недуги. Говорят,
К цветущей юности возврат —
Под старость нам одно спасенье,
Отрада верная.— «Живи,
Покуда кровь играет в жилах,
А станешь стариться, нарви

Цветов, растущих на могилах,
И ими сердце обнови...»
И я попробовал... но что же?..
Душа по-прежнему нема,
И с одичалого ума
Стереть угрюмости клейма
Ничто не властно. Правый боже!
Ужели долгая тюрьма,
Ограбив сердце без пощады,
Душе моей не даст отрады
В воспоминаньи юных лет?..
Иль точно там отрады нет?
Увы! там душно, там пустыня.
Любя, прощая, чуть дыша,
Там угасает, как рабыня,
Святая женская душа.
Переступить порог не смея,
Тоски и ужаса полна,
Так вянет сказочная фея
В волшебном замке колдуна.
Воображенье прихотливо
Рисует ей другие дни:
В чертогах, убранных на диво,
Горят венчальные огни;
Невеста ждет, жених приходит,
И речь его тиха, нежна...
Где ум красавицы не бродит,
Чего не думает она?
Ликует день, щебечут птицы,
Красою блещут небеса,
Доходят до дверей темницы
Любви и воли голоса,—
Но ей нет воли, нет отрады.
Не нужно камней дорогих,
Возьмите пышные наряды!
Где мать? где сестры? где жених?
Где няня с песенкой и сказкой?
Никто не сжалится над ней,
И только докучает лаской
Противный, старый чародей.
Но нет!.. она любить не станет,
Скорей умрет... Уходит он

И в гневе подданных тиранит.
Кругом проклятья, вопли, стон...
Но в сказке витязь благородный
Придет — волшебника убьет
И клочья бороды негодной
К ногам красавицы свободной
С рукой и сердцем принесет.
А здесь?..

Рога трубят ретиво,
Пугая ранний сон детей,
И воют псы нетерпеливо...
До солнца сели на коней —
Ушли... Орды вооруженной
Не видит глаз, не слышит слух,
И бедный дом, как осажденный,
Свободно переводит дух.
Меняя быстро пост невольный
На празднословье и вино,
Спешит забыться раб довольный.
Но есть одна: ей всё равно!
В ее душе светлей не станет,
Всё тот же мрак, всё тот же гнет:
И сон перерванный не манит,
И утро к жизни не зовет.
Скорей, затворница немая,
Рыданьем душу отведи!
Терпи любя, терпи прощая,
И лучшей участи не жди!..

Осаду не надолго сняли...
Вот вечер — снова рог трубит.
Примолкнув, дети побежали,
Но мать остаться им велит;
Их взор уныл, невнятен лепет...
Опять содом, тревога, трепет!
А ночью свечи зажжены,
Обычный пир кипит мятежно.
И бледный мальчик, у стены
Прижавшись, слушает прилежно
И смотрит жадно (узнаю
Привычку детскую мою)...

Что слышит? песни удалые
Под топот пляски удалой;
Глядит, как чаши круговые
Пустеют быстрой чередой;
Как на лету куски хватают
И рот захлопывают псы,
Как на тени растут, кивают
Большие дядины усы...
Смеются гости над ребенком,
И чей-то голос говорит:
«Не правда ль, он всегда глядит
Каким-то травленым волчонком?
Поди сюда!» Бледнеет мать;
Волчонок смотрит — и ни шагу.
«Упрямство надо наказать —
Поди сюда!» — Волчонок тягу...
«Ату его!»

Тяжелый сон!..
Нет, мой восход не лучезарен —
Ничем я в детстве не пленен
И никому не благодарен.
Скорее к юности! Она
Всегда мила, всегда ясна...
Не бедняку! — Воображенье
К столице юношу манит,
Там слава, там простор, движенье,
И вот он в ней! Идет, глядит —
Как чудно город изукрашен!
Шпили его церквей и башен
Уходят в небо; пышны в нем
Театры, улицы, жилища
Счастливцев мира — и кругом
Необозримые кладбища...

О город, город роковой!
С певцом твоих громад красивых,
Твоей ограды вековой,
Твоих солдат, коней ретивых
И всей потехи боевой,
Плененный лирой сладкострунной,
Не спорю я: прекрасен ты

В безмолвьи полночи безлунной,
В движеньи гордой суеты!

. . . .

Пусть солнце тусклое, скупое
Глядится в невские струи;
Пусть, теша буйство удалое
И сея плевелы свои,
Толпы пустых, надменных, праздных,
Полны пороков безобразных,
В тебе кишат. В стенах твоих
И есть и были в стары годы
Друзья народа и свободы,
А посреди могил немых
Найдутся громкие могилы.
Ты дорог нам,— ты был всегда
Ареной деятельной силы,
Пытливой мысли и труда!

Всё так. Но если ненароком
В твои пределы загляну.
Купаясь в омуте глубоком,
Переживая старину,
Душа болит. Не в залах бальных,
Где торжествует суета,
В приютах нищеты печальных
Блуждает грустная мечта.
Не лучезарный, золотистый,
Но редкий солнца луч... о нет!
Твой день больной, твой вечер мглистый,
Туманный, медленный рассвет
Воображенье мне рисует...

Светает. Чу, как ветер дует!
Унять бы рады сорванца,
Но он смеется над столицей
И флагом гордого дворца
Играет, как простой тряпицей.
Нева волнуется, дома
Стоят, как крепости пустые;
Железным болтом запертые,
Угрюмы лавки, как тюрьма.
Их постепенно отворяют,

Товару в окна прибавляют,—
Так ставит с вечера капкан
Охотник, на добычу падкий.
Вот солнце глянуло украдкой,
Но одолел его туман —
И снова мрак. Какие лица
Теперь приходится встречать!
Такую страшную печать
Умеет класть одна столица.
Проехал воз: ни рус, ни сед,
Чухонец им курносый правил
И ельника зеленый след
На мокрой улице оставил —
Покойник будет. Вот и он!
До пышных дожил похорон:
Четверкой дроги, гроб угрюмый
Стоит высоко под парчой,
Идет родня с печальной думой,
Поникнув молча головой;
Плетутся дряхлые кареты,
То там, то тут, полуодеты,
Из окон женщины глядят,
Прохожий крестится сурово...
Прошла процессия — и снова
Всё пусто.— Вот идет солдат
За фурой вроде погребальной —
Глядит оттуда глаз печальный
И видно бледное лицо...
Довольно! что теперь ни встретишь,
На всем унынья след заметишь.
Но вот парадное крыльцо
В богатом доме отворяет
Какой-то рослый молодец,—
Теперь-то утро наступает!
Туман осилив наконец,
Одело солнце сетью чудной
Дворцы, и храмы, и мосты,
И нет следов заботы трудной
И недовольной нищеты!
Как будто появляться вредно
При полном водвореньи дня
Всему, что зелено и бледно,



«НА ВОЛГЕ»



«ШКОЛЬНИК»

Несчастно, голодно и бедно,
Что ходит голову склоня!
Теперь гляди на город шумный!
Теперь он пышен и богат —
Несется в толкотне безумной
Блестящих экипажей ряд,
Всё полно жизни и тревоги,
Все лица блещут и цветут,
И с похорон обратно дроги
Пустые весело бегут...

Ликует сердце молодое —
В восторге юноша. Постой!
Ты будешь говорить другое,
Родство постигнув роковое
Меж этим блеском и тобой!
Пройдут года в борьбе бесплодной,
И на красивые плиты,
Как из машины винт негодный,
Быть может, брошен будешь ты!
Счастлив, кому мила дорога
Стяжанья, кто ей верен был
И в жизни ни однажды бога
В пустой груди не ощутил.
Но если той тревоги смутной
Не чуждо сердце — пропадешь!
В глухую полночь, бесприютный,
По стогнам города пойдешь:
Громадный, стройный и суровый,
Заснув под тучею свинцовой,
Тогда предстанет он иным,
И, опоясанный гробами,
Своими пышными дворцами,
Величьем царственным своим —
Не будет радовать. Невольно
Припомнишь бедный городок,
Где солнца каждому довольно.
То правда: город не широк,
Не длинен — лай судейской шавки
В нем слышен вдоль и поперек.
Домишки малы, пусты лавки,
Собор, четыре кабака,

Тюрьма, шлагбаум полосатый,
Дом судный, госпиталь дощатый
И площадь... площадь велика:
Кругом не видно ей границы,
И, слышно, осенью на ней
Чудак, заезжий из столицы,
Успешно ищет дупелей.
Ну, всё как надо, как известно,
Над чем столичные давно
Острят то глупо, то умно. .
Зато покойно — и не тесно...
Не жди особенных отрад:
Что бог послал, тому будь рад,
Гляди в халате на дорогу:
Вон гуси выступают в ногу
С гусиной важностью... но вдруг —
Смятенье, дикий крик, испуг!
Три тройки наскакали близко.
Присев и крылья распустив,
Одни бегут, другие низко
Летят, а третьи, прискочив,
Удрать не лётом и не бегом
Спешат... и вот простор телегам —
Рассыпались, куда кто мог!
Так, гордый собственным значеньем,
Своим нежданным появленьем
Детей пугает педагог;
Так поэтические грезы
Разносит дуновенье прозы...
Но уж запели соловьи,
Иди гулять — до сна недолго!
Гляди, как тихо катит Волга
Свои спокойные струи,
Уснув в песчаной колыбели;
Как, нагибаясь до земли,
Таскают бурлаки кули,
А воробьи уж налетели
И, теребя мочалу, нос
Просунуть силятся в овес.
Куда ни взглянешь — птичье племя!
Уснув под берегом реки,
Чернеют утки, как комки,

Но, видно, им покушать время:
Проснулись — поплыли гурьбой,
Кувырк! и ног утиных строй
Стоит недвижно над водой.
На всем лучи зари румяной.
Как ожерелье, у воды
Каких-то белых птиц ряды
Сидят на отмели песчаной,
И тут же сотни куликов
Снуют с оглядкой вороватой;
Все белобрюхи; без хохлов,
А почему ж один хохлатый?
Не долиняв, с весенних пор
Сберег он пышную прибавку
И ходит важно, как майор,
С мундиром вышедший в отставку,
Недостает счастливцу шпор!

Не любишь птиц — гляди бездумно,
Как приближается паром,
Неторопливо и нешумно;
А там, на берегу другом,
Под легким матовым туманом,
Как будто войско тесным станом
Расположилось на ночлег:
Не перечтешь коней, телег!
Под каждым стогом-великаном
Толпа... И слышны голоса,
Стыдливый визг и хохот женский.
Но потемнели небеса —
Спи мирно, житель деревенский!
Ты сто́ишь сна... Идем домой,
Закрыты ставни — всё спокойно.
Что ж медлит месяц золотой?
Темно. Ни холодно, ни знойно,—
Так ровно-ровно дышит грудь.
Но слышишь, что-то заскрипело!
Калитку отворив чуть-чуть,
Выходит девушка несмело.
Она глядит по сторонам,
Но вот увидела — и к нам
Шаги проворно направляет.

Ты улыбнулся, ты молчишь...
Вдруг «ах!» — и быстро исчезает,
Ошиблась, милая! Так мышь,
С испугу пискнув, убегает,
Заметив любопытный глаз.
Пору любви, пору проказ,
Чем нашу молодость помянем?
Не побежать ли нам за ней?
Не подстеречь ли у дверей?
Нет, только даром мы устанем.
Народ уснул — пора и нам.
Одно досадно: по ночам,
Должно быть, переспав нещадно,
Собака воет безотрадно —
Весь город чьей-то смерти ждет,
Толкуют набожно и тихо.
И ведь случается — возьмет
Да и скончается купчиха,
Перед которой глупый пес
Три ночи выл, поднявши нос.
Тогда попробуй разуверить.
«Да как ты смеешь сам не верить?..»
Молчи — предатели они!
Люби покой, природу, книгу
И независимость храни,
Не то среды поддайся игу
И лямку общую тяни.

Но есть и там свои могилы,
Но там бесплодно гибнут силы,
Там духота, бездумье, лень,
Там время тянется сонливо,
Как самодельная расшива
По тихой Волге в летний день.
Там только не грешно родиться
Или под старость умирать.
Куда ж идти? К чему стремиться?
Где силы юные пытать?

Храни господь того, кто скажет:
«Простите, мирные поля!» —
И бедный свой челнок привяжет
К корме большого корабля...

Кому судьба венец готовит,
Того вопрос: куда идти? —
Не устрашит, не остановит;
Кого на жизненном пути
Любовь лелеет с колыбели,
Незримо направляя к цели,—
И тот находит путь прямой.
Но кто ни богом не отмечен,
Ни даже любящей рукой
Не охранен, не обеспечен,
Тот долго бродит как слепой:
Кипит, желает, тратит силы
И, поздним опытом богат,
Находит у дверей могилы
Невольных заблуждений ряд...
К чему бы жизнь ни вынуждала,
И даже разницы путем
Не зная меж добром и злом,
Я по теченью плыл сначала,
Лишь гордость иногда спасала...
Бог весть куда бы прихоть волн
Прибила мой убогий челн:
Сбирались тучи, путь был труден,
А я упорен, безрассуден,—
Ждала тяжелая борьба.
Но вдруг распутала судьба
Загадку жизни несчастливой —
Я полюбил, дикарь ревнивый...

О ты, кого я с ужасом бежал,
Кому с любовью рвался я в объятья,
Кому чистосердечно расточал
Благословенья и проклятья,—
Тебя уж нет! На жизненной стезе
Оставив след загадочный и странный,
Являясь ангелом в грозе
И демоном у пристани желанной,—
Погибла ты... Ты сладить не могла
Ни с бурным сердцем, ни с судьбою
И, бездну вырыв подо мною,
Сама в ней первая легла...

Ругаясь буйно над кумиром,
Когда-то сердцу дорогим,
Я мог бы перед целым миром
Клеймом отметить роковым
Твой путь. Но за пределы гроба
Не перешла вражда моя,
Я понял: мы виновны оба...
Но тяжелей наказан я!
Года чредой определенной
Идут, но время надо мной
Остановилось: страж бессменный
Среди той ночи роковой,
Стою... ревниво закипаю,
И вдруг шаги... и голос твой...
И вопль — и с криком: «Не прощаю!..»
Всё помню с ясностью такой,
Как будто каждый день свершаю
Убийство... Тот же, тот же сон
Уж двадцать лет: молящий стон,
Безумный крик, сверканье стали...
Прочь, утонувшие в крови
Воспоминания любви!
Довольно сердце вы терзали.

Скорее в душную тюрьму!
Оттуда сердцу моему
Единый в жизни луч отрады
Мерцает... Так огонь лампады
До вечной сени гробовой
Горит над каждой головой...

2

Безлюдье, степь. Кругом всё бело,
И небеса над головой...
Еще отчаянье кипело
В душе, упившейся враждой,
И смерти лишь она алкала,
Когда преступная нога,
Звуча цепями, попирала
Недружелюбные снега
Страны пустынной, сиротливой...
Среди зверей я зверем стал,

Вином я совесть усыплял
И ум гасил...

В толпе строптивой
Меж нами был один: его
Не полюбили мы сначала —
Не говорил он ничего,
Работал медленно и мало.
Кряхтя, копается весь день,
Как крот,— мы так его и звали,—
А толку нет: не то чтоб лень,
Да силы скоро изменяли.
Рука, нетвердая в труде,
Как спицы ноги, детский голос,
И, словно лен, пушистый волос
На голове и бороде.
Оброс он скоро волосами,
Питался черствым сухарем,
Но и под грубым армяком
Глядел неровней между нами.
Его дежурный понукал,
И было нам сначала любо
Смотреть, как губы он кусал,
Когда с ним обходились грубо;
Так удила кусает конь,
Когда седок его пришпорит.
В глазах покажется огонь,
Однако промолчит — не спорит!
Бывало, подойдем гурьбой,
Повалим, будто ненароком,
Кричим: «Не хочешь ли домой?»
Он только поглядит с упреком
И покачает головой.
Не пьет, не балагурит с нами.
Но скоро час его настал...

Был вечер; скрежеща зубами,
Один из наших умирал.
Куда деваться в подземельи?
Кричим: «Скорей! мешаешь спать!»
И стали в бешеном весельи
Его мы хором отпевать:

«Умри! нам всем одна дорога,
Другой не будет из тюрьмы!..»

Вдруг кто-то крикнул: «Нет в вас бога!» —
И песни не допели мы.
Глядим: добро б вошел начальник, —
Нет, просто выступил вперед
Наш белоручка, наш молчальник,
Смиренный, копотливый Крот.
Корит, грозит! Дыханье трудно,
Лицо сурово, как гроза,
И как-то бешено и чудно
Блестят глубокие глаза.

Смутились мы. Какая сила
Ему строптивых покорила —
Бог весть! Но грубые умы
Он умилил, обезоружил,
Он нам ту бездну обнаружил,
Куда стремглав летели мы!

В заботе новой, в думах строгих
Мы совещались до утра,
Стараясь вразумить немногих,
Не внявших вестнику добра:
Душой погибнув невозвратно,
Они за нами не пошли
И обновиться благодатно
Уж не хотели, не могли.
В них сердце превратилось в камень,
Навек оледенела кровь...
Но в ком, как под золою пламень,
Таились совесть и любовь,
Тот жадно ждал беседы новой,
С душой, уверовать готовой...

Не вдруг мы поняли его,
Но он учить не тяготился —
Он с нами братски поделился
Богатством сердца своего!
Забыты буйные проказы,
Наступит вечер — тишина,

И стали нам его рассказы
Милей разгула и вина.
Пусть речь его была сурова
И не блистала красотой,
Но обладал он тайной слова,
Доступного душе живой.
Не на коне, не за сохою —
Провел он свой недолгий век
В труде ученья, но душою,
Как мы, был русский человек.
Он не жалел, что мы не немцы,
Он говорил: «Во многом нас
Опередили иноземцы,
Но мы догоним в добрый час!
Лишь бог помог бы русской груди
Вздохнуть пошире, повольней —
Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней.
Она не знает середины —
Черна — куда ни погляди!
Но не проел до сердцевины
Ее порок. В ее груди
Бежит поток живой и чистый
Еще немых народных сил:
Так под корой Сибири льдистой
Золотоносных много жил».

Его пленяло солнце юга —
Там море ласково шумит,
Но слаще северная вьюга
И больше сердцу говорит.
При слове «Русь», бывало, встанет —
Он помнил, он любил ее,
Заговоривши про нее —
До поздней ночи не устанет...

Наступит ли вечерний час —
Внимая бури вой жестокий,
«Теперь,— он говорил,— у нас,
На нашей родине далекой,
Еще тепло... Закат горит,

Над божьим храмом реют птицы,
Домой идут с работы жницы;
Въезжая на гору, скрипит
Снопами полная телега;
Играя, колос из снопа
Хватает сытый конь с разбега
И ржет. За ним бредет толпа
Коровушек. Стемнело небо,
И смолкли вдруг работы дня;
Ложится пахарь без огня,
И распростерли скирды хлеба
Свою хранительную тень
Вокруг уснувших деревень.
Всё тихо; разве без оглядки
Фельдъегерь пролетит селом
Или обратные лошадки,
Понуря голову, шажком
Пройдут; заснул ямщик ленивый
Верхом на дремлющем коне,
Один бубенчик говорливый
Воркует сладко в тишине.
Да старый вяз в конце селенья
Шумит, столетний часовой;
Пред ним проходят поколенья,
Меняясь быстрой чередой,
Он невредим: корысть, беспечность —
Его ничто не сокрушит,
Любовь народная хранит
Его святую долговечность.
Он укрывает в летний зной
Шатром детей деревни целой;
Бедняк калека престарелый
Под ним ложится на покой;
Наш брат, звуча цепями, ссыльный,
Под ним сидит, обритый, пыльный,
И богомолок молодых
Под тень ветвей его густых
Приводит давняя привычка...

Чу! тянут в небе журавли,
И крик их, словно перекличка
Хранящих сон родной земли

Господних часовых, несется
Над темным лесом, над селом,
Над полем, где табун пасется,
И песня грустная несется
Перед дымящимся костром...

Не ждут осенние работы,
Недолог отдых мужиков —
Скрипят колодцы и вороты
При третьей песне петухов,
Дудит пастух свирелью звонкой,
Бежит по ниве чья-то тень:
То беглый рекрутик сторонкой
Уходит в лес, послышав день.
Искал он, чем бы покормиться,
Ночь не послала ничего,
Придется, видно, воротиться,
А страшно!.. Что ловить его!
Хозяйка старших разбудила —
Блеснули в ригах огоньки
И застучали молотила.
Бог помочь, братья мужики!»
Родные русские картины!
Заснул, и видел я во сне
Знакомый дом, леса, долины,
И братья сказывали мне,
Что сон их уносил с чужбины
К забытой, милой стороне.
Летишь мечтой к отчизне дальной,
И на душе светлей, теплей...

Чего не знал наш друг опальный?
Слыхали мы в тюрьме своей
И басни хитрые Крылова,
И песни вещие Кольцова,
Узнали мы таких людей,
Перед которыми поздней
Слепой народ восторг почует,
Вздохнет — и совесть уврачует,
Воздвигнув пышный мавзолей.
Так иногда, узнав случайно,
Кто спас его когда-то тайно,

Бедняк, взволнованный, бежит.
Приходит, смотрит — вот жилище,
Но где ж хозяин? Всё молчит!
Идет бедняга на кладбище
И на могильные плиты
Бросает поздние цветы...

Но спит народ под тяжким игом,
Боится пуль, не внемлет книгам.
О Русь, когда ж проснешься ты
И мир на месте беззаконных
Кумиров рабской слепоты
Увидит честные черты
Твоих героев безыменных?
О ней, о родине державной,
Он говорить не уставал:
То жребий ей пророчил славный,
То старину припоминал,
Кто в древни веки ею правил,
Как люди в ней живали встарь,
Как обучил, вознес, прославил
Ее тот мудрый государь,
Кому в царях никто не равен,
Кто до скончанья мира славен
И свят: Великого Петра
Он звал отцом России новой,
Он видел след руки Петровой
В основе каждого добра.
Сто вечеров до поздней ночи
Он говорил нам про него —
Никто сомкнуть не думал очи
И не промолвил ничего.
Он говорит, ему внимаем
И, полны новых дум, тогда
Свои оковы забываем
И тяжесть черного труда.
Встает во мраке подземелья
Пред нами чудный лик Петра,
И, как монашеская келья,
Тиха преступников нора.
Сносней наутро труд несносный,
Таскаешь горы на плечах,

Чтоб трудолюбец венценосный
Сказал спасибо в небесах...
Да! видит бог, в кровавом поте
Омыли мы свою вину
И не напрасно на работе
Певали песенку одну:

ПЕСНЯ ПРЕСТУПНИКОВ

1

Дружней! работа есть лопатам,
Недаром нас сюда вели,
Недаром бог насытил златом
Утробу матери-земли.

Трудись, покамест служат руки,
Не сетуй, не ленись, не трусь,
Спасибо скажут наши внуки,
Когда разбогатеет Русь!

2

У ней, родимой, требы многи:
Бедна по милости воров!
В ней пышны барские чертоги,
Но жалки избы мужиков.

Недостает у ней дохода
В неурожай кормить крестьян,
И нечем выкупить народа
Царю у палачей-дворян!..

3

Пускай бежит в упорном деле
С нас пот ручьями, как вода,
И мерзнет на клейменом теле,
Когда почием от труда.

Пускай томимся гладом, жаждой,
Пусть дрогнем в холоде зимы,
Ей пригодится камень каждый,
Который добываем мы!

Ее сложил в часы недуга
Наш тихий, вечно грустный Крот,
И часто, поминая друга,
В своем углу ее поет
Прощенный ссыльный. Здесь мы гости,
Сюда вернулись мы не жить —
С отцами рядом положить
Трудом изломанные кости,
Но рады, рады и тому!..

Начальство к нам добрее стало,
Получше отвело тюрьму
И хорошо аттестовало.
Что будет с нами — до конца
Тяжелой было нам загадкой,
Но в умиленные сердца
Прокрался луч надежды сладкой.
Так, помню, солнышко украдкой
Глядит, бывало, поутру
И в нашу черную нору...

Но он надежде верил мало,
Едва бродя, едва дыша,
И только нас бодрить хватало
В нем сил... Великая душа!
Его страданья были горды,
Он их упорно подавлял,
Но иногда изнемогал
И плакал, плакал. Камни тверды,
Любой попробуй... но огня
Добудешь только из кремня.
Таков он был. Воспоминанья
Страшней не помню: знал и я
Изнеможение страданья,—
Но что была печаль моя?

К довольству суетному зависть,
Быть может, личная ненависть,
Тоска по женщине пустой,
С тряпичной, дюжинной душой,
Томленье скуки, злость бессилья.
Я, говорят, был мелко зол
В моей тоске... Не так орел
Свои оплакивает крылья,
Которых мощь изведал он,
Которых царственная сила
Его под небо уносила...
Да! возвращаясь с похорон,
Недаром в голос мы сказали:
«Зачем его Кротом мы звали?
И мертвый сходен он лицом
С убитым молнией орлом!»

О чем была его кручина?
Рыдал ли он рыданьем сына,
Давно отчаявшись обнять
Свою тоскующую мать,
И невеселая картина
Ему являлась: старый дом
Стоит в краю деревни бедной,
И голова старухи бледной
Видна седая под окном.
Вздыхает, молится, гадает
И смотрит, смотрит, и двойной
В окошко рамы не вставляет
Старушка позднею зимой.
А сколько, глядя на дорогу,
Уронит слез — известно богу!
Но нет! и бог их не считал,
А то бы радость ей послал!

Любовь ли бедного томила?
Что сталось с нею? Позабыла?
Или грустит... и далеко
Несется... мысленно заглянет
И содрогнется глубоко?
Где ей? в ней сердца недостанет!

Ах! чувство женское легко!
Они его хранят, лелеют,
Покуда радует оно,
Но если тучи тяготеют
И небо грозно и темно —
Его спасти им не дано!

Быть может, он душою верной
Припоминал былых друзей;
В кичливой гордости своей,
Быть может, враг высокомерный
Ему являлся в час ночной...
И с криком кинувшись, ногами,
Отягощенными цепями,
Топтал он призрак роковой?

Или изгладила чужбина
Всё то, чем молодость жила,
И только слезы гражданина
Душа живая сберегла?
Как знать! Пред ним мы дети были,
Ничем мы права не купили
Делить великую печаль;
Не все мы даже понимали,
За что его сюда заслали,
Но было трудно, было жаль.
Закоренелого невежду
Спроси, и тот отдать был рад
Свою последнюю надежду —
Под небо родины возврат —
За миг единый облегченья
Его тоски, его мученья.
Но только правосудный бог
Утешить мученика мог.
И скоро гробовые двери
Пред ним открылись, но не вдруг
Клейменых каторжников друг
Сошел в них: роковой потери
По капле яд глотали мы.
Почти два года из тюрьмы
Не выходя, он разрушался.

Зачем? Известно небесам!
«Чтоб человек не баловался»,—
Смеясь, говаривал он нам.
И день и ночь поочередно
Его мы ложе берегли,
Зимой окутывали плотно,
Весной на солнышко несли
(Был для того у нас устроен
Снаряд особенный): больной
Кивал тихонько головой
И как-то грозно был спокоен.
Не шевельнется целый день;
Тосклив и кроток беспредельно,
Молчит: так, раненный смертельно,
Глядит и смерти ждет олень...

И наконец пора пришла...
В день смерти с ложа он воспрянул,
И снова силу обрела
Немая грудь — и голос грянул!
Мечтаньем чудным окрылил
Его господь перед кончиной,
И он под небо воспарил
В красе и легкости орлиной.
Кричал он радостно: «Вперед!» —
И горд, и ясен, и доволен;
Ему мерещился народ
И звон московских колоколен;
Восторгом взор его сиял,
На площади, среди народа,
Ему казалось, он стоял
И говорил...

Прошло два года.
Настал святой, великий миг,
В скрижалях царства незабвенный,
И до Сибири отдаленной
Прощенья благовест достиг.
Разверзлась роковая яма,
Как птицы, вольны вышли мы

И, не сговариваясь, прямо
Пришли гурьбою из тюрьмы
К одной могиле одинокой.
Стеснилась грудь тоской жестокой,
И каждый небо вопрошал:
«Зачем он жил, зачем страдал,
Зачем свободы не дождался?»
— *«Чтоб человек не баловался!»* —
Один сказал — и присмирел.
Переглянулись мы уныло,
И тихий ангел пролетел.
Лишь буря, не смолкая, выла
И небо хмурилось. Земли
Добыв лопатою привычной,
Мы помолчали — и пошли.
И жизнь пошла чредой обычной!..

Хотелось мне увидеть мать,
Но что пришлось бы ей сказать?
Кто подтолкнуть не устрашится
Утес, готовый обвалиться,
На плечи брата своего?
Кто скажет ей: «Уж нет его!
Загородись двойною рамой,
Напрасно горниц не студи,
Простись с надеждою упрямой
И на дорогу не гляди!»
Пусть лучше, глядя на дорогу,
Отдаст с надеждой душу богу...
Но люди звери: кто-нибудь
Утес обрушит ей на грудь...

Кто знал его, забыть не может,
Тоска по нем язвит и гложет,
И часто мысль туда летит,
Где гордый мученик зарыт.
Пустыня белая; над гробом
Неталый снег лежит сугробом,
То солнце тусклое блестит,
То туча черная висит,

Встают смерчи, ревут бураны,
Седые стелются туманы,
Восходит день, ложится тьма,
Вороны каркают — и злятся,
Что до костей его добраться
Мешает вечная зима.

1856

ТИШИНА

1

Всё рожь кругом, как степь живая,
Ни зáмков, ни морей, ни гор...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!
За дальним Средиземным морем,
Под небом ярче твоего,
Искал я примиренья с горем,
И не нашел я ничего!
Я там не свой: хандрю, немею,
Не одолев мою судьбу,
Я там погнулся перед нею,
Но ты дохнула — и сумею,
Быть может, выдержать борьбу!

Я твой. Пусть ропот укоризны
За мною по пятам бежал,
Не небесам чужой отчизны —
Я песни родине слагал!
И ныне жадно поверяю
Мечту любимую мою
И в умиленьи посылаю
Всему привет... Я узнаю
Суровость рек, всегда готовых
С грозою выдержать войну,
И ровный шум лесов сосновых,

И деревенек тишину,
И нив широкие размеры...
Храм божий на горе мелькнул
И детски чистым чувством веры
Внезапно на душу пахнул.
Нет отрицанья, нет сомненья,
И шепчет голос неземной:
Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой!
Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Храм воздыханья, храм печали —
Убогий храм земли твоей:
Тяжеле стонов не слыхали
Ни римский Петр, ни Колизей!
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неодолимой
Святое бремя приносил —
И облегченный уходил!
Войди! Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной...

Я внял... я детски умилился...
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетенных, бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарем!

2

Пора! За рожью колосистой
Леса сплошные начались,
И сосен аромат смолистый
До нас доходит... «Берегись!»

Уступчив, добродушно смирен,
Мужик торопится свернуть...
Опять пустынно-тих и мирен
Ты, русский путь, знакомый путь!
Прибитая к земле слезами
Рекрутских жен и матерей,
Пыль не стоит уже столбами
Над бедной родиной моей.
Опять ты сердцу посылаешь
Успокоительные сны,
И вряд ли сам припоминаешь,
Каков ты был во дни войны,—
Когда над Русью безмятежной
Восстал немолчный скрип тележный,
Печальный, как народный стон!
Русь поднялась со всех сторон,
Всё, что имела, отдавала
И на защиту высылала
Со всех проселочных путей
Своих покорных сыновей.
Войска водили офицеры,
Гремел походный барабан,
Скакали бешено курьеры;
За караваном караван
Тянулся к месту ярой битвы —
Свозили хлеб, сгоняли скот.
Проклятья, стоны и молитвы
Носились в воздухе... Народ
Смотрел довольными глазами
На фуры с пленными врагами,
Откуда рыжих англичан,
Французов с красными ногами
И чалмоносных мусульман
Глядели сумрачные лица...
И всё минуло... всё молчит...
Так мирных лебедей станица,
Внезапно спугнута, летит
И, с криком обогнув равнину
Пустынных, молчаливых вод,
Садится дружно на средину
И осторожнее плывет...

3

Свершилось! Мертвые отпеты,
Живые прекратили плач,
Окровавленные ланцеты
Отчистил утомленный врач.
Военный поп, сложив ладони,
Творит молитву небесам.
И севастопольские кони
Пасутся мирно... Слава вам!
Вы были там, где смерть летает,
Вы были в сечах роковых
И, как вдовец жену меняет,
Меняли всадников лихих.

Война молчит — и жертв не просит,
Народ, стекаясь к алтарям,
Хвалу усердную возносит
Смирившим громы небесам.
Народ-герой! в борьбе суровой
Ты не шатнулся до конца,
Светлее твой венец терновый
Победоносного венца!

Молчит и *он*... как труп безглавый,
Еще в крови, еще дымясь;
Не небеса, ожесточась,
Его снесли огнем и лавой:
Твердыня, избранная славой,
Земному грому поддалась!
Три царства перед ней стояло,
Перед одной... таких громов
Еще и небо не метало
С нерукотворных облаков!
В ней воздух кровью напоили,
Изрешетили каждый дом
И, вместо камня, намостили
Ее свинцом и чугуном.
Там по чугунному помосту
И море под стеной течет.
Носили там людей к погосту,
Как мертвых пчел, теряя счет...

Свершилось! Рухнула твердыня,
Войска ушли... кругом пустыня,
Могилы... Люди в той стране
Еще не верят тишине,
Но тихо... В каменные раны
Заходят сизые туманы,
И черноморская волна
Уныло в берег славы плещет...
Над всею Русью тишина,
Но — не предшественница сна:
Ей солнце правды в очи блещет,
И думу думает она.

4

А тройка всё летит стрелой.
Завидев мост полуживой,
Ямщик бывалый, парень русский,
В овраг спускает лошадей
И едет по тропинке узкой
Под самый мост... оно верней!
Лошадки рады: как в подполье,
Прохладно там... Ямщик свистит
И выезжает на приволье
Лугов... родной, любимый вид!
Там зелень ярче изумруда,
Нежнее шелковых ковров,
И, как серебряные блюда,
На ровной скатерти лугов
Стоят озера... Ночью темной
Мы миновали луг поемный,
И вот уж едем целый день
Между зелеными стенами
Густых берез. Люблю их тень
И путь, усыпанный листами!
Здесь бег коня неслышно-тих,
Легко в их сырости приятной,
И веет на душу от них
Какой-то глушью благодатной.
Скорей туда — в родную глушь!

Там можно жить, не обижая
Ни божьих, ни ревижских душ
И труд любимый довершая.
Там стыдно будет унывать
И предаваться грусти праздной,
Где пахарь любит сокращать
Напевом труд однообразный.
Его ли горе не скребет? —
Он бодр, он за сохой шагает.
Без наслажденья он живет,
Без сожаленья умирает.
Его примером укрепись,
Сломившийся под игом горя!
За личным счастьем не гонись
И богу уступай — не споря...

1856—1857

БУНТ

(Живая картина)

...Скачу, как вихорь, из Рязани,
Являюсь: бунт во всей красе,
Не пожалел я крупной брани —
И пали на колени все!

Задавши страху дерзновенным,
Пошел я храбро по рядам
И в кровь коленопреклоненным
Коленом тыкал по зубам...

1857(?)

*

Стихи мои! Свидетели живые
За мир пролитых слез!
Родитесь вы в минуты роковые
Душевных гроз
И бьетесь о сердца людские,
Как волны об утес.

<1858>

*

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России —
Там вековая тишина.
Лишь ветер не дает покою
Вершинам придорожных ив,
И выгибаются дугою,
Целуясь с матерью-землею,
Колосья бесконечных нив...

1857, 1858

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА

Вот парадный подъезд. По торжественным дням,
Одержимый холопским недугом,
Целый город с каким-то испугом
Подъезжает к заветным дверям;
Записав свое имя и званье,
Разъезжаются гости домой,
Так глубоко довольны собой,
Что подумаешь — в том их призванье!
А в обычные дни этот пышный подъезд
Осаждают убогие лица:
Прожектеры, искатели мест,
И преклонный старик, и вдовица.
От него и к нему то и знай по утрам
Всё курьеры с бумагами скачут.
Возвращаясь, иной напевает «трам-трам»,
А иные просители плачут.
Раз я видел, сюда мужики подошли,
Деревенские русские люди,
Помолились на церковь и стали вдали,
Свесив русые головы к груди;
Показался швейцар. «Допусти»,— говорят
С выраженьем надежды и муки.

Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!
Загорелые лица и руки,
Армячишка худой на плечах,
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых
(Знать, брели-то долгонько они
Из каких-нибудь дальних губерний).
Кто-то крикнул швейцару: «Гони!
Наш не любит оборванной черни!»
И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: «Суди его бог!»,
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами...

А владелец роскошных палат
Еще сном был глубоким объят...
Ты, считающий жизнью завидною
Упоение лестью бесстыдною,
Волокитство, обжорство, игру,
Пробудись! Есть еще наслаждение:
Вороти их! в тебе их спасение!
Но счастливые глухи к добру...

Не страшат тебя громы небесные,
А земные ты держишь в руках,
И несут эти люди безвестные
Неисходное горе в сердцах.

Что тебе эта скорбь вопиющая,
Что тебе этот бедный народ?
Вечным праздником быстро бегущая
Жизнь очнуться тебе не дает.
И к чему? Щелкоперов забавою
Ты народное благо зовешь;
Без него проживешь ты со славою
И со славой умрешь!

Безмятежней аркадской идиллии
Закатятся преклонные дни:
Под пленительным небом Сицилии,
В благовонной древесной тени,
Созерцая, как солнце пурпурное
Погружается в море лазурное,
Полосами его золотя,—
Убаюканный ласковым пением
Средиземной волны,— как дитя
Ты уснешь, окружен попечением
Дорогой и любимой семьи
(Ждущей смерти твоей с нетерпением);
Привезут к нам останки твои,
Чтоб почтить похоронною тризною,
И сойдешь ты в могилу... герой,
Втихомолку проклятый отчизною,
Возвеличенный громкой хвалой!..

Впрочем, что ж мы такую особу
Беспокоим для мелких людей?
Не на них ли нам выместить злобу? —
Безопасней... Еще веселей
В чем-нибудь приискать утешенье...
Не беда, что потерпит мужик:
Так ведущее нас провиденье
Указало... да он же привык!
За заставой, в харчевне убогой
Всё пропьют бедняки до рубля
И пойдут, побираясь дорогой,
И застонут... Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;

Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат.
Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлàки идут бечевой!..
Волга! Волга!.. Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля,—
Где народ, там и стон... Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль, исполненный сил,
Иль, судеб повинуясь закону,
Всё, что мог, ты уже совершил,—
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?..

1858

*

(Отрывок)

Ночь. Успели мы всем насладиться.
Что ж нам делать? Не хочется спать.
Мы теперь бы готовы молиться,
Но не знаем, чего пожелать.

Пожелаем тому доброй ночи,
Кто всё терпит, во имя Христа,
Чьи не плачут суровые очи,
Чьи не ропщут немые уста,
Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусства, в науки,
Предаваться мечтам и страстям;
Кто бредет по житейской дороге
В безрассветной, глубокой ночи,
Без понятья о праве, о боге,
Как в подземной тюрьме без свечи...

1858

ПЕСНЯ ЕРЕМУШКЕ

«Стой, ямщик! жара несносная,
Дальше ехать не могу!»
Вишь, пора-то сенокосная —
Вся деревня на лугу.

У двора у постоялого
Только нянюшка сидит,
Закачав ребенка малого,
И сама почти что спит;

Через силу тянет песенку
Да, зевая, крестит рот.
Сел я рядом с ней на лесенку,
Няня дремлет и поет:

«Ниже тоненькой былиночки
Надо голову клонить,
Чтоб на свете сиротиночке
Беспечально век прожить.

Сила ломит и соломушку —
Поклонись пониже ей,
Чтобы старшие Еремушку
В люди вывели скорей.

В люди выдешь, всё с вельможами
Будешь дружество водить,
С молодицами пригожими
Шутки вольные шутить.

И привольная и праздная
Жизнь покатится шутя...»
Эка песня безобразная!
«Няня! дай-ка мне дитя!»

— «На, родной! да ты откудова?»
— «Я проезжий, городской».
— «Покачай; а я покудова
Подремлю... да песню спой!»

— «Как не спеть! спою, родимая,
Только, знаешь, не твою.
У меня своя, любимая...
— Баю-баюшки-баю!

В пошлой лени усыпляющий
Пошлых жизни мудрецов,
Будь он проклят, растлевающий
Пошлый опыт — ум глупцов!

В нас под кровлею отеческой
Не запало ни одно
Жизни чистой, человеческой
Плодотворное зерно.

Будь счастливей! Силу новую
Благородных юных дней
В форму старую, готовую
Необдуманно не лей!

Жизни вольным впечатлениям
Душу вольную отдай,
Человеческим стремлениям
В ней проснуться не мешай.

С ними ты рожден природою —
Возлелей их, сохрани!
Братством, Равенством, Свободою
Называются они.

Возлюби их! на служение
Им отдайся до конца!
Нет прекрасней назначения,
Лучезарней нет венца.

Будешь редкое явление,
Чудо родины своей;
Не холопское терпение
Принесешь ты в жертву ей:

Необузданную, дикую
К угнетателям вражду
И доверенность великую
К бескорыстному труду.

С этой ненавистью правою,
С этой верою святой
Над неправдою лукавою
Грянешь божьею грозой...

И тогда-то...» Вдруг проснулося
И заплакало дитя.
Няня быстро встрепенулася
И взяла его, крестя.

«Покормись, родимый, грудкою!
Сыт?.. Ну, баюшки-баю!»
И запела над малюткою
Снова песенку свою...

1859

ДРУЖЕСКАЯ ПЕРЕПИСКА МОСКВЫ С ПЕТЕРБУРГОМ

1. МОСКОВСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

На дальнем севере,[1] в гиперборейском крае,[2]
Где солнце тусклое, показываясь в мае,
Скрывается опять до лета в сентябре,[3]
Столица новая возникла при Петре.[4]
Возникнув с помощью чухонского народа[5]
Из топей и болот[6] в каких-нибудь два года,
Она до наших дней с Россией не срослась:
В употреблении там гнусный рижский квас,[7]
С немецким языком там перемешан русский,[8]
И над обоими господствует французский,[9]

А речи истинно народный оборот
Там редок столько же, как честный патриот![10]
Да, патриота там наищешься со свечкой:
Подбиться к сильному, прикинуться овечкой,
Местечка теплого добиться, и потом
Безбожно торговать и честью и умом —
Таков там человек! Но впрочем, без сомненья,
Спешу оговорить, найдутся исключенья.
Забота промысла о людях такова,
Что если где растет негодная трава,
Там есть и добрая: вот, например, Жуковский,—
Хоть в Петербурге жил, но был с душой
московской.[11]

Театры[12] и дворцы, Нева и корабли,
Несущие туда со всех сторон земли[13]
Затеи роскоши;[14] музеи просвещенья,
Музеи древностей — «все признаки ученья»
В том городе найдешь; нет одного: души!
Там высох человек,[15] погрязнув в барыши,[16]
Улыбка на устах, а на уме коварность:
Святого ничего — одна утилитарность![17]

Итак, друзья мои! кляну тщеславный град!
Рыдаю и кляну... Прогрессу он не рад.
В то время как Москва надеждами пылает,
Он погружается по-прежнему в разврат
И против гласности стишонки сочиняет!..[18]

2. ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Ты знаешь град,[19] заслуженный и древний,
Который совместил в свои концы
Хоромы, хижины, посады и деревни,
И храмы божии, и царские дворцы?[20]
Тот мудрый град, где, смелый провозвестник
Московских дум и английских начал,
Как водопад бушует «Русский вестник»,[21]
Где «Атеней» как ручеек журчал.[22]

Ты знаешь град? — Туда, туда с тобой
Хотел бы я укрыться, милый мой!
Ученый говорит: «Тот град славнее Рима»,[23]
Прозаик «сердцем родины» зовет,[24]
Поэт гласит «России дочь любима»,[25]
И «матушкою» чествует народ.[26]
Недаром, нет! Невольно брызжут слезы
При имени заслуг, какие он свершил:
В 12-м году такие там морозы
Стояли, что француз досель их не забыл.[27]

Ты знаешь град? — Туда, туда с тобой
Хотел бы я укрыться, милый мой!

Достойный град! Там Минин и Пожарский
Торжественно стоят на площади.[28]
Там уцелел остаток древнебарский
У каждого патриция в груди.[29]
В купечестве, в сословии дворянском
Там бескорыстие, готовность выше мер:[30]
В последней ли войне,[31] в вопросе ли крестьянском[32]
Мы не один найдем тому пример...

Ты знаешь град? — Туда, туда с тобой
Хотел бы я укрыться, милый мой!

Волшебный град! Там люди в деле тихи,
Но говорят, волнуются за двух,[33]
Там от Кремля, с Арбата и с Плющихи
Отвсюду веет чисто русский дух;[34]
Всё взоры веселит, всё сердце умиляет,
На выспренний настраивает лад —
Царь-колокол лежит, царь-пушка не стреляет,[35]
И сорок сороков без умолку гудят.[36]

Волшебный град! — Туда, туда с тобой
Хотел бы я укрыться, милый мой!

Правдивый град! Там процветает гласность,
Там принялись науки семена,[37]
Там в головах у всех такая ясность,[38]
Что комара не примут за слона.
Там, не в пример столице нашей невской,
Подметят всё — оценят, разберут:
Анафеме там предан Ч<ернышевский>[39]
И Кокорева ум нашел себе приют![40]

Правдивый град! — Туда, туда с тобой
Хотел бы я укрыться, милый мой!

Мудреный град! По приговору сейма
Там судятся и люди и статьи;[41]
Ученый Бабст стихами Розенгейма
Там подкрепляет мнения свои,[42]
Там сомневается почтеннейший Киттары,
Уж точно ли не нужно сечь детей?[43]
Там в Хомякове чехи и мадьяры
Нашли певца народности своей.[44]

Мудреный град! — Туда, туда с тобой
Хотел бы я укрыться, милый мой!

Разумный град! Там Павлов Соллогуба,[45]
Байборода Крылова обличил,[46]
Там ***<Шевырев> был поражен сугубо,[47]
Там сам себя Чичерин поразил.[48]
Там что ни муж — то жаркий друг прогресса,[49]
И лишь не вдруг могли уразуметь:
Что на пути к нему вернее — пресса[50]
Или умно направленная плеть?

Разумный град! — Туда, туда с тобой
Хотел бы я укрыться, милый мой!

Серьезный град!.. Науку без обмана,
Без гаерства искусство любят там[51],

Там область празднословного романа
Мужчина передал в распоряженье дам.[52]
И что роман? Там поражают пьянство,[53]
Устами Чаннинга о трезвости поют.[54]
Там люди презирают балаганство
И наш «Свисток» проклятью предают![55]

Серьезный град! — Туда, туда с тобой
Нам страшно показаться, милый мой!

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

[1] 59° 56′ 31″ сев. ш. и 27° 57′ 58″ долг. (См. «Dictionnaire général de biographie et d'histoire, etc.» p. Ch. Desobry et Th. Bachelet[1].) Согласно с ним показывает и «Dictionnaire universel» p. Bouillet[2] 59°56′ сев. ш. и 27°58′ долг. Но в географии Ободовского (стр. 120) показано 59° 57′ сев. ш. и 47° 59′ долг. И после этого еще верят иностранным справочным словарям в сведениях о России!!! На 20° соврали два лучшие справочные словаря, и им ничего! Никто не обращает внимания, даже не отличает ошибку, не предостережет соотечественников от покупки таких словарей!.. А между тем

Какой бы шум вы подняли, друзья,
Когда бы сделал это я! —

как говорит знаменитый баснописец («Басни И. А. Крылова», СПб. 1856, стр. 160).

[2] *Гипербореи* — должно быть, греческое слово, а черт его знает, как говорит Ляпкин-Тяпкин у Гоголя (см. Сочинения Гоголя, т. II, стр. 351). Хорошо еще, если варвары, а может, и того хуже. Впрочем, известно, что греки называли гипербореями все народы, жившие на север от Фракии (Маннерт — «Geographie der Griechen»[3], т. IV, стр. 48). Шведский профессор Олаф Верелий утверждал, что гипербореи жили в Швеции (см. «Atlantica»[4], т. 1, стр. 367). Карамзин говорит, что «мы, русские, также могли бы объявить права свои на сию честь и славу» (Карамзин, т. I, прим. 4). Любопытные могут найти пространные рассуждения о гипер-

---

[1] «Всеобщий биографический и исторический словарь, и т. д.» Ш. Дезобри и Т. Башеле *(франц.)*.— *Ред.*
[2] «Универсальный словарь» Буйе *(франц.)*.— *Ред.*
[3] «География греков» *(нем.)*.— *Ред.*
[4] «Атлантика» *(лат.)*.— *Ред.*

бореях в статьях академиков Байера и Фишера («Mém, de l'Academie des inscript»[1], т. X, стр. 176).

[3] 1 мая солнце в Петербурге восходит в 3 час. 28 мин., а заходит в 8 ч. 26 м. А 13 сентября восходит в 5 ч. 49 м. и заходит в 5 час. 53 мин.; *следовательно, светит только четыре минуты!!!* (см. «Месяцеслов» на 1859 год).

[4] Возникла в 1703 году!

[5] Не одного чухонского, ибо вот историческое свидетельство: «Корелы, олончане, новгородцы (это уж не чухонцы!), также пленные шведы, казаки, татары, калмыки (разве и это чухонцы, московский поэт?) и тысячи разноплеменных (видите ли: *разно племенных*) людей прибыли сюда (к устью Невы), по голосу царя, со всех частей его обширных владений». Так рассказывается о строении Петербурга в «Истории Петра Великого» Ламбина, стр. 319.

[6] «Из тьмы лесов, из топи блат» — стих. Александра Сергеевича (см. Сочинения Пушкина, изд. Исакова, т. II, стр. 304).

[7] Ясно из вывесок на каждой почти мелочной лавочке. (См. об этом также статью Фаддея Булгарина «Петербургская чухонская кухарка» в «Библиотеке для чтения» 1834 года, № 10, и всякий номер «Всякой всячины» в прежней «Северной пчеле».)

[8] Это видно, между прочим, из стихотворения барона Розена «Небосвод», помещенного в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду"», 1837, № XI, и из исследований Фомы Костыги, помещавшихся в «Маяке», 1845 г. Ныне по их следам пошел г. Розенгейм, изобретающий, как недавно мы видели («Отечественные записки», 1860, № 1), слова вроде *скандальности, либеральности* и пр., и г. Лавров в своих философских исследованиях.

[9] Об этом есть любопытная книжечка: «Оставшееся после покойного рассуждение об опасности и вреде, о пользе и выгодах от французского языка, в сравнении его с российским. Москва, в Университетской типографии, 1817». Книга эта редка; но многие мысли, изложенные в ней, можно читать в гораздо более общедоступной статье Н. Ф. Павлова «Вотяки и г. Дюма» («Русский вестник», 1858, № 16).

[10] Совершенная правда! На днях мы видели блистательное доказательство этого неуменья петербургских жителей правильно выражаться по-русски. В протоколе 13-го заседания Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым напечатано в пункте 8 следующее: «Если в каждом образованном человеке значительно развито чувство благородной деликатности, *запрещающей* не только *не напрашиваться* на пособие, но и *стыдливо принимать* пособие добровольное, то оно должно быть еще сильнее развито в человеке, посвятившем себя литературе или науке» (см. «С.-Петербургские» и «Московские ведомости»). Может ли хоть один москвич допустить такое выражение, явно извращающее смысл речи? *Чувство деликатности запрещает не напрашиваться! Запрещает стыдливо принимать!!!* Боже мой! Да где же г. Покровский с своим

---

[1] «Записки Академии надписей» *(франц.)*. — *Ред.*

памятным листком ошибок в русском языке? Где А. Д. Галахов, который так громил, бывало, Греча и Ксенофонта Полевого? Хоть бы он вразумил этих петербургских литераторов, не умеющих писать по-русски со смыслом!!!

[11] Слова поэта нужно ограничить: есть положительное свидетельство о московитстве Жуковского. Так, в речи о значении Жуковского г. Шевырев говорит: «по месту воспитания Жуковский наш» («Москвитянин», 1853, № 2, стр. 79). И далее приводит замечательное обстоятельство: «В стенах Москвы, готовившей себя на костер сожжения за всю землю русскую, Карамзин, от прошедшего возвращаясь к настоящему, в доме графа Растопчина вдохновенно пророчил гибель Наполеону и, сам не будучи в силах сесть на коня и примкнуть к армии, благословил на войну Жуковского» (там же, стр. 84). Плодом этого и вышел «Певец во стане русских воинов», а потом еще и «Певец в Кремле»!..

[12] Закрываются на первой неделе поста (см. афиши).

[13] Стихи Александра Сергеевича (Сочинения, т. II, стр. 305):

...Корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся.

[14] «От роскоши и развращения нравов» пали все древние государства (см. «Всеобщую историю» Кайданова, ч. 1, стр. 8, 11, 23, и пр.).

[15] Не совсем справедливо, даже с московской точки зрения: по исследованиям г. Пейзена (см. «Современник», 1858, № 5), в петербургский порт в 1856 году одного шампанского привезено было 916 287 бутылок!

[16] Доказывается недавним случаем подделки кредитных билетов (см. «С.-Петербургские ведомости», № 55).

[17] Заимствовано из статьи г. Колошина «По поводу американской женщины» — в «Утре», 1859.

[18] Капитальное обвинение против «Свистка», из которого можно бы здесь и цитаты привести, если бы не совестно было говорить о нем степенному исследователю, особенно же трудящемуся на скромном и неблагодарном, но истинно полезном поприще библиографии...

[19] Очевидное подражание гетевскому «Kennst du das Land?» [1].

[20] А это подражание Ф. Н. Глинке, который, обращаясь к Москве, говорит:

Город пышный, город древний!
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,
И хоромы, и дворцы!

---

[1] «Ты знаешь край?» (*нем.*).— *Ред.*

Стихотворение это первоначально было помещено в «Русском вестнике», 1841, № 3, стр. 604—605. Но более известно оно из «Книги для чтения», которую зубрят гимназисты и в которой оно помещается обыкновенно на стр. 229.

21 Не тот «Русский вестник», в котором было напечатано стихотворение Ф. Н. Глинки: этот издавался в 1841 и 1842 годах Гречем, Полевым и Кукольником в Петербурге. И не тот, который Сергеем Николаевичем Глинкою издавался с 1808 по 1824 год и вместо которого по временам выдавалось подписчикам «Новое детское чтение». Нет, тут разумеется «Русский вестник», шумно возникший в 1856 году, предъявивший уже русской публике новые таланты гг. Байбороды, Громеки, Кокорева, Рачинского, Ржевского, Чичерина и пр., и пр., прекративший в России взяточничество, водворивший в душах аглицкое чувство законности, отстаивавший выкуп души крестьянской, проектировавший новую русскую общину и пр. [1].

22 «Атеней», впрочем, пред концом разговорился было и обругал Островского; но, говоря классическим стихом г. Пилянкевича,—

Напрягся — изнемог, потек — и ослабел...

Объявление о его прекращении было последним усилием его мужества: здесь он, как известно, предупредил г. Ламанского с его знаменитою фразою и затем величественно, непонятый, удалился со сцены.

23 Здесь, очевидно, разумеется А. С. Хомяков, ибо никто, кроме его, не может быть у нас назван ученым par excellence [2]: известно, что он писал и о философии («Русская беседа», 1859, № 1), и о санскритском языке («Известия II отделения Академии наук», 1855), и о живописи («Московский сборник», 1847), и о сельских условиях («Москвитянин», 1842, № 6), и о юридических вопросах («Русская беседа», 1858, № 1), словом, обнял все ветви знаний человеческих. Но мы не знаем, чтобы он говорил, что Москва славнее Рима. Напротив, в знаменитом своем стихотворении «России» (которое почему-то, к сожалению, выкинуто из последнего издания «Хрестоматии» Галахова) говорит:

Славней тебя был Рим великий.

Но если значение имени «ученый» расширить, то есть придать его всякому, кто «был учен», то, без всякого сомнения, стих сей относится к г. Шевыреву, который в течение всей своей ученой карьеры до того проводил параллели между Россией и Италией, что наконец стал смешивать принадлежности обеих стран.

24 См., например, многократное повторение этой фразы в предисловии к московскому сборнику «Утру». А если угодно, то можно припомнить и «Молву» 1857 года.

---

[1] Примечание это было у г. Лайбова в четыре листа печатных, с изумительными цитатами и сближениями. Но «Русский вестник» так общеизвестен, что мы решились выкинуть всю эту историю. Г-н Лайбов может это напечатать где хочет. *Прим. ред. «Свистка».*

[2] По преимуществу *(франц.)*.— *Ред.*

[25] Стихи действительного тайного советника Ив. Ив. Дмитриева (Соч. Дмитриева, ч. I, стр. 14):

Москва, России дочь любима!
Где равную тебе сыскать?

[26] В подтверждение этого можно привести стихотворение «Олег», напечатанное в «Молве», 1857, № 31, стр. 358:

Олег, грамматик странный, самый
Род женский с мужеским смешал:
Всем русским городам упрямо
Он Киев матерью назвал.
Но *Киев-матушка* с нуждою
В народную ложилась речь:
Недолго мог он быть главою
И землю русскую стеречь.
Москва поправила ошибку,
Оправдан ею был Олег,
И видим мы, что речь незыбку
Про *мать градов* он древле рек.
Москва за Русь восстала мочно,
Нет счета порванным цепям,
И стала материю, точно,
Она всем русским городам!..

[27] Александр Сергеевич сказал, по уверению М. П. Погодина («Москвитянин», 1841, № 1):

Полезен русскому здоровью
Наш укрепительный мороз.

А известно, «что русскому здорово, то немцу смерть»,— и французу, стало быть, тоже.

[28] Стоят — с 1818 года!

[29] Для примера смотри, хоть в «Молве», замечания К. С. Аксакова о значении Москвы: «В Москве преимущественно идет умственная работа; в ней древнейший русский университет. В ней силен интерес мысли и науки... Здесь пытается мысль выйти на самостоятельную дорогу, и если вновь станет наконец русский ум на свой настоящий путь, и мы, оторвавшаяся часть от русской народности, вновь придем к ней, и просвещение будет народным; то *этою нравственною победою Россия будет обязана деятельности мысли, возникшей в Москве*» («Молва», 1857, № 8). В pendant[1] к этому припомните знаменитую критику г. Рачинского на «Тысячу душ» («Русский вестник», 1858, № 18), обвинявшую этот роман, главное, за то, что Калинович, столь дрянной человек, был студентом Московского университета.

---

[1] Дополнение (*франц.*).— *Р е д.*

[30] Вот один поразительный пример. Г-н Погодин в своих заграничных письмах рассказывает о себе: «Я рассказал Клемму со всеми подробностями о богатом вознаграждении, полученном мною от щедрот русского царя за свое собрание древностей, которое сделалось теперь на веки веков неотъемлемо-сохранною собственностью отечественной науки. Немецкие ученые вне себя от удивления полумильону рублей, который получил русский за свои посильные труды. «Halb million! Potz tausend! Halb million! Das ist prächtig!» [1]. *Признаюсь, с особенным удовольствием и гордостию старался я сообщить это известие кому только мог»* («Москвитянин», 1853, № 16. Отрывок из заграничных писем, стр. 184).

[31] См. патриотические стихотворения гг. Шевырева, М. Дмитриева, К. Павловой, и пр., и пр.

[32] Об этом можно справиться в правительственном акте, который перепечатан, между прочим, и в «Современнике» 1858 года, № 11, «Устройство быта помещичьих крестьян», стр. 17.

[33] Против этого хорошо возражает М. А. Дмитриев в 37-й из «Московских элегий» (Москва, 1858):

Добрая наша Москва! Говорят, что на старости любишь
Сплетни ты слушать, молву распускать...
Нет, уж то время прошло, и молва от тебя не исходит;
Любишь на старости ты только спросить да послушать...

[34] Арбат и Плющиха — улицы в Москве; Кремль — памятник отечественной славы, о котором Ф. Н. Глинка выразился («Русский вестник», 1841, № 3):

Кто, силач, возьмет в охапку
Холм Кремля-богатыря?

Что же касается до «русского духа», то о нем можно получить понятие из объявления об издании «Русской беседы» на 1856 год.

[35] Кто царь-колокол подымет,
Кто царь-пушку повернет?

Стихи того же Ф. Н. Глинки («Русский вестник», 1841, № 3).

[36] Гудят действительно без умолку... И кроме того, по выражению Ф. Н. Глинки (см. там же):

На церквах Москвы старинных
Вырастают дерева!

[37] Принялись и прозябли, ибо после первой публичной лекции г. Бабста в Практической академии (18 января) слушателям долго не давали шуб, как напечатано в 1-м и предпоследнем нумере «Современности». Шубы приехавших слушателей запрятали в отдельную комнату, перемешали порядок нумеров и при разъезде

---

[1] Полмиллиона! Тьфу, пропасть! Полмиллиона! Это великолепно! *(нем.)* — *Ред.*

стали выдавать их по одной сквозь какое-то окошко. Народу было до 400 человек; каково же было на холоду дожидаться? Поднялся ропот; некоторые более нетерпеливые стали громко требовать своих шуб. В это время явился господин, заведывавший там порядком, и, подойдя к одному из претендентов на шубу, сказал с сознанием своего права и достоинства: «Если вы будете требовать вашу шубу, то не получите ее совсем». Эти слова так озадачили прозябшего господина, что он пришел в отчаяние («Современность», № 1, стр. 28).

[38] В 1850 году в Москве был 6691 фонарь (см. «Описание Москвы и ее достопримечательностей» И. Милютина, М., 1850, ч. II, стр. 297).

[39] Здесь разумеется, конечно, г. Чернышевский. В «Москвитянине», 1855, № 13—14, напечатано было о «Современнике»: «„Современник", в котором сегодня позволяется ругать то, что вчера расхваливалось, в котором сегодня скажет дельное слово г. Дружинин, а завтра, может быть, г. Чернышевский напишет тьму безвкусных и безобразных литературных ересей» (статья Аппполона Григорьева «Об отношении современной критики к искусству»).

[40] В «Русском вестнике» (см. 1857, № 22, и так дальше...).

[41] Об этом довольно хорошо было изложено в «Физиологии кружка» («Русский вестник», 1857, № 9).

[42] Это случилось в «Атенее», 1858, № 46, стр. 297. Стихами г. Розенгейма подкрепляет ученый г. Бабст свои возражения какому-то господину, защищавшему откупа.

[43] Теперь уже не сомневается, а отчаивается (см. «Отчет Московской практической академии за 1859 год», стр. 39).

[44] О чехах г. Хомяков пел немало; они тревожат его даже во сне («Русская беседа», 1856, № 1):

О Праге я с грустною думал отрадой,
О Праге мечтал, забываясь сном...

Что касается до мадьяров, то можно назвать мадьярскими разве следующие стихи его (там же):

...На Лабу, Мораву, на дальную Саву,
На Тиссу, на Дриссу, на Драву, Молдаву,
На шумный и синий Дунай...

[45-46] Бесплодны и неблагодарны новые библиографические указания на факты, столь известные.

[47] Под *** здесь можно разуметь (так как дело идет об исторических личностях) или Сигизмунда, или же, что вероятнее, Наполеона, сугубо пораженного морозами и пожарами. Имя Наполеона не входит в стих; но, вероятно, надо читать: *Бонапарт*. Впрочем, можно читать и просто Наполеон, сокращая это слово по примеру знаменитого просодиста нашего, изучившего все сокращения и ударения, г. Шевырева, который в переводе «Валленштейнова

лагеря» (Москва, 1859) пишет для стиха: себе н'уме (стр. 25), послуш'ка (стр. 32), посовет'ать (стр. 59) и пр.

[48] В 1857 году «Русский вестник» говорил (№ 8), что г. Чичерин «начал свое ученое поприще с таким блеском, с каким немногие завершают»; а теперь г. Чичерин пишет в «Нашем времени»! (См. «Наше время», № 1, 1860.)

[49] Одним из таковых является, например, в «Нашем времени» (№ 7) г. А. Забелин, неутомимо старающийся о прогрессе езды по железным дорогам. Так, он говорит: «Бесконечно были бы благодарны все более образованные люди, если бы правительству угодно было приказать выставить на стенах вагонов всех классов печатные объявления, что в вагонах не позволяется занимать лишних мест против билетов, не позволяется возить собак, есть рыбы, сыру, яиц и прочих веществ, распространяющих дурной запах; не позволяется громко разговаривать, петь, свистать и вообще запрещается всякое беспокойство пассажиров; предписывается иметь всевозможное уважение к женщинам всех классов, и потому воспрещаются всякие скандальные разговоры, двусмысленные остроты и шутки. Пьяных вовсе не принимать в вагоны. Все эти и подобные им правила могут не остаться мертвой буквою. Выполняется же теперь очень строго запрещение курить табак, который составляет одно из самых меньших неудобств, теперь встречающихся в вагонах. Мне возразят, что правительству нельзя же быть нянькой народа и следить за каждым его шагом. Конечно, свобода дороже и лучше всего, но что же делать, когда наше общество так дурно воспитано, что еще не умеет ею пользоваться как следует и на свободе делает *всевозможные бесчинства*» (стр. 91). А далее описываются и самые бесчинства: «Около меня уселись какие-то двое стриженых пьяных молодцов вроде купеческих приказчиков, которые *без церемонии вытащили из-под скамьи вонючую рыбу и начали уписывать за обе щеки* (какое, в самом деле, бесчинство!), как будто вагоны назначены быть харчевнями *и как будто наесться досыта какой угодно гадости нельзя было на открытом воздухе или в каком-нибудь другом месте! Наевшись своей рыбы*, они принялись во все пьяное горло *разговаривать о своих делах*» (стр. 92). Далее автор, как горячий поборник прогресса, рассуждает о том, как эти вещи делаются «во всем образованном мире». И как гуманно рассуждает!

[50] Толки о грамотности памятны всем. А относительно телесного наказания, после всех споров, о которых не считаем нужным упоминать, вот что говорится в книжке «Вечера с разговором», недавно изданной в Москве графом Толстым (стр. 13). «Считаю нужным не обязывая общин к *непременному телесному наказанию в известных случаях*, оставить меры взысканий на собственное их усмотрение, лишь бы не превышали законоположений; и они, где можно, заменят его денежным штрафом, тюремным заключением, заработкою, исключением из общины, отдачею в распоряжение правительства и чем-нибудь в этом роде; а где нельзя — там употребят телесное наказание, и если только будет возможно, то употребят его, вероятно, не спрашиваясь ни юристов, ни филантропов, ни антропологов, не меряя длину розог, не подразделяя их на мужские, женские и детские, а просто по пословице: *«душа меру зна-*

ет», то есть ad libitum [1]. По моим, может быть отсталым, понятиям *гораздо полезнее для человечества и прогресса* дать несколько розог одному негодяю, нежели пустить по миру и развращать этим способом целое семейство его». Далее, все *«в пользу человечества и прогресса»*, автор вопиет (разговор VI, стр. 19): «В стране, где лучшее развлечение — медвежья травля! Где лучшая потеха — кулачный бой! Где бурлаки порют суда, ставшие на мель, в полном убеждении, что *«палка — всему голова»*! Где само правительство не находит возможным изгнать из законов плети и шпицрутены,— там не говорите мне о необходимости заменить телесное наказание *в общинах!* — Я никогда не поверю вам!!! — Прогресс — должен быть общий! — Должна быть — общая подготовка, общее умягчение нравов!.. А частности ни к чему не ведут, кроме бед!».

[51] Пространно об этом см. в «Русском вестнике», 1857, № 6, в статье «Биограф-ориенталист» Н. Ф. Павлова.

[52] Каждая книжка «Русского вестника» служит тому подтверждением. (Тут у г. Лайбова были ужасные подробности на трех печатных листах, но мы их выкидываем и оставляем только заключение...) Итак, Вахновская, Кохановская, Нарская, Громека, Ольга Н.**, К. Павлова, Евгения Тур, Щербина, Жадовская, кроме того, по тщательным библиографическим разысканиям,— Тригорский, Криницкий, Марко Вовчок и даже сам Николаенко — вот женщины, украшающие «Русский вестник», и их-то женственное, смягчающее влияние, по всей вероятности, держит его постоянно в том светлом, розовом настроении, которому не мешают даже статьи гг. Ржевского, Безобразова, Бунге, Лешкова и самого Хвольсона.

[53] Там даже родилась, в pendant [2] к стереотипной фразе: «в настоящее время, когда поднято так много общественных вопросов», и пр.— другая, не менее сильная фраза: *«в настоящее время*, когда пьянство приняло такие широкие размеры», и пр. (см. «Московские ведомости», 1859, № 8).

[54] Впрочем, и Чаннингом занялась прежде всего дама — г-жа Евгения Тур («Русский вестник», 1858, № 8), а потом уже и мужская половина «Русского вестника» принялась за него и в прошлом году, в № 7, перевела из него статейку о том, что не должно пьянствовать, и почему не должно.

[55] Здесь, вероятно, заключается указание на заметку, помещенную в 95 № «Московских ведомостей» прошлого года. Теперь кстати будет припомнить ее всю целиком, и с несколькими словами редакции «Ведомостей». Вот какой вид имеет эта заметка:

«Мы получили по поводу распространения трезвости следующее письмо:

М. г., Вы уже имели случай заметить, что, вполне сочувствуя обществам трезвости, вы желали бы, однако, чтобы дело обходилось без шпионства и телесных наказаний, по крайней мере там,

---

[1] Сколько угодно *(лат.)*.— *Ред.*
[2] Дополнение *(франц.)*.— *Ред.*

где помещики, как сословие более образованное, принимают непосредственное участие в этом деле. В свою очередь, вполне соглашаясь с вами, невольно задаешь себе вопрос: неужели это идеал недостижимый, мечта кабинетных людей и теоретиков, и в нашем благословенном отечестве люди вечно будут сечь друг друга, и не только друг друга, но и женщин; сечь по собственному, добровольному соглашению? Вот оно — влияние крепостного права и безграмотности!

А у нас еще есть господа [1], без застенчивости печатающие, что наша литература, занимаясь вопросами о распространении грамотности, о телесных наказаниях и т. п., даже давая гласность некоторым общественным явлениям без прямого указания на лица, собственно, повторяет только то, что и без нее известно. Впрочем, лучшая часть нашего общества умеет ценить этих господ по достоинству, и попытки литературного мальчишества и паясничества убить в литературе всякую живую связь с тою средой, которой она служит органом, никогда не могут иметь успеха. Многие вопросы, порешенные в Западной Европе и знакомые из книг десяти человекам в России, конечно, не могли перейти в общее сознание там, где коренится и упорно держится во всем строе жизни крепостное право со всеми своими неисчислимыми последствиями. Если бы, считая все давно порешенным, наша литература ограничивалась туманными выходками против неаполитанских изгнанников, и т. п., то она утратила бы всякий смысл для русского общества. Это поймет всякий неглупый школьник, а у нас есть литераторы, не понимающие таких простых вещей! До какой степени невозможен успех попыток, о которых я сейчас говорил, показывает уже одно то, что в порядочных журналах Западной Европы решительно не принято иметь балаганные отделы и что мы все, по-видимому, очень хорошо знаем это, а между тем все-таки не можем устоять против искушения — потешить публику и при случае превратить свой журнал в «Весельчака»! Отчего же это? Оттого, что в нашем обществе, даже в обществе литературном, еще не принялось западное понятие о литературе, и общество еще бросается из одной крайности в другую, увлекая за собою и литературу, по крайней мере наименее серьезные ее органы. Примите и пр. *Н. Ч.*»

В заключение, как серьезный и добросовестный библиограф, я должен объявить, что вполне соглашаюсь с мнением г. Н. Ч., в котором, однако, по моим изысканиям и соображениям, никоим образом не следует подозревать г. Н. Чернышевского. Dixi [2].

Н. Лайбов

1859.

---

[1] См. в апрельской книжке «Современника» статью «Русская литература» и балаганный отдел (возобновленный, вероятно, по случаю недавних праздников) под названием «Свисток».

[2] *Я сказал* (*лат.*).— *Ред.*

УБОГАЯ И НАРЯДНАЯ

1

Беспокойная ласковость взгляда,
И поддельная краска ланит,
И убогая роскошь наряда —
Всё не в пользу ее говорит.
Но не лучше ли, прежде чем бросим
Мы в нее приговор роковой,
Подзовем-ка ее да расспросим:
«Как дошла ты до жизни такой?»

Не длинен и не нов рассказ:
Отец ее подьячий бедный,
Таскался писарем в Приказ,
Имел порок дурной и вредный —
Запоем пил — и был буян,
Когда домой являлся пьян.
Предвидя роковую схватку,
Жена малютку уведет,
Уложит наскоро в кроватку
И двери поплотней припрет.
Но бедной девочке не спится!
Ей чудится: отец бранится,
Мать плачет. Саша на кровать,
Рукою подпершись, садится,
Стучит в ней сердце... где тут спать?
Раздвинув завесы цветные,
Глядит на двери запертые,
Откуда слышится содом,
Не шевелится и не дремлет.
Так птичка в бурю под кустом
Сидит — и чутко буре внемлет.
Но как ни буен был отец,
Угомонился наконец,
И стало без него им хуже.
Мать умерла в тоске по муже,
А девочку взяла «Мадам»
И в магазине поселила.
Не очень много шили там,
И не в шитье была там сила...

. . . .

. . . .

2

«Впрочем, что ж мы? нас могут заметить,—
Рядом с ней?!.» И отхлынули прочь...
Нет! тебе состраданья не встретить,
Нищеты и несчастия дочь!
Свет тебя предает поруганью
И охотно прощает другой,
Что торгует собой по призванью,
Без нужды, без борьбы роковой;
Что, поднявшись с позорного ложа,
Разоденется, щеки притрет
И летит, соблазнительно лежа
В щегольском экипаже, в народ —
В эту улицу роскоши, моды,
Офицеров, лореток и бар,
Где с полугосударства доходы
Поглощает заморский товар.
Говорят, в этой улице милой
Всё, что модного выдумал свет,
Совместилось с волшебною силой,
Ничего только русского нет —
Разве Ванька проедет унылый.
Днем и ночью на ней маскарад,
Ей недаром гордится столица.
На французский, на английский лад
Исковеркав нерусские лица,
Там гуляют они, пустоты вековой
И наследственной праздности дети,
Разодетой, довольной толпой...
Ну, кому же расставишь ты сети?
Вышла ты из коляски своей
И на ленте ведешь собачонку;
Стая модных и глупых людей
Провожает тебя вперегонку.
У прекрасного пола тоска,
Чувство злобы и зависти тайной.
В самом деле, жена бедняка,
Позавидуй! эффект чрезвычайный!
Бриллианты, цветы, кружева,
Доводящие ум до восторга,

И на лбу роковые слова:
«Продается с публичного торга!»
Что, красавица, нагло глядишь?
Чем гордишься? Вот вся твоя повесть:
Ты ребенком попала в Париж,
Потеряла невинность и совесть,
Научилась белиться и лгать
И явилась в наивное царство:
Ты слыхала, легко обирать
Наше будто богатое барство.

Да, не трудно! Но должно входить
В этот избранный мир с аттестатом.
Красотой нас нельзя победить,
Удивить невозможно развратом.
Нам известность, нам мода нужна.
Ты красивей была и моложе,
Но, увы! неизвестна, бедна
И нуждалась сначала... О боже!
Твой рассказ о купце разрывал
Нам сердца: по натуре бурлацкой,
Он то ноги твои целовал,
То хлестал тебя плетью казацкой.
Но, по счастию, этот дикарь,
Слабоватый умом и сердечком,
Принялся за французский букварь,
Чтоб с тобой обменяться словечком.
Этим временем ты завела
Рысаков, экипажи, наряды
И прославилась — в моду вошла!
Мы знакомству скандальному рады.
Что за дело, что вся дочиста
Предалась ты постыдной продаже,
Что поддельна твоя красота,
Как гербы на твоем экипаже,
Что глупа ты, жадна и пуста —
Ничего! знатоки вашей нации
Порешили разумным судом,
Что цинизм твой доходит до грации,
Что геройство в бесстыдстве твоем!
Ты у бога детей не просила,
Но ты женщина тоже была,

Ты со скрежетом сына носила
И с проклятьем его родила;
Он подрос — ты его нарядила
И на Невский с собой повезла.
Ничего! Появленье малютки
Не смутило души никому,
Только вызвало милые шутки,
Дав богатую пищу уму.
Удивлялась вся гвардия наша
(Да и было чему, не шутя),
Что ко всякому с словом «папаша»
Обращалось наивно дитя...

И не кинул никто, негодуя,
Комом грязи в бесстыдную мать!
Чувством матери нагло торгуя,
Пуще стала она обирать.
Бледны, полны тупых сожалений
Потерявшие шик молодцы,—
Вон по Невскому бродят как тени
Разоренные ею глупцы!
И пример никому не наука,
Разорит она сотни других:
Тупоумие, праздность и скука
За нее... Но умолкни, мой стих!
И погромче нас были витии,
Да не сделали пользы пером...
Дураков не убавим в России,
А на умных тоску наведем.

23 декабря 1859

ПЛАЧ ДЕТЕЙ

Равнодушно слушая проклятья
В битве с жизнью гибнущих людей,
Из-за них вы слышите ли, братья,
Тихий плач и жалобы детей?

«В золотую пóру малолетства
Всё живое — счáстливо живет,
Не трудясь, с ликующего детства
Дань забав и радости берет.

Только нам гулять не довелося
По полям, по нивам золотым:
Целый день на фабриках колеса
Мы вертим — вертим — вертим!

Колесо чугунное вертится,
И гудит, и ветром обдает,
Голова пылает и кружится,
Сердце бьется, всё кругом идет:
Красный нос безжалостной старухи,
Что́ за нами смотрит сквозь очки,
По стенам гуляющие мухи,
Стены, окна, двери, потолки,—
Всё и все! Впадая в исступленье,
Начинаем громко мы кричать:
«Погоди, ужасное круженье!
Дай нам память слабую собрать!»
Безполезно плакать и молиться —
Колесо не слышит, не щадит:
Хоть умри — проклятое вертится,
Хоть умри — гудит — гудит — гудит!
Где уж нам, измученным в неволе,
Ликовать, резвиться и скакать!
Если б нас теперь пустили в поле,
Мы в траву попадали бы — спать.
Нам домой скорей бы воротиться,—
Но зачем идем мы и туда?..
Сладко нам и дома не забыться:
Встретит нас забота и нужда!
Там, припав усталой головою
К груди бледной матери своей,
Зарыдав над ней и над собою,
Разорвем на части сердце ей...»

<1860>

ПАПАША

Я давно замечал этот серенький дом,
В нем живут две почтенные дамы,
Тишина в нем глубокая днем,
Сторы спущены, заперты рамы.

А вечерней порой иногда
Здесь движенье веселое слышно:
Приезжают сюда господа
И девицы, одетые пышно.
Вот и нынче карета стоит,
В ней какой-то мужчина сидит;
Свищет он, поджидая кого-то,
Да на окна глядит иногда.
Наконец отворились ворота,
И, нарядна, мила, молода,
Вышла женщина...

«Здравствуй, Наташа!
Я уже думал — не будет конца!»
— «Вот тебе деньги, папаша!»
Девушка села, целует отца.
Дверцы захлопнулись, скрылась карета,
И постепенно затих ее шум.
«Вот тебе деньги!» Я думал: что ж это?
Дикая мысль поразила мой ум.
Мысль эта сердце мучительно сжала.
Прочь, ненавистная, прочь!
Что же, однако, меня испугало?
Мать, продающая дочь,
Не ужасает нас... так почему же?..
Нет, не поверю я!.. изверг, злодей!
Хуже убийства, предательства хуже...
Хуже-то хуже, да легче, верней,
Да и понятней. В наш век утонченный
Изверги водятся только в лесах.
Это не изверг, а фат современный —
Фат устарелый, без места, в долгах.
Что ж ему делать? Другого закона,
Кроме дендизма, он в жизни не знал,
Жил человеком хорошего тона
И умереть им желал.
Поздно привык он ложиться,
Поздно привык он вставать,
Кушая кофе, помадиться, бриться,
Ногти точить и усы завивать;
Час или два перед тонким обедом

Невский проспект шлифовать.
Смолоду был он лихим сердцеедом:
Долго ли денег достать?
С шиком оделся, приставил лорнетку
К левому глазу, прищурил другой,
Мигом пленил пожилую кокетку,
И полилось ему счастье рекой.
Сладки трофеи нетрудной победы —
Кровные лошади, повар француз...
Боже! какие давал он обеды —
Роскошь, изящество, вкус!
Подлая сволочь глотала их жадно.
Подлая сволочь?.. о нет!
Всё, что богато, чиновно, парадно,
Кушало с чувством и с толком обед,
Мы за здоровье хозяина пили,
Мы целовалися с ним,
Правда, что слухи до нас доходили...
Что нам до слухов — и верить ли им?
Старый газетчик, в порыве усердия,
Так отзывался о нем:
«Друг справедливости! жрец милосердия!» —
То вдруг облаял потом,—
Верь, чему хочешь! Мы в нем не заметили
Подлости явной: в игре он платил.
Муза! воспой же его добродетели!
Вспомни, он набожен был;
Вспомни, он руку свою тороватую
Вечно раскрытой держал,
Даже Жуковскому что-то на статую
По доброте своей дал!

Счастье, однако, на свете непрочно —
Хуже да хуже с годами дела.
Сил ему много отпущено, точно,
Да красота изменять начала.
Он уж купил три таинственных банки:
Это — для губ, для лица и бровей,
Учетверил благородство осанки
И величавость походки своей;
Ходит по Невскому с палкой, с лорнетом
Сорокалетний герой.

Ходит зимою, весною и летом,
Ходит и думает: «Черт же с тобой,
Город проклятый! Я строен, как тополь,
Счастье найду по другим городам!»
И, рассердясь, покидает Петрополь...
Может быть, ведомо вам,
Что за границей местами есть воды,
Где собирается множество дам —
Милых поклонниц свободы,
Дам и отчасти девиц,
Ежели дам, то в замужстве несчастных;
Разного возраста лиц,
Но одинаково страстных,—
Словом, таких, у которых талант
Жалкою славой прославиться в свете
И за которых Жорж Санд
Перед мыслителем русским в ответе.
Что привлекает их в город такой,
Славный не столько водами,
Сколько азартной игрой
И... но вы знаете сами...
Трудно решить. Говорят,
Годы терпенья и плена,
Тяжких обид и досад
Вдруг выкупает измена;
Ежели так, то целительность вод
Не подлежит никакому сомненью.
Бурно их жизнь там идет,
Вся отдана наслажденью,
Оригинален наряд,—
Дома одеты, а в люди
Полураздеться спешат:
Голые спины и голые груди!
(Впрочем, не к каждой из дам
Эти идут укоризны:
Так, например, только лечатся там
Скромные дочери нашей отчизны...)

Наш благородный герой
Там свои сети раскинул,
Там он блистал еще годик-другой,
Но и оттудова сгинул.

Лет через восемь потом
Он воротился в Петрополь,
Всё еще строен, как тополь,
Но уже несколько хром,
То есть не хром, а немножко
Стала шалить его левая ножка —
Вовсе не гнулась! Шагал
Ею он словно поленом,
То вдруг внезапно болтал
В воздухе правым коленом.
Белый платочек в руке,
Грусть на челе горделивом,
Волосы с бурым отливом —
И ни кровинки в щеке!
Плохо!..
А вкусы так пошлы и грубы,
Дай им красавчика, кровь с молоком...
Волк, у которого выпали зубы,
Бешено взвыл; огляделся кругом
Да и решился... Трудами питаться
Нет ни уменья, ни сил,
В бедности гнусной открыто признаться
Перед друзьями, которых кормил,
И удалиться с роскошного пира —
Нет! добровольно герой
Санктпетербургского модного мира
Не достигает развязки такой.
Молод — так дело женитьбой поправит,
Стар — так игорный притон заведет,
Вексель фальшивый составит,
В легкую службу пойдет...
Славная служба! Наш старый красавец
Чуть не пошел было этой тропой,
Да не годился... Вот этот мерзавец!
Под руку с дочерью! Весь завитой,
Кольца, лорнетка, цепочка вдоль груди...
Плюньте в лицо ему, честные люди!
Или уйдите хоть прочь!
Легче простить за поджог, за покражу —
Это отец, развращающий дочь
И выводящий ее на продажу!..

«Знаем мы, знаем,— да дела нам нет!
Очень горяч ты, любезный поэт!»

Музыка вроде шарманки
Однообразно гудит,
Сонно поют испитые цыганки,
Глупый цыган каблуками стучит.
Около русой Наташи
Пять молодых усачей
Пьют за здоровье папаши.
Кажется, весело ей:
Смотрит спокойно, наивно смеется.
Пусть же смеется всегда!
Пусть никогда не проснется!
Если ж проснется, что будет тогда?
Нож ли ухватит, застонет ли тяжко
И упадет без дыханья, бедняжка,
Сломлена ужасом, горем, стыдом?
Кто ее знает! Не дай только боже
Быть никому в ее коже,—
Звать обнищалого фата отцом!

14 марта 1860

ПЕРВЫЙ ШАГ В ЕВРОПУ

Как дядю моего, Ивана Ильича,
Нечаянно сразил удар паралича,
В его наследственном имении Корсунском,—
Я памятник ему воздвигнул сгоряча,
А души заложил в совете опекунском.

Мои домашние, особенно жена,
Пристали: «Жизнь для нас на родине скучна!»
Кто: «ангел!», кто: «злодей! вези нас за границу!»
Я крикнул старосту Ивана Кузьмина,
Именье сдал ему и — укатил в столицу...

В столице получив немедленно паспо́рт,
Я сел на пароход и уронил за борт
Горячую слезу, невольный дар отчизне...
«Утешься,— прошептал нас увлекавший черт,—
Отраду ты найдешь в немецкой дешевизне»,—

И я утешился... И тут уж недолга
Развязка мрачная: минули мы брега
Священной родины, минули Свинемюнде,
Приехали в Берлин — и обрели врага
В Луизе-Августе-Фернанде-Кунигунде.

Так горничная тварь в гостинице звалась.
Но я предупредить обязан прежде вас,
Что Лидия — моя дражайшая супруга —
Ужасно горяча: как будто родилась
Под небом Африки; в ней дышат страсти юга!

В отечестве она не знала им узды:
Покорно ей вручив правления бразды,
Я скоро подчинил ей волю и рассудок
(В сочельник крошки в рот не брал я до звезды,
Хоть голоду терпеть не может мой желудок),

И всяк за мною вслед во всем ей потакал,
Противоречием никто не раздражал
Из опасенья слез, трагических истерик...
В гостинице, едва я умываться стал,
Вдруг слышу: Лидия бушует, словно Терек.

Я бросился туда. Вот что случилось с ней...
О ужас! о позор! В небрежности своей,
Луиза, Лидию с дороги раздевая,
Царапнула слегка булавкой шею ей,
А Лидия моя, не долго размышляя...

Но что тут говорить? Тут нужны не слова,
Тут громы нужны бы... Недвижна, чуть жива,
Стояла Лидия в какой-то думе новой.
Растрепана коса, поникла голова:
«На натиск пламенный ей был отпор суровый!..»

Слова моей жены: «О друг, Иван Ильич! —
Мне вспомнились тогда.— Здесь грубость, мрак
и дичь,
Здесь жить я не могу — вези меня в Европу!»
Ах, лучше б, душечка, в деревне девок стричь
Да надирать виски безгласному холопу!

1860

ЗНАХАРКА

Знахарка в нашем живет околодке:
На́ воду шепчет; на гуще, на водке

Да на каких-то гадает трава́х.
Просто наводит, проклятая, страх!

Радостей мало — пророчит всё горе;
Вздумал бы плакать — наплакал бы море,

Да — господь милостив! — русский народ
Плакать не любит, а больше поет.

Молвила ведьма горластому парню:
«Эй! угодишь ты на барскую псарню!»

И — поглядят — через месяц всего
По лесу парень орет: «го-го-го!»

Дяде Степану сказала: «Кичишься
Больно ты сивкой, а сивки лишишься,

Либо своей голове пропадать!»
Стали Степана рекрутством пугать:

Вывел коня на базар — откупился!
Весь околоток колдунье дивился.

«Сем-ка! и я понаведаюсь к ней! —
Думает старый мужик Пантелей.—

Что ни предскажет кому: разоренье,
Убыль в семействе, глядишь — исполненье!

Черт у ней, что ли, в дрожжах-то сидит?..»
Вот и пришел Пантелей — и стоит,

Ждет: у колдуньи была уж девица,
Любо взглянуть — молода, полнолица,

Рядом с ней парень — дворовый, кажись,
Знахарка девке: «Ты с ним не вяжись!

Будет твоя особливая доля:
Милые слезы — и вечная воля!»

Дрогнул дворовый, а ведьма ему:
«Счастью не быть, молодец, твоему.

Всё говорить?» — «Говори!» — «Ты зимою
Высечен будешь, дойдешь до запою,

Будешь небритый валяться в избе,
Чертики прыгать учнут по тебе,

Станут глумиться, тянуть в преисподню;
Ты в пузыречек наловишь их сотню,

Станешь его затыкать...» Пантелей
Шапку в охапку — и вон из дверей.

«Что же, старик? Погоди — погадаю!»
Ведьма ему. Пантелей: «Не желаю!

Что нам гадать? Малолетков морочь,
Я погожу пока, чертова дочь!

Ты нам тогда предскажи нашу долю,
Как от господ отойдем мы на волю!»

1860

*

Что ты, сердце мое, расходилося?..
    Постыдись! Уж про нас не впервой
Снежным комом прошла-прокатилася
    Клевета по Руси по родной.
Не тужи! пусть растет, прибавляется,
    Не тужи! как умрем,
Кто-нибудь и об нас проболтается
    Добрым словцом.

1860

*

. . . . . одинокий, потерянный,
Я как в пустыне стою,
Гордо не кличет мой голос уверенный
Душу родную мою.

Нет ее в мире. Те дни миновалися,
Как на призывы мои
Чуткие сердцем друзья отзывалися,
Слышалось слово любви.

Кто виноват — у судьбы не доспросишься,
Да и не всё ли равно?
У моря бродишь: «Не верю, не бросишься! —
Вкрадчиво шепчет оно.—

Где тебе? Дружбы, любви и участия
Ты еще жаждешь и ждешь.
Где тебе, где тебе! — ты не без счастия,
Ты не без ласки живешь...

Видишь, рассеялась туча туманная,
Звездочки вышли, горят?
Все на тебя, голова бесталанная,
Ласковым взором глядят».

1860

ДЕРЕВЕНСКИЕ НОВОСТИ

Вот и Качалов лесок,
Вот и пригорок последний.
Как-то шумлив и легок
Дождь начинается летний,
И по дороге моей,
Светлые, словно из стали,
Тысячи мелких гвоздей
Шляпками вниз поскакали —
Скучная пыль улеглась...
Благодарение богу,

Я совершил еще раз
Милую эту дорогу.
Вот уж запасный амбар,
Вот уж и риги... как сладок
Теплого колоса пар!
— Останови же лошадок!
Видишь: из каждых ворот
Спешно идет обыватель.
Всё-то знакомый народ,
Что ни мужик, то приятель.

«Здравствуйте, братцы!» — «Гляди,
Крестничек твой-то, Ванюшка!»
— «Вижу, кума! погоди,
Есть мальчугану игрушка».
— «Здравствуй, как жил-поживал?
Не понапрасну мы ждали,
Ты таки слово сдержал.
Выводки крупные стали;
Так уж мы их берегли,
Сами ни штуки не били.
Будет охота — пали!
Только бы ноги служили.
Вишь ты лядащий какой,
Мы не таким отпускали:
Словно тебя там сквозь строй
В зиму-то трижды прогнали.
Право, сердечный, чуть жив;
Али неладно живется?»
— «Сердцем я больно строптив,
Попусту глупое рвется.
Ну, да поправлюсь у вас,
Что у вас нового, братцы?»

«Умер третье́водни Влас
И отказал тебе святцы».
— «Царство небесное! Что,
Было ему уж до сотни?»
— «Было и с хвостиком сто.
Чудны дела-то господни!
Не понапрасну продлил

Эдак-то жизнь человека:
Сто лет подушны платил,
Барщину правил полвека!»

«Как урожай?» — «Ничего.
Горе другое: покрали
Много леску твоего.
Мы станового уж звали.
Шут и дурак наголо!
Слово-то молвит, скотина,
Словно как дунет в дупло,
Несообразный детина!
«Стан мой велик, говорит,
С хвостиком двадцать пять тысяч,
Где тут судить, говорит,
Всех не успеешь и высечь!» —
С тем и уехал домой,
Так ничего не поделав:
Нужен-ста тут межевой
Да епутат от уделов!
В Ботове валится скот,
А у солдатки Аксиньи
Девочку — было ей с год —
Съели проклятые свиньи;
В Шахове свекру сноха
Вилами бок просадила —
Было за что... Пастуха
Громом во стаде убило.
Ну уж и буря была!
Как еще мы уцелели!
Колокола-то, колокола —
Словно о пасхе гудели!
Наши речонки водой
Налило на три аршина,
С поля бежала домой,
Словно шальная, скотина:
С ног ее ветер валил.
Крепко нам жаль мальчугана:
Этакой клоп, а отбил
Этто у волка барана!
Стали Волчком его звать —
Любо! Встает с петухами,

Песни начнет распевать,
Весь уберется цветами,
Ходит проворный такой.
Матка его проводила:
«Поберегися, родной!
Слышишь, какая завыла!»
— «Буря-ста мне нипочем,
Я — говорит — не ребенок!»
Да размахнулся кнутом
И повалился с ножонок!
Мы посмеялись тогда,
Так до полден позевали,
Слышим — случилась беда:
«Шли бы: убитого взяли!»
И уцелел бы, да вишь
Крикнул дурак ему Ванька:
«Что ты под древом сидишь?
Хуже под древом-то... Встань-ка!»
Он не перечил — пошел,
Сел под рогожей на кочку,
Ну, а господь и навел
Гром в эту самую точку!
Взяли — не в поле бросать,
Да как рогожу открыли,
Так не одна его мать —
Все наши бабы завыли:
Угомонился Волчок —
Спит себе. Кровь на рубашке,
В левой ручонке рожок,
А на шляпенке венок
Из васильков да из кашки!

Этой же бурей сожгло
Красные Горки: пониже,
Помнишь, Починки село —
Ну и его... Вот поди же!
В Горках пожар уж притих,
Ждали: Починок не тронет!
Смотрят, а ветер на них
Пламя и гонит, и гонит!
Встречу-то поп со крестом,
Дьякон с кадилами вышел,

Не совладали с огнем —
Видно, господь не услышал!..

Вот и хоромы твои,
Ты, чай, захочешь покою?..»
— «Полноте, други мои!
Милости просим за мною...»

Сходится в хате моей
Больше да больше народу:
«Ну, говори поскорей,
Что ты слыхал про свободу?»

1860

ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАВЛЯ, ИЛИ «НЕ В СВОИ САНИ НЕ САДИСЬ»

...О светские забавы!
Пришлось вам поклониться,
Литературной славы
Решился я добиться.

Недолго думал думу,
Достал два автогра́фа
И вышел не без шуму
На путь библиогра́фа.

Шекспировских творений
Составил полный список,
Без важных упущений
И без больших описок.

Всего-то две ошибки
Открыли журналисты.
Как их умы ни гибки,
Как перья ни речисты:

Какую-то «Заиру»
Позднейшего поэта
Я приписал Шекспиру,
Да пропустил «Гамле́та».

Посыпались нападки.
Я пробовал сначала
Свалить на опечатки,
Но вышло толку мало.

Тогда я хвать брошюру!
И тут остался с носом:
На всю литературу
Сочли ее доносом!

Открыли перестрелку,
В своих мансардах сидя,
Попал я в переделку!
Так заяц, пса увидя,

Потерянный метнется
К тому, к другому краю
И разом попадется
Во всю собачью стаю!..

Дней сто не прекращали
Журнальной адской бани,
И даже тех ругали,
Кто мало сыпал брани!

Увы! в родную сферу
С стыдом я возвратился;
Испортил я карьеру,
А славы не добился!..

1860, <1874>

НА ВОЛГЕ

(ДЕТСТВО ВАЛЕЖНИКОВА)

1

. . . .
. . . .

Не торопись, мой верный пес!
Зачем на грудь ко мне скакать?
Еще успеем мы стрелять.

Ты удивлен, что я прирос
На Волге: целый час стою
Недвижно, хмурюсь и молчу.
Я вспомнил молодость мою
И весь отдаться ей хочу
Здесь на свободе. Я похож
На нищего: вот бедный дом,
Тут, может, подали бы грош.
Но вот другой — богаче: в нем
Авось побольше подадут.
И нищий мимо; между тем
В богатом доме дворник-плут
Не наделил его ничем.
Вот дом еще пышней, но там
Чуть не прогнали по шеям!
И, как нарочно, всё село
Прошел — нигде не повезло!
Пуста, хоть выверни суму.
Тогда вернулся он назад
К убогой хижине — и рад,
Что корку бросили ему;
Бедняк ее, как робкий пес,
Подальше от людей унес,
И гложет... Рано пренебрег
Я тем, что было под рукой,
И чуть не детскою ногой
Ступил за отческий порог.
Меня старались удержать
Мои друзья, молила мать,
Мне лепетал любимый лес:
Верь, нет милей родных небес!
Нигде не дышится вольней
Родных лугов, родных полей:
И той же песенкою полн
Был говор этих милых волн.
Но я не верил ничему.
Нет,— говорил я жизни той: —
Ничем не купленный покой
Противен сердцу моему...

Быть может, недостало сил,
Или мой труд не нужен был,

Но жизнь напрасно я убил,
И то, о чем дерзал мечтать,
Теперь мне стыдно вспоминать!
Все силы сердца моего
Истратив в медленной борьбе,
Не допросившись ничего
От жизни ближним и себе,
Стучусь я робко у дверей
Убогой юности моей:
— О юность бедная моя!
Прости меня, смирился я!
Не помяни мне дерзких грез,
С какими, бросив край родной,
Я издевался над тобой!
Не помяни мне глупых слез,
Какими плакал я не раз,
Твоим покоем тяготясь!
Но благодушно что-нибудь,
На чем бы сердцем отдохнуть
Я мог, пошли мне! Я устал,
В себя я веру потерял,
И только память детских дней
Не тяготит души моей...

2

Я рос, как многие, в глуши,
У берегов большой реки,
Где лишь кричали кулики,
Шумели глухо камыши,
Рядами стаи белых птиц,
Как изваяния гробниц,
Сидели важно на песке;
Виднелись горы вдалеке,
И синий бесконечный лес
Скрывал ту сторону небес,
Куда, дневной окончив путь,
Уходит солнце отдохнуть.

Я страха смолоду не знал,
Считал я братьями людей,

И даже скоро перестал
Бояться леших и чертей.
Однажды няня говорит:
«Не бегай ночью — волк сидит
За нашей ригой, а в саду
Гуляют черти на пруду!»
И в ту же ночь пошел я в сад.
Не то чтоб я чертям был рад,
А так — хотелось видеть их.
Иду. Ночная тишина
Какой-то зоркостью полна,
Как будто с умыслом притих
Весь божий мир — и наблюдал,
Что дерзкий мальчик затевал!
И как-то не шагалось мне
В всезрящей этой тишине.
Не воротиться ли домой?
А то как черти нападут
И потащáт с собою в пруд,
И жить заставят под водой?
Однако я не шел назад.
Играет месяц над прудом,
И отражается на нем
Береговых деревьев ряд.
Я постоял на берегу,
Послушал — черти ни гу-гу!
Я пруд три раза обошел,
Но черт не выплыл, не пришел!
Смотрел я меж ветвей дерев
И меж широких лопухов,
Что поросли вдоль берегов,
В воде: не спрятался ли там?
Узнать бы можно по рогам.
Нет никого! Пошел я прочь,
Нарочно сдерживая шаг.
Сошла мне даром эта ночь,
Но если б друг какой иль враг
Засел в кусту и закричал,
Иль даже, спýгнутая мной,
Взвилась сова над головой,—
Наверно б мертвый я упал!
Так, любопытствуя, давил

Я страхи ложные в себе
И в бесполезной той борьбе
Немало силы погубил.
Зато добытая с тех пор
Привычка не искать опор
Меня вела своим путем,
Пока рожденного рабом
Самолюбивая судьба
Не обратила вновь в раба!

3

О Волга! после многих лет
Я вновь принес тебе привет.
Уж я не тот, но ты светла
И величава, как была.
Кругом всё та же даль и ширь,
Всё тот же виден монастырь
На острову, среди песков,
И даже трепет прежних дней
Я ощутил в душе моей,
Заслыша звон колоколов.
Всё то же, то же... только нет
Убитых сил, прожитых лет...

Уж скоро полдень. Жар такой,
Что на песке горят следы,
Рыбалки дремлют над водой,
Усевшись в плотные ряды;
Куют кузнечики, с лугов
Несется крик перепелов.
Не нарушая тишины
Ленивой, медленной волны,
Расшива движется рекой.
Приказчик, парень молодой,
Смеясь, за спутницей своей
Бежит по палубе: она
Мила, дородна и красна.
И слышу я, кричит он ей:
«Постой, проказница, ужо
Вот догоню!..» Догнал, поймал,—

И поцелуй их прозвучал
Над Волгой вкусно и свежо.
Нас так никто не целовал!
Да в подрумяненных губах
У наших барынь городских
И звуков даже нет таких.

В каких-то розовых мечтах
Я позабылся. Сон и зной
Уже царили надо мной.
Но вдруг я стоны услыхал,
И взор мой на берег упал.
Почти пригнувшись головой
К ногам, обвитым бечевой,
Обутым в лапти, вдоль реки
Ползли гурьбою бурлаки,
И был невыносимо дик
И страшно ясен в тишине
Их мерный похоронный крик —
И сердце дрогнуло во мне.

О Волга!.. колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?
Один, по утренним зарям,
Когда еще всё в мире спит
И алый блеск едва скользит
По темно-голубым волнам,
Я убегал к родной реке.
Иду на помощь к рыбакам,
Катаюсь с ними в челноке,
Брожу с ружьем по островам.
То, как играющий зверок,
С высокой кручи на песок
Скачусь, то берегом реки
Бегу, бросая камешки́,
И песню громкую пою
Про удаль раннюю мою...
Тогда я думать был готов,
Что не уйду я никогда
С песчаных этих берегов.
И не ушел бы никуда —

Когда б, о Волга! над тобой
Не раздавался этот вой!

Давно-давно, в такой же час,
Его услышав в первый раз,
Я был испуган, оглушен.
Я знать хотел, что значит он —
И долго берегом реки
Бежал. Устали бурлаки,
Котел с расшивы принесли,
Уселись, развели костер
И меж собою повели
Неторопливый разговор.
«Когда-то в Нижний попадем? —
Один сказал.— Когда б попасть
Хоть на Илью...» — «Авось придем,—
Другой, с болезненным лицом,
Ему ответил.— Эх, напасть!
Когда бы зажило плечо,
Тянул бы лямку, как медведь,
А кабы к утру умереть —
Так лучше было бы еще...»
Он замолчал и навзничь лег.
Я этих слов понять не мог,
Но тот, который их сказал,
Угрюмый, тихий и больной,
С тех пор меня не покидал!
Он и теперь передо мной:
Лохмотья жалкой нищеты,
Изнеможенные черты
И, выражающий укор,
Спокойно-безнадежный взор...

Без шапки, бледный, чуть живой,
Лишь поздно вечером домой
Я воротился. Кто тут был —
У всех ответа я просил
На то, что видел, и во сне
О том, что рассказали мне,
Я бредил. Няню испугал:
«Сиди, родименькой, сиди!

Гулять сегодня не ходи!»
Но я на Волгу убежал.

Бог весть что сделалось со мной?
Я не узнал реки родной:
С трудом ступает на песок
Моя нога: он так глубок;
Уж не мани́т на острова
Их ярко-свежая трава,
Прибрежных птиц знакомый крик
Зловещ, пронзителен и дик,
И говор тех же милых волн
Иною музыкою полн!

О, горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял
На берегу родной реки,
И в первый раз ее назвал
Рекою рабства и тоски!..

Что я в ту пору замышлял,
Созвав товарищей-детей,
Какие клятвы я давал —
Пускай умрет в душе моей,
Чтоб кто-нибудь не осмеял!

Но если вы — наивный бред,
Обеты юношеских лет,
Зачем же вам забвенья нет?
И вами вызванный упрек
Так сокрушительно жесток?..

4

Унылый, сумрачный бурлак!
Каким тебя я в детстве знал,
Таким и ныне увидал:
Всё ту же песню ты поешь,
Всё ту же лямку ты несешь,
В чертах усталого лица
Всё та ж покорность без конца...
Прочна суровая среда,

Где поколения людей
Живут и гибнут без следа
И без урока для детей!
Отец твой сорок лет стонал,
Бродя по этим берегам,
И перед смертию не знал,
Что заповедать сыновьям.
И, как ему,— не довелось
Тебе наткнуться на вопрос:
Чем хуже был бы твой удел,
Когда б ты менее терпел?
Как он, безгласно ты умрешь,
Как он, безвестно пропадешь.
Так заметается песком
Твой след на этих берегах,
Где ты шагаешь под ярмом,
Не краше узника в цепях,
Твердя постылые слова,
От века те же: «раз да два!»
С болезненным припевом «ой»!
И в такт мотая головой...

1860

РЫЦАРЬ НА ЧАС

Если пасмурен день, если ночь не светла,
Если ветер осенний бушует,
Над душой воцаряется мгла,
Ум, бездействуя, вяло тоскует.
Только сном и возможно помочь,
Но, к несчастью, не всякому спится...

Слава богу! морозная ночь —
Я сегодня не буду томиться.
По широкому полю иду,
Раздаются шаги мои звонко,
Разбудил я гусей на пруду,
Я со стога спугнул ястребенка.
Как он вздрогнул! как крылья развил!
Как взмахнул ими сильно и плавно!

Долго, долго за ним я следил,
Я невольно сказал ему: славно!
Чу! стучит проезжающий воз,
Деготьком потянуло с дороги...
Обоняние тонко в мороз,
Мысли свежи, выносливы ноги,
Отдаешься невольно во власть
Окружающей бодрой природы;
Сила юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы
Наполняют ожившую грудь;
Жаждой дела душа закипает,
Вспоминается пройденный путь,
Совесть песню свою запевает...

Я советую гнать ее прочь —
Будет время еще сосчитаться!
В эту тихую, лунную ночь
Созерцанию должно предаться.
Даль глубоко прозрачна, чиста,
Месяц полный плывет над дубровой,
И господствуют в небе цвета
Голубой, беловатый, лиловый.
Воды ярко блестят средь полей,
А земля прихотливо одета
В волны белого лунного света
И узорчатых, странных теней.
От больших очертаний картины
До тончайших сетей паутины,
Что как иней к земле прилегли,—
Всё отчетливо видно: далече
Протянулися полосы гречи,
Красной лентой по скату прошли;
Замыкающий сонные нивы,
Лес сквозит, весь усыпан листвой;
Чудны красок его переливы
Под играющей, ясной луной;
Дуб ли пасмурный, клен ли веселый —
В нем легко отличишь издали;
Грудью к северу, ворон тяжелый —
Видишь — дремлет на старой ели!
Всё, чем может порадовать сына

Поздней осенью родина-мать:
Зеленеющей озими гладь,
Подо льном — золотая долина,
Посреди освещенных лугов
Величавое войско стогов,—
Всё доступно довольному взору...
Не сожмется мучительно грудь,
Если б даже пришлось в эту пору
На родную деревню взглянуть:
Не видна ее бедность нагая!
Запаслася скирдами, родная,
Окружилася ими она
И стоит, словно полная чаша.
Пожелай ей покойного сна —
Утомилась, кормилица наша!..

Спи, кто может,— я спать не могу,
Я стою потихоньку, без шуму
На покрытом стогами лугу
И невольную думаю думу.
Не умел я с тобой совладать,
Не осилил я думы жестокой...

В эту ночь я хотел бы рыдать
　　На могиле далекой,
Где лежит моя бедная мать...

В стороне от больших городов,
Посреди бесконечных лугов,
За селом, на горе невысокой,
Вся бела, вся видна при луне,
Церковь старая чудится мне,
И на белой церковной стене
Отражается крест одинокий.
Да! я вижу тебя, божий дом!
Вижу надписи вдоль по карнизу
И апостола Павла с мечом,
Облаченного в светлую ризу.
Поднимается сторож-старик
На свою колокольню-руину,
На тени он громадно велик:
Пополам пересек всю равнину.

Поднимись! — и медлительно бей,
Чтобы слышалось долго гуденье!
В тишине деревенских ночей
Этих звуков властительно пенье:
Если есть в околотке больной,
Он при них встрепенется душой
И, считая внимательно звуки,
Позабудет на миг свои муки;
Одинокий ли путник ночной
Их заслышит — бодрее шагает;
Их заботливый пахарь считает
И, крестом осенясь в полусне,
Просит бога о ведреном дне.

Звук за звуком гудя прокатился,
Насчитал я двенадцать часов.
С колокольни старик возвратился,
Слышу шум его звонких шагов,
Вижу тень его; сел на ступени,
Дремлет, голову свесив в колени.
Он в мохнатую шапку одет,
В балахоне убогом и темном...
Всё, чего не видал столько лет,
От чего я пространством огромным
Отделен,— всё живет предо мной,
Всё так ярко рисуется взору,
Что не верится мне в эту пору,
Чтоб не мог увидать я и той,
Чья душа здесь незримо витает,
Кто под этим крестом почивает...

Повидайся со мною, родимая!
Появись легкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других.
С головой, бурям жизни открытою,
Весь свой век под грозою сердитою
Простояла ты,— грудью своей
Защищая любимых детей.
И гроза над тобой разразилася!
Ты не дрогнув удар приняла,
За врагов, умирая, молилася,

На детей милость бога звала.
Неужели за годы страдания
Тот, кто столько тобою был чтим,
Не пошлет тебе радость свидания
С погибающим сыном твоим?..

Я кручину мою многолетнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебе мою песню последнюю,
Мою горькую песню спою.
О прости! то не песнь утешения,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну — и ради спасения
Я твою призываю любовь!
Я пою тебе песнь покаяния,
Чтобы кроткие очи твои
Смыли жаркой слезою страдания
Все позорные пятна мои!
Чтоб ту силу свободную, гордую,
Что в мою заложила ты грудь,
Укрепила ты волею твердою
И на правый поставила путь...

Треволненья мирского далекая,
С неземным выраженьем в очах,
Русокудрая, голубоокая,
С тихой грустью на бледных устах,
Под грозой величаво-безгласная,—
Молода умерла ты, прекрасная,
И такой же явилась ты мне
При волшебно светящей луне.
Да! я вижу тебя, бледнолицую,
И на суд твой себя отдаю.
Не робеть перед правдой-царицею
Научила ты музу мою:
Мне не страшны друзей сожаления,
Не обидно врагов торжество,
Изреки только слово прощения,
Ты, чистейшей любви божество!
Что враги? пусть клевещут язвительней,—
Я пощады у них не прошу,

Не придумать им казни мучительней
Той, которую в сердце ношу!
Что друзья? Наши силы неровные,
Я ни в чем середины не знал,
Что обходят они, хладнокровные,
Я на всё безрассудно дерзал,
Я не думал, что молодость шумная,
Что надменная сила пройдет —
И влекла меня жажда безумная,
Жажда жизни — вперед и вперед!
Увлекаем бесславною битвою,
Сколько раз я над бездной стоял,
Поднимался твоею молитвою,
Снова падал — и вовсе упал!..
Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я в тину нечистую
Мелких помыслов, мелких страстей.
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!
Тот, чья жизнь бесполезно разбилася,
Может смертью еще доказать,
Что в нем сердце неробкое билося,
Что умел он любить...

. . . .

(Утром, в постели)

О мечты! о волшебная власть
Возвышающей душу природы!
Пламя юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы —
Всё в душе угнетенной моей
Пробудилось... но где же ты, сила?
Я проснулся ребенка слабей.
Знаю: день проваляюсь уныло,
Ночью буду микстуру глотать,
И пугать меня будет могила,
Где лежит моя бедная мать.

Всё, что в сердце кипело, боролось,
Всё луч бледного утра спугнул,
И насмешливый внутренний голос
Злую песню свою затянул:
«Покорись, о ничтожное племя!
Неизбежной и горькой судьбе,
Захватило вас трудное время
Неготовыми к трудной борьбе.
Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано...»

1860—1862

Т<УРГЕНЕ>ВУ

Мы вышли вместе... Наобум
Я шел во мраке ночи,
А ты... уж светел был твой ум,
И зорки были очи.

Ты знал, что ночь, глухая ночь
Всю нашу жизнь продлится,
И не ушел ты с поля прочь,
И стал ты честно биться.

В великом сердце ты носил
Великую заботу,
Ты как поденщик выходил
До солнца на работу.

Во лжи дремать ты не давал,
Клеймя и проклиная,
И маску дерзостно срывал
С глупца и негодяя.

И что же? луч едва блеснул
Сомнительного света,
Молва гласит, что ты задул
Свой факел... ждешь рассвета.

Наивно стал ты охранять
Спокойствие невежды —
И начал сам в душе питать
Какие-то надежды.

На пылкость юношей ворча,
Ты глохнешь год от года
И к свисту буйного бича
И к ропоту народа.

Щадишь ты важного глупца,
Безвредного ласкаешь
И на идущих до конца
Походы замышляешь.

Кому назначено орлом
Парить над русским миром,
Быть русских юношей вождем
И русских дев кумиром,

Кто не робел в огонь идти
За страждущего брата,
Тому с тернистого пути
Покамест нет возврата.

Непримиримый враг цепей
И верный друг народа,
До дна святую чашу пей,
На дне ее — свобода!

1860 или 1861

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее четырехтомное издание вошли наиболее значительные произведения Н. А. Некрасова. Первые два с половиной тома составляют стихотворения и поэмы, которые сам поэт включал в свои поэтические сборники, а также не опубликованные при жизни Некрасова по цензурным причинам и написанные после выхода последней прижизненной книги поэта. Их тексты печатаются по изданию «Н. А. Некрасов. Полное собрание стихотворений в трех томах» (Л., 1967, «Библиотека поэта»). В третий том входят также драматические произведения: водевиль «Актер» и пьеса «Осенняя скука», имевшие наиболее продолжительную сценическую жизнь. В четвертый том включены прозаические произведения: «Без вести пропавший пиита», «Петербургские углы», «Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и К°», избранные статьи, рецензии и письма. Все они (кроме «Петербургских углов») печатаются по изданию «Н. А. Некрасов. Собрание сочинений в восьми томах» (М., 1965—1967). В примечаниях к каждому произведению указывается место первой публикации, приводятся сведения о творческой и цензурной истории, наиболее интересные и значительные отклики современников, а также разъяснены малоизвестные и забытые имена, события, факты, раскрыты полемические намеки. Даты написания указаны под текстами произведений. Предположительная датировка сопровождается вопросительным знаком. Даты, заключенные в угловые скобки, означают год, не позднее которого написано то или иное произведение. Как правило, это даты первых публикаций. Для произведений, имеющих две редакции, сильно разнящиеся между собой и отделенные значительным промежутком времени, указывается двойная дата. Такие произведения помещены в общем хронологическом ряду в соответствии с датой последней редакции. Исключения составляют отдельные стихотворения (например, «Деловой разговор», «Признания труженика»), которые сам Некрасов относил к более ранним этапам своего творческого пути. Все даты приводятся по старому стилю, лишь для заграничных писем указываются двойные даты (по новому и по старому стилю).

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ
1844—1860

Говорун. Впервые: глава I — «Статейки в стихах», т. 1, СПб., 1843, с. 14—31; глава II — то же издание, т. 2, с. 23—40; глава III — «Литературная газета», 1845, № 2, с. 32—33, под заглавием «Отрывок из записок петербургского жителя», с подписью: «Ф. Белопяткин». До 1864 г. не перепечатывалось в собраниях стихотворений Н. А. Некрасова. В изд. 1864 г. включено в раздел «Юмористические стихотворения 1842—1845 годов», с примечанием Некрасова: «В этой пьесе дело наполовину идет о мелочах, занимавших тогдашнюю петербургскую публику, а теперь потерявших всякий интерес и смысл. Я попробовал было их выкинуть — пьеса лишилась связи, пришлось их оставить... я печатаю эти вирши не потому, чтоб видел в них какое-нибудь достоинство, а чтоб отбить охоту у гг. библиографов копаться в моих юношеских упражнениях после моей смерти». В рецензии на 1-й том «Статеек в стихах» Белинский положительно оценил начало «Говоруна» и отметил, что в первых строфах стихотворения заключена «история жизни многих людей».

Глава I. *Падеде* (па-де-де) — танец вдвоем. *С тех, пор как шутка с «Нашими» пошла и удалась.*— Имеется в виду издание бытоописательных очерков «Наши, описанные с натуры русскими» (редактор А. П. Башуцкий). Издание состояло из 14 выпусков, украшенных политипажами (т. е. отпечатками гравюр на дереве). *Увидишь тут Суворова <...> // Состряпал Полевой.*— Речь идет о книге Н. А. Полевого «История италийского графа Суворова-Рымникского, генералиссимуса российских войск» (СПб., 1843). Издание имело коммерческий характер, получило отрицательный отзыв Белинского и пренебрежительную оценку Некрасова. *Увидишь тут Булгарина.* Булгарин — реакционный журналист и писатель, издатель-редактор официозной газеты «Северная пчела». В 1845 г. появилась эпиграмма на Булгарина, автором которой считают Некрасова:

Он у нас осьмое чудо —
У него завидный нрав.
Неподкупен — как Иуда,
Храбр и честен — как Фальстаф.
С бескорыстностью жидовской,
Как хавронья мил и чист,
Даровит — как Тредьяковский,
Столько ж важен и речист.
Не страшитесь с ним союза,
Не разладитесь никак:
Он с французом — за француза,
С поляком — он сам поляк,
Он с татарином — татарин,
Он с евреем — сам еврей,
Он с лакеем — важный барин,
С важным барином — лакей.
Кто же он? <Фаддей Булгарин,
Знаменитый наш Фаддей.>

И целую компанию // Салопниц и бродяг.— Намек на рассказ Булгарина «Салопница». *Иллюминовано* — раскрашено, расцвечено. *Клот* (Клодт) К. К., *Тимм* В. Ф., *Нетельгорст О. П.*— художники, граверы. *«Жизель»* — балет А. Ш. Адана; в Петербурге был поставлен в 1842 г., партию Жизели исполняла Е. И. Андреянова. В январе 1843 г. в этой роли дебютировала датская танцовщица Люсия Гран. Балетоманы разделились на две враждующие партии поклонников этих танцовщиц. В спор включились газеты. Иронически эта дискуссия отразилась и в «записках» Белопяткина. *Поэма музыкальная* и т. д.— Оценка оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила» совпадает со многими критическими отзывами того времени. В нескольких театральных рецензиях «Литературной газеты» за 1842 г. тоже обыгрывалась *«голова богатыря Полкана, мастерски сделанная»*, которая *«произвела большой эффект. Вообще видно, что опера составлена с головой»*. *Десть* — старинная мера писчей бумаги (24 листа). *Боско* — итальянский фокусник, гастроли которого в Петербурге в 1843 г. имели большой успех. *Цыганы из Москвы* — знаменитый цыганский хор Г. Соколова. *«Соловей»* — романс А. А. Алябьева на слова А. А. Дельвига. Глава II. *Экзекутор* — чиновник, ведавший хозяйственными делами и надзором за внешним порядком в каком-либо государственном учреждении. *Консоляция, малиннцк, на пе* — карточные термины. *Я с час пред умывальником* и т. д.— Эта подглавка распространялась в списках и печаталась в юмористических сборниках как отдельное стихотворение. *Рубини* Д. Б.— знаменитый итальянский певец. Гастролировал в Петербурге в 1843 г. и имел шумный успех. *Лист* Ф.— знаменитый венгерский композитор и пианист. В 1843 г. был в России и выступал с концертами в Петербурге. *Сулье* — артист-наездник; родился во Франции, служил шталмейстером (старшим конюшим) у турецкого султана. Весной и летом 1843 г. Сулье давал со своею труппой цирковое представление — ристалище (конское состязание) на Александровском плацу (сейчас Адмиралтейский проспект). *Прилежно я окидывал заморского кита.*— Чучело кита было выставлено в апреле 1843 г. в балагане Лесира, расположенном близ Александринского театра. *Брамбеус* — псевдоним писателя и журналиста О. И. Сенковского, редактора журнала «Библиотека для чтения». *Контраданс* (контрданс) — бальный танец. *Тюря* — известный тогда в Петербурге игрок на бильярде. Глава III. *Боржия* — главная героиня оперы Г. Доницетти «Лукреция Борджия». *Альбони М.*— итальянская певица. *Гарция*-Виардо (урожденная Гарсиа) — знаменитая французская певица. *Гарнец* — старая мера сыпучих тел, равная 3,28 литра. *Фиглярин* — кличка, данная Булгарину Пушкиным и получившая широкое распространение. *Коллежский асессор* — чин 8-го класса, дававший в то время право потомственного дворянства. *Без вздоров сатирических идет лишь Полевой.*— Имеются в виду псевдопатриотические пьесы Н. А. Полевого, пользовавшиеся успехом в чиновничьей среде. *Подьячий* — мелкий чиновник.

Чиновник. Впервые — «Физиология Петербурга», ч. 2, СПб., 1845, с. 81—93. Об этом стихотворении Белинский писал: «Чиновник» — пиеса в стихах, г. Некрасова, есть одно из тех в высшей степени удачных произведений, в которых мысль, пора-

жающая своею верностью и дельностью, является в совершенно соответствующей ей форме, так что никакой, самый предприимчивый критик не зацепится ни за одну черту, которую мог бы он похулить. Пиеса эта написана в юмористическом духе и верно воспроизводит одно из самых типических лиц Петербурга — чиновника <...>. Эта пиеса — одно из лучших произведений русской литературы 1845 года».

Чихирь — кавказское вино домашнего приготовления. *Породой семинарской.*— В семинариях обучались почти исключительно дети духовенства. Духовенство законами Российской империи считалось привилегированным сословием, однако отношение к нему было преимущественно пренебрежительным. *Галерная* — улица в Петербурге (современное название — Красная). *Консоляция* — штраф в некоторых карточных играх, взымаемый с проигравшего сверх проигрыша. *Ремиз* — карточный термин, недобор установленного числа взяток или штраф за такой недобор. *От «Москвы родной» до Иртыша, // От «финских скал» до «грозного Кавказа»* — перефразировка строк Пушкина: «от Перми до Тавриды, // От финских хладных скал до пламенной Колхиды...» («Клеветникам России»). *Паратый* (поратый) — сильный, быстроногий. *Зато, когда являлася сатира...* и далее.— Чиновник имеет в виду Гоголя и сатириков гоголевской школы. На иллюстрации, помещенной в «Физиологии Петербурга», изображен герой стихотворения, одной рукой указывающий на повесть Гоголя «Шинель», другой — на картину с пейзажем Сибири, По свидетельству С. Т. Аксакова, Федор Толстой («Американец») публично объявил, что Гоголь «враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь». Аксаков пишет и о том, что такое отношение к Гоголю было у многих «особ» Петербурга. Та же тема — ненависть чиновничества к сатирической и обличительной литературе — затронута Некрасовым в стихотворных фельетонах тех лет «Провинциальный подьячий в Петербурге» и «Говорун».

Отрывок. Впервые — «Современник», 1851, № 11, с. 85—86, в фельетоне И. И. Панаева «Заметки Нового поэта о русской журналистике». Сохранились автографы двух самостоятельных редакций этого стихотворения — «Детство» и «Мои детские годы (из признаний Белопяткина)». Подзаголовок последней редакции, тема и ритм связывают все три редакции со стихотворением «Говорун».

Юдоль — жизненный путь, участь (преимущественно печальная). *Идти до Киева* — в Киево-Печерскую лавру.

«Стишки! стишки! давно ль и я был гений?..» Впервые — «Литературная газета», 1845, № 2, в фельетоне Некрасова «Отчеты по поводу нового года». С этим стихотворением в творчество Некрасова входит тема, значительная для русской литературы и критики,— назначение поэзии.

«Избранники небес», «ближний наш» — в этих словах ироническая перекличка с соответствующими строками стихотворения Пушкина «Поэт и толпа».

Новости *(Газетный фельетон).* Впервые — «Литературная газета», 1845, № 9, без подзаголовка. Строки: от *«Уныло мы про-*

ходим жизни путь...» до *«И, словно по профессии, зеваем»* — отсутствовали. Позднее этот отрывок был процитирован в статье «Современные заметки», опубликованной в «Современнике» (1847, № 1) анонимно, написанной в основной своей части И. С. Тургеневым. По цензурным соображениям строка: *«А доблестей — как милостей у бога...»* — была заменена на: *«А доблестей — как в поле муравы...»* (с утратой рифмы), а строка: *«Когда сынком какой-то важной утки»* на: *«Как братом и женой козла и утки». Затем что наши русские мотивы...* и далее — в этих строках отголоски известного суждения Белинского о характере русских песен — народных и художественных — в статье «<Россия до Петра Великого.> Статья II».

Разводы — здесь: смена военных караулов (в старой армии). *И в действии пустом кипящий ум* — перефразировка строк Пушкина: «С его озлобленным умом, кипящим в действии пустом» («Евгений Онегин»). *Почто сия на лицах всех забота?* ... и далее — строки, пародирующие начало стихотворения К. Н. Батюшкова «Умирающий Тасс». *Козье болото, Пески, Выборгская сторона* — тогда окраинные районы Петербурга. *Миллионная* — одна из центральных улиц Петербурга (современное название — улица Халтурина). *До той, которую воспел поэт (Его уж нет)* — очевидно, речь идет о графине А. К. Воронцовой-Дашковой и о Лермонтове, незадолго до своей гибели посвятившем ей стихотворение «К портрету» (1840). *Кессених Л.* — содержательница танцкласса в Петербурге.

Современная ода. Впервые — «Отечественные записки», 1845, № 4, с. 327. «Современную оду» высоко оценил Белинский. В обзоре «Русская литература в 1845 году» он назвал это стихотворение (наряду со стихами «Чиновник» и «Старушка») одним из «счастливых вдохновений таланта».

В дороге. Впервые — Петербургский сборник. СПб., 1846, с. 505—507. При перепечатке в издании 1861 г. цензура не пропустила строку: *«Погубили ее господа»*, и Некрасов был вынужден заменить ее: *«Погубило ее баловство»*. Передовые люди того времени восторженно встретили стихотворение. По воспоминаниям И. И. Панаева, когда Некрасов впервые прочитал «В дороге», «у Белинского засверкали глаза, он бросился к Некрасову, обнял его и сказал чуть не со слезами на глазах: «Да знаете ли вы, что вы поэт — и поэт истинный?». В рецензии на «Петербургский сборник» Белинский писал о помещенных там стихах: «Самые интересные из них принадлежат перу издателя сборника, г. Некрасова. Они проникнуты мыслию; это — не стишки к деве и луне; в них много умного, *дельного* и современного. Вот лучшее из них — «В дороге». Герцен также назвал это стихотворение «превосходным». В 1857 г. Некрасов написал Тургеневу о том, что Герцен «был первый, после Белинского, приветствовавший добрым словом мои стихи (я его записочку ко мне, по выходе «Петербургского сборника», до сей поры берегу)». Аполлон Григорьев видел значение этого произведения не только в том, что оно «совместило, сжало в одну поэтическую форму целую эпоху прошедшего» (т. е. эпоху крепостного права), но и в том, что «это небольшое

стихотворение, как всякое могучее произведение, забрасывало сети и в будущее... Не говорю о его форме, о том, что не подделка под народную речь, а речь человека из народа в нем послышалась...» Современники Некрасова ставили это стихотворение в один ряд с такими произведениями, как «Сорока-воровка» Герцена и «Деревня» Григоровича. В 1847 г. «Московский городской листок» писал: «Деревня» Григоровича и песни Некрасова ярко освещают такие страшные драмы, от которых судорожно сжимается сердце».

Варган — искаженное слово «орган», здесь, вероятно, имеется в виду пианино. *Вальяжный* — представительный. *Баит* — говорит, рассказывает. *Перебрал по ревизии души* — проверил по так называемым ревизским спискам крепостных крестьян. *С запашки ссадил на оброк* — заменил своим крепостным обязательную обработку барской земли ежегодной уплатой денежного обложения — оброка. *Посадили на тягло* — тяглом называли до 1861 года крестьянское хозяйство, двор, семью из мужа, жены и детей. Посадить на тягло — выделить крестьянину, достигшему совершеннолетия, участок, дать самостоятельное хозяйство и взимать с трудоспособных членов его семьи крепостную повинность (барщину или оброк). *Коты* — вид женской обуви, полусапожки. *Патрет* — портрет.

Пьяница. Впервые — Петербургский сборник. СПб., 1846, с. 508—509.

«Отрадно видеть, что находит...» Впервые — Петербургский сборник. СПб., 1846, с. 509—510. Строки: *«Что ты, подлец, меня гнетущий, // Сам лижешь руки подлецу»* — по цензурным причинам были заменены двумя строчками точек, а строка: *«Ты, лоб, как говорится, медный»* печаталась: *«Ты, тонкий плут и лоб не медный»*.

Колыбельная песня *(Подражание Лермонтову)*. Впервые — Петербургский сборник. СПб., 1846, с. 510—511. Перепев «Казачьей колыбельной песни» М. Ю. Лермонтова. Вместо: *«Будешь ты чиновник с виду»* печаталось: *«Будешь ты подьячий с виду»*. В течение двух десятилетий это стихотворение вызывало нескончаемые нападки цензуры. Сразу после его появления в печати шеф жандармов А. Ф. Орлов, требуя наказать цензора, разрешившего публикацию, писал министру народного просвещения С. С. Уварову: «Сочинения подобного рода, по предосудительному содержанию своему, не должны бы одобряться к печатанию». С этого времени в официальных кругах Некрасов приобрел репутацию «неблагонамеренного» писателя. В марте 1848 г. Булгарин, имея в виду «Колыбельную песню» и стихотворение Некрасова «В дороге», писал в III отделение: «Некрасов — самый отчаянный коммунист; стоит прочесть стихи его и прозу в С.-Петербургском альманахе, чтобы удостовериться в этом. Он страшно вопиет в пользу революции». За перепечатку «Колыбельной песни» в полемической статье журнала «Москвитянин» на цензора журнала Ржевского в 1851 г. было наложено взыскание. До 1869 г. Некрасов не мог напечатать это произведение в изданиях своих

«Стихотворений». В 1864 г. цензура исключила его из состава книги на основании того, что «в этом стихотворении заключается едкая ирония на судьбу чиновников: гнуть спину, ползти ужом до хорошего местечка, красть, потом купить дом и сделаться русским дворянином и барином».

Фрак темно-зеленый — чиновничий вицмундир. Положена на музыку А. И. Дюбюком.

«Пускай мечтатели осмеяны давно...» Впервые — «Современник», 1851, № 1, с. 140, под заглавием: «Стихотворение без подписи». Положено на музыку Ц. А. Кюи.

«Я за то глубоко презираю себя...» Впервые — Стихотворения, 1856, с. 162, с подзаголовком «(Из Ларры)», и смягченной по цензурным причинам последней строкой: «*А до дела дойдет — замирает рука*». Ларра Мариано Хосе (1809—1837) — испанский писатель-сатирик, публицист. Стихотворение не является переводом или подражанием. Один из современников Некрасова вспоминал: «На некоторых лирических стихотворениях у Некрасова стоит надпись: «Из Ларры», между тем Ларра не печатал стихов и знаменит своею сатирою в прозе. Некрасова спрашивали: что это значит? Он с усмешкою объяснял, что это с его стороны одна стратегема и ничего больше. «В прежнее время,— говорил он,— иные мои стихотворения не прошли бы, если б я не выдал их за перевод с какого-нибудь малоизвестного языка; а имя Ларры такое звучное и поэтическое: легко поверят, что он писал стихи». Незадолго до смерти на полях корректуры готовящегося издания (вышло в 1879 г.) Некрасов сделал помету: «Неправда. Приписано Ларре по странности содержания. Искреннее. Написано во время гощения у Герцена. Может быть, навеяно тогдашними разговорами. В то время в московском кружке был дух иной, чем в петербургском, т. е. Москва шла более реально, нежели Петербург (см. книгу Станкевича)». «Книга Станкевича» — это А. Станкевич «Тимофей Николаевич Грановский (биографический очерк)», М., 1869. В ней подробно рассказывается о спорах Герцена с Грановским, свидетелем которых был Некрасов. Под впечатлением от этих споров, возможно, и было написано стихотворение. Сослаться на «Былое и думы» Герцена, где тоже говорится о спорах того времени, Некрасов не мог, так как книга эта в России была под запретом. Сам поэт, готовя стихотворение к публикации в издании 1856 г., датировал его 1846 г.; издатель первого посмертного издания С. Пономарев — 1847-м, К. И. Чуковский — 1845-м. Последние исследования подтвердили авторскую датировку.

«Когда из мрака заблужденья...» Впервые — «Отечественные записки», 1846, № 4, с. 403—404. Интимную лирику Некрасова высоко ценил Н. Г. Чернышевский. В письме к поэту от 5 ноября 1856 г. он писал о стихотворениях «Когда из мрака заблужденья...», «Давно, отвергнутый тобою...», «Я посетил твое кладбище...», «Застенчивость», что они «буквально заставляют меня рыдать...» Под влиянием этого стихотворения Н. А. Добролюбов в 1857 г. написал «Не диво доброе влеченье». Положено на музыку А. А. Шахматовым.

Перед дождем. Впервые — сборник «Первое апреля», СПб., 1846, с. 18. Заключительная строка во всех публикациях: *«Ямщику денщик кричит».* Доцензурный вариант восстановлен по рукописным поправкам в экземплярах «Стихотворений» Некрасова, принадлежавших библиографу П. А. Ефремову и переводчику-издателю Н. В. Гербелю, современникам Некрасова, хорошо знавшим поэта.

Таратайка — двухколесная тележка. В таких таратайках перевозили политических заключенных в сопровождении жандарма.

В XX в. неоднократно положено на музыку (В. И. Ребиковым, М. В. Ковалем, Т. Н. Хренниковым).

Огородник. Впервые — «Отечественные записки», 1846, № 4, с. 401—402. По своей поэтике стихотворение сближается с образным строем русских народных песен. Сюжетные параллели исследователи находили в песнях о Ваньке-ключнике и о холопе и барской дочери. Очевидна связь «Огородника» с песнями А. В. Кольцова. Строка *«По торговым селам, по большим городам»* является реминисценцией из стихотворения Кольцова «Что ты спишь, мужичок?»: *«По селам, городам, по торговым людям!»* В новейшем исследовании называется еще один из возможных литературных источников — глава «Перстень» из повести В. А. Соллогуба «Тарантас» (В. Э. Вацуро). В 1857 г. Е. П. Растопчина писала шефу жандармов и главному начальнику III отделения В. А. Долгорукову о революционизирующем воздействии «Огородника» и «Тройки» Некрасова на молодое поколение. Когда в 1859 г. Главное управление цензуры рассматривало вопрос об издании новых стихотворений Некрасова, социальное содержание «Огородника» привлекло пристальное внимание. Высказывались требования исключить стихотворение, так как в последнем четверостишии «изображается в слишком мрачных красках быт русского народа вообще, особенно в отношениях крестьян к помещикам». Стихотворение было названо среди тех произведений Некрасова, которые «по своему демократическому направлению, посевающему вражду между государственными сословиями, <...> должны подлежать непременному исключению». «Огородник» часто публиковался в народных песенниках, неоднократно положен на музыку.

Тройка. Впервые — «Современник», 1847, № 1, с. 91—92, с посвящением И. И. Маслову, человеку, близкому кругу «Отечественных записок» и «Современника». Стихотворение сразу высоко оценили современники. В начале 1847 г. Н. П. Огарев писал Т. Н. Грановскому: «Тройка» Некрасова — чудесная вещь. Я ее читал раз десять». В романе Чернышевского «Что делать?» главная героиня — Вера Павловна «села к фортепьяно и запела «Тройку». Эта песня на слова Некрасова стала чрезвычайно популярной, часто включалась в народные песенники. Стихотворение неоднократно положено на музыку (А. И. Дюбюк, М. В. Коваль и др.).

Корнет — первый офицерский чин в кавалерии.

Родина. Впервые — «Стихотворения». 1856, с. 169—171, под названием «Старые хоромы», с посвящением Валерьяну Па-

насву. В. А. Панаев, инженер корпуса путей сообщения, двоюродный брат писателя И. И. Панаева, соредактора Некрасова по «Современнику». В рукописях имело заглавия: «Старые хоромы (Из записок иппохондрика)» с зачеркнутым посвящением: «В. Г. Б-му» (Белинскому) и «Старое гнездо (с испанского, из Ларры)». Это стихотворение Некрасов намеревался опубликовать в № 2 «Современника» за 1847 г., однако, несмотря на большие купюры и замены отдельных строк: *«Где рой подавленных и трепетных людей // Завидовал житью собак и лошадей»; «Где деспотом бывал, случалося, и я»; «Из дому гаеров, любовниц и псарей»* — оно, вероятно, не было пропущено цензурой. Варианты заглавия и подзаголовки тоже, очевидно, были направлены на отвлечение цензорского внимания. Под заглавием «Родина» и без цензурных искажений стихотворение впервые появилось лишь в 1863 г. В автобиографических заметках Некрасов писал, что «около 1844 г.» принес Белинскому начало стихотворения «Родина». «Белинский пришел в восторг, ему понравились задатки отрицания и вообще зарождение слов и мыслей, которые получили свое развитие в дальнейших моих стихах. Он убеждал продолжать». Некрасов вспоминал, что стихотворение «Родина» он читал при первой встрече Тургеневу. «Я много читал <писал?> стихов, но так написать не могу,— сказал Тургенев,— мне нравятся и мысли, и стих». «Родина» распространялась в списках, перепечатывалась в нелегальных пропагандистских изданиях. В стихотворении запечатлен быт родового поместья Некрасовых, села Грешнева Ярославской губернии, тяжелая обстановка дома отца поэта, «угрюмого невежды».

Тебя уж также нет, сестра души моей!.. и далее — строки о сестре поэта, Елизавете, выданной в 1841 г. замуж за пожилого полковника в отставке С. Г. Звягина и вскоре после того скончавшейся. *Гаер* — шут. *Я к няне убегал ...* и далее — варианты этих стихов: *«О нянях на Руси так много есть стихов, что боже упаси!»* — были полемическим выпадом против стихотворений Пушкина и Языкова, посвященных няне Пушкина — Арине Родионовне Яковлевой. *И праздно дремлет стадо, понурив голову* — вероятно, описка Некрасова. В списках встречается: *«понурив головы»*.

Псовая охота. Впервые — «Современник», 1847, № 2, с. 157—166, с пропуском по цензурным причинам стихов: *«Мы-ста тебя взбутетеним дубьем // Вместе с горластым твоим холуем!»* В стихотворении сатирически описывается одна из любимых помещичьих забав — псовая охота. В фельетонах и водевильных куплетах первой половины 1840-х годов Некрасов разрабатывал эту тему юмористически, в стихотворении «Псовая охота» голос поэта поднимается до социального обличения. Многочисленные реминисценции показывают, что стихотворение Некрасова появилось после знакомства поэта с книгой Н. Реута «Псовая охота» (1846 г.) и статьей А. Венцеславского «О псовой охоте», напечатанной в трех книжках «Журнала коннозаводства и охоты» (за 1846 г.). Оба автора панегирически воспевали развлечение богатых крепостников. Стихотворение пародийно по отношению к этим восторженным описаниям охоты. Пародийность усиливает эпиграф, взятый из книги Реута. Примечания к «Псовой охоте» авторские.

Венгерка — куртка с высокой талией, шнурами по швам и поперечными шнурами для застегивания. *Однопометники* — собаки одного помета, т. е. родившиеся одновременно. *Опекунский совет* — учреждение, которое под залог помещичьих имений выдавало денежные ссуды. Помещики обязаны были выплатить ссуду по частям в определенные сроки. В случае неуплаты заложенное имение отбиралось у помещика и переходило в собственность Опекунского совета. *Крез* (VI в. до н. э.) — царь Лидии, по преданиям, несметно богатый. *Лука* — изгиб края седла. *Барин арапником злобно махнул...* Арапник — длинная ременная плеть, бич, кнут для хлопанья на псовой охоте. В своих воспоминаниях сестра Некрасова А. А. Буткевич приводит эпизод, возможно, предопределивший появление этих строк. Однажды на охоте поэт увидел, как его отец за оплошность одного из крепостных «в порыве гнева наскакал на виноватого и отдул его арапником». Это привело к конфликту и последующему горячему объяснению между отцом и сыном.

«В неведомой глуши, в деревне полудикой...». Впервые — «Современник», 1851, № 11, с. 87—88, в фельетоне «Заметки и размышления Нового поэта по поводу русской журналистики», под заглавием: «К ней», без подписи. В фельетоне эти стихи приводятся как образец творчества одного неизвестного, но «замечательного поэта». В прижизненных изданиях имело мистифицирующий подзаголовок: «Из Ларры». Незадолго до смерти в своем экземпляре «Стихотворений» 1873—1874 гг. Некрасов зачеркнул подзаголовок и, написав новый («Подражание Лермонтову»), сделал пометы на полях: «Подражание Лермонтову. Сравни: Арбенин (в драме «Маскарад»). Не желаю, чтобы эту подделку ранних лет считали как черту моей личности. Был влюблен и козырнул...» Исследователи отмечали, что связь стихотворения с монологом Арбенина довольно отдаленная.

«Так, служба! сам ты в той войне...». Впервые — «Стихотворения», 1856, с. 23—24. Незадолго до смерти, готовя новое издание, поэт сделал помету: «Не люблю этой пьесы, хотя буквально она верна — слышал рассказ очевидца Тучкова (впоследствии московского генерал-губернатора)».

Фузея — (от французского fusil) — ружье.

Нравственный человек. Впервые — «Современник», 1847, № 3, с. 239—240. В журнале вместо: *«Он взял да утопился...»* напечатано: *«Он сделался пьянчужкой...»*. В издании «Стихотворений» 1861 г. цензурой была исключена вся 3-я строфа. Восторженно оценили это стихотворение современники Некрасова. 19 февраля 1847 г. Белинский писал Тургеневу: «Некрасов написал недавно страшно хорошее стихотворение. Если не попадет в печать (а оно назначается в № 3), то пришлю к Вам в рукописи. Что за талант у этого человека! И что за топор его талант!»

«Если, мучимый страстью мятежной...» Впервые — «Современник», 1847, № 7, с. 193.

«Еду ли ночью по улице темной...» Впервые — «Современник», 1847, № 9, с. 153—154. Одно из самых ярких поэтических произведений натуральной школы. Исключительно высоко ценили его современники Некрасова: Тургенев, Чернышевский, Писарев. Тургенев писал Белинскому 14 ноября 1847 г.: «Скажите от меня Некрасову, что его стихотворение в 9-й книжке «Современника» меня совершенно с ума свело; денно и нощно твержу я это удивительное произведение — и уже наизусть выучил». Чернышевский считал, что «Еду ли ночью...» «первое показало: Россия приобретает великого поэта». Иную оценку получило стихотворение в реакционной критике и в цензуре. В рецензии журнала «Москвитянин» Б. Алмазов назвал события, описываемые Некрасовым, «ненормальными, уродливыми явлениями жизни, которых должно избегать в поэзии». Цензор Волков докладывал в своем рапорте: «Нельзя без содрогания и отвращения читать этой ужасной повести! В ней так много безнравственного ... Жаль, что муза г. Некрасова одна из самых мрачных и что он видит все в черном свете...» Положено на музыку.

«Ты всегда хороша несравненно...» Впервые — «Современник», 1850, № 9, с. 44. Неоднократно положено на музыку (А. И. Дюбюк, Ц. А. Кюи и др.).

Вино. Впервые — «Стихотворения», 1856, с. 28—30. До 1863 г. печаталось с цензурными искажениями: опускалось повторяющееся четверостишие: «Не водись-ка на свете вина...» и далее, слово «барин» заменялось на «соцкий» (сотский — низший чин сельской полиции), были исключены упоминания о ноже и топоре. Третья строфа по содержанию перекликается с эпизодом из шестой главы романа Некрасова «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» — «История ежовой головы».

Часть — полицейское управление участка города.

«Поражена потерей невозвратной...» — Впервые — «Современник», 1856, № 5, с. 64, под заглавием «В черный день». На полях своего экземпляра «Стихотворений» 1873 г. Некрасов сделал помету: «Умер первый мой сын — младенцем — в 1848 году». По этой записи условно датируют стихотворение. У Некрасова и А. Я. Панаевой было несколько детей, все они умерли во младенчестве. Положено на музыку.

«Вчерашний день, часу в шестом...». Впервые — «Album de m-me Olga Kozlov». М., 1883, с. 171. В альбоме сопровождалось следующей записью: «Не имея ничего нового, я долго рылся в моих старых бумагах и нашел там исписанный карандашом лоскуток. Я ничего не разобрал (лоскуток, сколько помню, относится к 1848), кроме следующих осьми стихов <...>. Извините, если эти стихи не совсем идут к вашему изящному альбому. Ничего другого я не нашел и не придумал. Ник. Некрасов. 9 ноября 1873 г. СПб.». При жизни поэта опубликовано не было, очевидно, по цензурным причинам.

О. А. Козлова — жена дипломата и поэта-переводчика П. А. Козлова. *Сенная* — площадь в Петербурге, место, где совершались

публичные наказания по приговору суда (сейчас площадь Мира). Наказание кнутом — одно из самых тяжелых телесных наказаний, часто приводившее к смертельному исходу, существовало в России до 1845 г. Это вызывает сомнения в точности авторской датировки.

«Так это шутка? Милая моя...» Впервые — «Современник», 1854, № 1, с. 135—136. Послание к А. Я. Панаевой, находившейся за границей.

«Да, наша жизнь текла мятежно...» Впервые — «Стихотворения», 1856, с. 172—174, с подзаголовком: «(Из Шенье)» и пропуском девяти стихов от: *«И так же ли в одни воспоминанья...»* до: *«Мы были счастливы с тобою?»* Обращено к А. Я. Панаевой.

«Я не люблю иронии твоей...» Впервые — «Современник», 1855, № 11, с. 80. Обращено, вероятно, к А. Я. Панаевой.

На улице. Впервые — «Вор», «Проводы», «Ванька» — «Стихотворения», 1856, с. 25—27; «Гробок» — «Стихотворения», Берлин, 1862, с. 53. Некрасов датировал цикл 1850 г. Не исключено, что в него вошли произведения разных лет. Вор. Ранее похожий эпизод был описан в романе Некрасова и А. Я. Панаевой «Три страны света». *Подчасок* — помощник караульного. Ванька. *«Мерещится мне всюду драма»*. Эта строка восходит к очерку А. И. Герцена «Капризы и раздумье», впервые опубликованному в «Петербургском сборнике», изданном Некрасовым в 1846 г.

«Мы с тобой бестолковые люди...» Впервые — «Современник», 1851, № 11, с. 90. Обращено к А. Я. Панаевой.

Мое разочарование. Впервые — «Современник», 1851, № 5, с. 9 (отдел «Библиография») в рецензии Некрасова на книгу «Раут. Литературный сборник в пользу Александринского детского приюта» (М., 1851). Пародия на помещенный в «Рауте» отрывок из поэмы Каролины Павловой «Кадриль» — «Рассказ Лизы». Героиня поэмы — восторженная молодая девица, изъясняющаяся, по словам рецензента, «тяжелым и старокнижным языком». Разочарование, которое постигает ее, вызвано отказом жениха, узнавшего, что невеста получает в наследство только 60 тысяч. Пародия направлена против культивирования романтической поэзией образа идеальной девы, изолированного от реальной действительности и нежизненного. Еще раньше Некрасов раскрыл эту тему в стихотворении «Женщина, каких много» (опубликовано в 1846 г.).

Юрьевец-Поволъск — город на Волге, близ Кинешмы (сейчас — Юрьевец). *Клио* (греч. миф.) — муза истории. *Гегель* — создатель немецкой диалектической философии. *Жан Поль* — псевдоним немецкого писателя-романтика И.-П.-Ф. Рихтера. *Демосфен* — древнегреческий оратор. *Галич* А. И.— русский философ-идеалист.

Руссо, Во́лтер (Вольтер), *Дидеро* (Дидро) — французские философы. *Глинка* Ф. Н.— поэт, в прошлом декабрист, с конца 1830-х годов сотрудничал в «Москвитянине». В рецензии на «Раут» Некрасов цитирует его стихи в ироническом контексте. *Ричардсон* С.— английский писатель XVIII в.; автор романов «Помела», «Клариса Гарлоу», «История сэра Грандисона». *Декандоль* О. П.— швейцарский ботаник 1-й половины XIX в. *Шамиссо А.*— немецкий писатель-романтик и ученый-натуралист, автор повести «Необычайная история Петера Шлемиля», русский перевод 1841 г. *Мильтон Д.*— английский поэт XVII в., автор поэм «Потерянный рай» и «Возвращенный рай». *Соутэй* Р. (Соути) — английский поэт-романтик, его баллады переводил Жуковский. *Шеллинг* Ф.— немецкий философ-идеалист. *Клопшток* Ф. Г.— немецкий поэт XVIII в., создатель иррационалистического течения в немецкой культуре, автор поэмы «Мессиада». *Тацит* П.— римский писатель-историк. *Ламартин* А.— французский поэт-романтик.

Деловой разговор. Впервые — «Современник», 1851, № 8, с. 11—21, в «Заметках Нового поэта о русской журналистике», под заглавием «Беседа журналиста с подписчиком». В образе журналиста запечатлены черты А. А. Краевского, издателя-редактора журнала «Отечественные записки». Первая редакция, опубликованная в «Современнике», отличалась большей конкретностью и сатирической направленностью по отношению к личности Краевского. Так, после слов «Я больше теоретик» следовало:

Имел я и талант и страсть к литературе,
Но в жертву с юных лет принес всё корректуре!
Бывает жаль теперь, когда завистник мой,
Бездарный кропотун, смеется надо мной,
И нечем отвечать обидной укоризне...
Но пусть не головой полезен я отчизне,
Я всё же доказать фактически могу,
Что в корректуре я себя не берегу!
Я даже был творцом таких нововведений,
Которые должны мой корректурный гений
Потомству передать,— хоть осмеяли их!
Но пусть враги мои твердят, что аккуратность
Мне заменяет честь, талант и деликатность,—
Заслуг не омрачат почетных и прямых!
Кто что ни говори, без верной корректуры
Нет настоящих книг, и нет литературы!..

В этих строках — намек на некоторые орфографические нововведения, которые пытался провести Краевский в своем журнале. Готовя издание стихотворений 1873—1874 гг., Некрасов значительно сократил журнальный вариант, сделав центральный образ — Журналиста — более обобщенным. Не сохранил поэт и концовку произведения. В заключительной сцене первопечатного текста подробно был выписан образ продажного писаки Хрипунова.

О роли петуха в языческом быту, // Значенье кочерги, история ухвата — намек на статьи фольклористов «мифологической

школы», в частности на статью А. Н. Афанасьева «Религиозно-языческое значение избы славянина», напечатанную в № 6 «Отечественных записок» за 1851 г. *«Слова, слова, слова!»* — цитата из трагедии Шекспира «Гамлет». *Вы отзывалися с разумной похвалой // О Пушкине* — имеются в виду статьи Белинского о Пушкине, печатавшиеся в 1840-х гг. в «Отечественных записках».

Новый год. Впервые — «Современник», 1852, № 1, с. 172—173, в статье «Литературный маскарад накануне нового (1852) года. (Заметки Нового поэта)». Строки: «Не пощадил он никого // И не дал людям ничего!» — были заменены точками. Сохранились мемуарные свидетельства о том, что «Новый год» был одним из любимых некрасовских стихотворений В. М. Гаршина. В V главе романа Чернышевского «Что делать?» цитируются стихи из «Нового года». «Дама в трауре» «была за роялем и пела:

Да разлетится горе в прах! —
и разлетится,—
И в обновленные сердца
Да снидет радость без конца,—
так и будет,— это видно...»

За городом. Впервые — «Стихотворения», 1856, с. 155—156, без двух последних стихов, исключенных по цензурным причинам. Библейское выражение *«сильные и сытые земли»* Некрасов заимствовал, вероятно, из знаменитого письма Белинского к Гоголю, где говорилось о пророках, «обличавших в беззаконии сильных земли».

Старики. Впервые — «Современник», 1853, № 1, с. 8.

(Из Гейне) («Ах, были счастливые годы!..») — Впервые — «Современник», 1853, № 1, с. 156. Вольный перевод стихотворения Генриха Гейне «Frau Sorge» из книги «Romanzero». О том, что старуха *«крестит уста»*, в оригинале не говорится. Последний стих не был пропущен цензурой, поэтому концовка стихотворения в журнальной публикации печаталась так: *«Протяжно зевает старуха, // Прикрывши ладонью уста»*. Однако в части тиража Некрасову удалось сохранить: *«Сморкается громко старуха, // Зевает и... уста!»*.

«Блажен незлобивый поэт...» Впервые — «Современник», 1852, № 3, с. 147—148, с датой 25 февраля 1852 г. В публикации 1877 г. указано: «В день смерти Гоголя, 21 февраля 1852». Источником послужило лирическое отступление о двух типах писателей, которым начинается VII глава I тома «Мертвых душ». В истории литературы рассматривается как яркая декларация гоголевского направления. Появление этого стихотворения вызвало протест в реакционном лагере и у сторонников «чистого искусства». Резко отрицательно оценил его критик «Москвитянина» (№ 7—8): «Особенно неприятно читать стихотворение г. Некрасова «Блажен незлобивый поэт», не потому, впрочем, что стих

из рук вон плох (это куда б уж ни шло), а потому, что оно написано на известную тему и по известному поводу», то есть смерть Гоголя. Дружинин, имея в виду ставшую впоследствии знаменитой формулу Некрасова «любить — ненавидя», писал: «При всем нашем добросовестном старании мы с вами ни разу не попробовали любить ненавидя и ненавидеть любя. Этих двух крайностей мы с вами никогда не соглашали». Спустя три года в «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский так разъяснил смысл этих некрасовских строк: «...Никогда «незлобивый поэт» не может иметь таких страстных почитателей, как тот, кто, подобно Гоголю, «питая грудь ненавистью» ко всему низкому, пошлому и пагубному, «враждебным словом отрицанья» против всего гнусного «проповедует любовь» к добру и правде. Кто гладит по шерсти всех и всё, тот, кроме себя, не любит никого и ничего; кем довольны все, тот не делает ничего доброго, потому что добро невозможно без оскорбления зла». Под влиянием только что прочитанного стихотворения Некрасова Тургенев написал статью-некролог о Гоголе, за что по высочайшему повелению был арестован, а затем выслан на жительство в Спасское. Прототипом «незлобивого поэта» называли то Пушкина, то Жуковского. Однако, вероятнее всего, этот образ обобщенный.

Муза. Впервые — «Современник», 1854, № 1, с. 75—76, с цензурными пропусками и искажениями. Отсутствовали стихи: *«Печальной спутницы печальных бедняков, // Рожденных для труда, страданья и оков...»* Замены других строк были вызваны необходимостью устранить такие понятия, как «насилие», «голод» и др. Образ Музы, созданный Некрасовым, полемичен по отношению к пушкинскому образу в стихотворении «Наперсница волшебной старины»:

> Ты, детскую качая колыбель,
> Мой юный слух напевами пленила
> И меж пелен оставила свирель,
> Которую сама заворожила.

Некрасов использует те же мотивы, но они выражают иные идеи и иные эстетические взгляды. 23 ноября 1852 г. Тургенев писал Некрасову, что «первые 12 стихов» «Музы» «отличны и напоминают пушкинскую фактуру». В мае 1856 года Тургенев свидетельствовал: «В Москве твои все последние стихи (особенно «Муза») произвели глубокое впечатление». Стихотворным откликом на появление «Музы» было послание А. Н. Майкова, в котором тот упрекал Некрасова за осквернение поэзии человеческими страданиями, страстями и кровью и призывал «склонить усталый взор к природе». Распространялось в списках.

Прекрасная партия. Впервые — «Библиотека для чтения», 1856, № 10, с. 199—205. С цензурным изъятием четырех стихов, от: *«Есть русских множество семей...»* и т. д.

Он город за женою взял — то есть посредством женитьбы получил доступ в петербургский свет. *Не исключительно луна // Ей*

нравилась в природе. Иронический выпад против романтических характеристик «идеальных» дев в романах и стихах того времени. В сатирическом стихотворении «Женщина, каких много» Некрасов описал этот тип. Его героиня:

Имела взгляд глубокий и печальный.
Сидела под окошком по ночам —
И на луну глядела неотвязно,
Болтала лихорадочно, несвязно...
Торжественно молчала по часам.

Синий чулок — сухая, черствая, утратившая обаяние женщина, целиком поглощенная научными интересами, книгами. *Рубини* — см. примеч. к стих. «Говорун» (с. 321). *Александр Марлинский* — псевдоним А. А. Бестужева, автора ярких романтических повестей. *И Кукольник и Кони* — имена двух популярных в 1830—1840 гг. драматургов, писавших в разных жанрах. Кукольник Н. В. был знаменит тогда своими трагедиями и патриотическими драмами. Кони Ф. А. — водевилист. Он был редактором «Литературной газеты», где в первой половине 1840-х гг. работал Некрасов. *Широкоплечий трагик* — артист Александринского театра В. А. Каратыгин, создавший в героико-романтическом репертуаре того времени эффектные, импозантные образы. *Фора* — возглас в театре, означающий то же, что и «бис». *Зеленая карета* — в каретах темно-зеленого цвета привозили на спектакли воспитанниц театрального училища. *Но ты, к кому души моей...* и далее — строки об актрисе В. Н. Асенковой. Позднее эта тема была раскрыта Некрасовым в стихотворении «Памяти Асенковой» (см. примеч. на с. 339—340). *«Норма»* — опера итальянского композитора В. Беллини, ставившаяся в 1840-е гг. на петербургской сцене. *Манфред* — герой одноименной драматической поэмы Байрона, разочарованный в знаниях, в жизни. *Дюсо* — владелец ресторана в Петербурге. *Ловлас* — персонаж романа Ричардсона «Клариса Гарлоу», соблазнитель женщин. *Кессених* — см. комментарии к стихотворению «Новости» (с. 323).

«О письма женщины, нам милой!..» — Впервые — «Стихотворения», 1856, с. 193—194, под заглавием «Отрывок». По-видимому, принадлежит к группе стихотворений, посвященных А. Я. Панаевой: заключительные строки перекликаются с концовкой обращенного к ней же не опубликованного при жизни Некрасова «Прощанья» (1856 г.).

Буря. Впервые — «Современник», 1850, № 9, с. 41—42. Значительно переработанная редакция — «Стихотворения», 1856, с. 184—185. Положено на музыку (Н. Я. Афанасьев, А. Б. Куракин, В. И. Главач).

Шубка — здесь: сарафан.

Памяти Белинского. Впервые — «Современник», 1855, № 3, с. 86, под заглавием: «Памяти приятеля». Стихотворение написано к пятой годовщине смерти Белинского, однако имя критика запрещено было упоминать в печати, отсюда маскирующее назва-

ние: «Памяти приятеля». На полях экземпляра своих «Стихотворений» Некрасов незадолго до смерти сделал помету: «Известно, что о Белинском нельзя было слова пикнуть». Сразу после появления стихотворения в печати В. Боткин писал Тургеневу: «Скажи Некрасову спасибо за стихи «Памяти приятеля». Они во всех отношениях превосходны»,— но тут же, видимо, из осторожности, вычеркнул эту фразу из письма.

Затеряна давно твоя могила.— Местонахождение могилы Белинского на Волковом кладбище долгое время оставалось неизвестным. См. об этом в поэме Некрасова «В. Г. Белинский» и в первой части стихотворения «О погоде».

Застенчивость. Впервые — «Современник», 1855, № 1, с. 7—8. И. А. Панаев, долгие годы знавший Некрасова, отмечал в своих воспоминаниях автобиографический характер этого стихотворения.

Отрывки из путевых записок графа Гаранского. Впервые — «Стихотворения», 1856, с. 93—96. Все прижизненные публикации — с большими цензурными изъятиями и искажениями. Первоначальное заглавие: «Из путевых заметок по России русского барина, долго жившего за границей», без подзаголовка. О переводе подзаголовка на французский язык Чернышевский писал А. Н. Пыпину: «...Перевод заглавия книги Гаранского на французский язык Некрасов поручил сделать мне; у него оно было написано по-русски; я сделал, но сказал, что я не умею писать по-французски, поэтому надобно показать мой перевод знающему хорошо французский язык; вероятно, будет надобно поправить что-нибудь; через несколько времени вошел Тургенев, мы показали, он поправил». Вскоре после появления «Стихотворений» 1856 г. «Отрывки» вместе с «Поэтом и гражданином» и «Забытой деревней» были перепечатаны в рецензии Чернышевского на сборник, появившейся в «Современнике». Такая подборка наиболее острых публицистических и сатирических стихотворений немедленно привлекла внимание цензуры и к «Современнику» и к вышедшей ранее книге Некрасова. В рапорте министру народного просвещения А. С. Норову цензор Е. Е. Волков писал об этом стихотворении: «Нет сомнения, что автор имел благую цель при сочинении этих отрывков; но едва ли она будет достигнута!... Надо спросить у крестьян, что скажут они, если кто-нибудь из них прочтет эти отрывки? Наверное, можно предположить, что тот не засмеется! ... а скажет вместе с автором: «Жаль, дремлет русский ум»,— и предлагаемую автором «сатиру» примет, пожалуй, за другое слово...» В изд. 1861 и 1863 гг. из-за цензурного запрета «Отрывки» опубликованы не были. Полный текст стихотворения распространялся в списках.

Сертук — сюртук. *Подьячим не дал штрафа* — то есть не нарушил никаких правил.

Филантроп. Впервые — «Современник», 1856, № 2, с. 237—242. Первопечатный текст подвергся значительной автоцензуре. Некрасов вынужден был изменить все стихи, в которых упоминались графский титул и генеральский чин «сиятельного ли-

ца» — филантропа, а также принадлежность главного героя к чиновничеству. Кроме того, были присочинены строфы, в которых описываемое происшествие было отнесено к давно ушедшей «поре подьячества» и восхвалялось «общество благотворителей», принявшее «под свой покров» горемычного искателя справедливости, «ныне благоденствующего». В позднейших публикациях Некрасов постепенно освобождал текст от этих цензурных замен и вставок. В стихотворении «Филантроп» сатирически отражена деятельность петербургского благотворительного Общества посещения бедных. Его покровителями и членами были представители высшей бюрократии и члены царской фамилии. В работе Общества принимали участие петербургские литераторы, председателем был В. Ф. Одоевский. 26 марта 1851 г. в члены общества избирается Некрасов. В одном из автографов «Филантроп» имеет шутливый подзаголовок: «Члену Общества посещения бедных его высокоблагородию Мих. Ник. Лонгинову отставного коллежского секретаря Пучина всенижайшее донесение о причинах, доведших означенного Пучина до крайней степени нищеты, бродяжничества и пьянства». В окончательном тексте Общество посещения бедных не упоминается, но образу филантропа приданы некоторые черты В. Ф. Одоевского: «ангельская» незлобивость, благотворительно-просветительская деятельность, выразившаяся в сочинении и распространении дешевых научно-популярных статей для крестьян (сборник «Сельское чтение»). Сходство с некрасовским персонажем было несомненным и для самого Одоевского. Когда в январе 1860 г. было объявлено, что на вечере в пользу Литературного фонда Некрасов будет читать стихи, в том числе и «Филантропа», Одоевский обратился к поэту с письмом, в котором просил не читать этого стихотворения перед публикой во избежание сплетен и пересудов. Некрасов выполнил эту просьбу. В ответном письме Одоевскому он писал, что поводом для создания «Филантропа» послужил эпизод десятилетней давности. Однажды Некрасов по делу должен был навестить известного писателя В. И. Даля, жившего «на 8-м, кажется, этаже». Поднимаясь, он «очень запыхался и, может быть, сконфузился», и Даль по недоразумению принял его за пьяного. Однако поэт утверждал, что и Даля он не изображал в своем стихотворении — «я вывел черту современного общества — и совесть моя была и остается спокойна». В первой публикации были строки, указывающие на сходство с Далем:

> В русском духе, молодецкая,
> Как по маслу речь текла,
> Хоть фамилия немецкая
> У особы той была.

Позднее поэт их снял. Авторская оценка «Филантропа» содержится в письме к Тургеневу от 17 ноября 1853 г. «... Этой вещи я не почитаю хорошею, но дельною...»

Провиантская комиссия — учреждение, ведавшее продовольственным снабжением армии. *Сорсвнуя* — ревностно занимаясь. *Сократ* — древнегреческий философ. *Экзекутор* — см. прим. к стих. «Говорун» (с. 321). *Гайдук* — здесь: слуга.

В деревне. Впервые — «Современник», 1854, № 11, с. 5—7. с посвящением: «(С. С. Д.)» (вероятно, Степану Семеновичу Дудышкину, в то время — ведущему критику журнала «Отечественные записки»). Стихотворение было ошибочно воспринято некоторыми современниками Некрасова как отклик на смерть царя Николая I, а в образах «расшатавшейся избенки» и «развалившегося овина» видели аллегорическое изображение России времен Крымской войны. Известный критик А. Григорьев писал, что стихотворение имеет «претензию на большую ядовитость». Такое восприятие Некрасов в своих заметках определил как «казус со стих<отворением> «В деревне». Высоко оценили «В деревне» Герцен и Тургенев. В письме к С. Т. Аксакову от 31 мая 1854 г. Тургенев сообщал о том, что Некрасов «написал несколько хороших стихотворений, особенно одно — плач старушки-крестьянки об умершем сыне».

Хозяин-большак — старший в доме, в семье. *Рогатина* — охотничье оружие в виде большого обоюдоострого ножа на длинном древке, применяемое при охоте на медведя. *Тенета* — сеть для ловли зверей.

Признания труженика. Впервые — «Современник», 1854, № 11, с. 103—110 (первая редакция), затем — в сборнике «Для легкого чтения», т. 5 (СПб, 1857) под заглавием: «Труженик. Признания новейшего Фальстафа» (вторая редакция). Настоящий текст (третья редакция — сокращенная, переработанная) был опубликован в «Стихотворениях» изд. 1873—1874 гг. (т. III, ч. 6). 16 октября 1854 г. Некрасов писал Тургеневу: «...голова моя занята шутовским сочинением, которое мне хочется написать для «Ералаша». Через месяц в сатирическом и юмористическом приложении к «Современнику» — «Литературный ералаш» — появилось стихотворение «Признания труженика». Библиограф П. А. Ефремов, входивший в круг людей, близких поэту, утверждал, что в образе «труженика» запечатлены черты литературного критика П. В. Анненкова. В последней редакции стихотворения многие детали, подчеркивающие сходство героя с П. В. Анненковым, устранены, образ получил обобщенное сатирическое звучание.

Или в клуб — имеется в виду Английский клуб в Петербурге, знаменитый, в частности, своими изысканными и дорогостоящими обедами (подробнее об этом см. в поэме «Современники» и комментариях к ней). В первопечатной редакции действие стихотворения было перенесено в Москву, вероятно, цензура усмотрела в тексте намеки, оскорбительные для петербургского Английского клуба, членами которого были многие высокопоставленные лица. *Вечный жид* — герой средневековой христианской легенды, осужденный на вечные скитания. *Авантажен* — привлекательный, видный. *Бурнус* — женское пальто в виде накидки. *Зефир* — легкий ветерок.

Несжатая полоса. Впервые — «Современник», 1855, № 1, с. 27—28. Многократно положено на музыку (В. И. Ребиков, А. Т. Гречанинов, А. А. Спендиаров, Т. Н. Хренников и др.).

Станица — Некрасов сам дал пояснение этому слову в письме к директору Киевской военной гимназии П. Н. Юшенову (см. т. 4).

Влас. Впервые — «Современник», 1855, № 6, с. 329—331. В черновых набросках тема «прегрешений Власа» была разработана подробнее. Вот один из мотивов, устраненный из окончательного текста:

Под замками малолетнюю
Дочь-красавицу держал.
Женихову сваху-сводницу
Приказал по шее гнать.
Мне-де, дура, не работницу
Из-за дочки нанимать.
Подросла — отца покинула.
Влас о ней не потужил...

Интересно, что Некрасов переосмыслил и переделал концовку стихотворения. Заключительные строки в автографе:

И дают ему прохожие —
Грош, копейку, пятачок...
Подавать на храмы божии
Любит русский мужичок!

Историю создания стихотворения рассказывает А. Я. Панаева в своих воспоминаниях: «Некрасов написал стихотворение «Влас» после свидания с одним из бывших крестьян его отца, который был сдан в солдаты, вернулся на родину после продолжительного срока своей службы и, не найдя в живых никого из своего семейства, посвятил остаток своей жизни на собирание пожертвований на построение церкви. Его занесло в Петербург, и он пришел к Некрасову повидаться с ним, с сыном своего бывшего помещика. Некрасов долго беседовал со стариком, попивая с ним чай». Это стихотворение высоко ценил Ф. М. Достоевский. Неоднократно положено на музыку.

Вериги — железные цепи, оковы, которые фанатично верующие люди носили на себе с целью самоистязания. *Света преставление* — в христианских вероучениях — конец, гибель мира. *Хартия* — старинная рукопись, документ.

«Чуть-чуть не говоря: «Ты сущая ничтожность!»...» Впервые — «Стихотворения», 1856, с. 154.

Маша. Впервые — «Современник», 1855, № 3, с. 87—88. Перед тем, как разрешить публикацию стихотворения в журнале, цензор В. Н. Бекетов передал его на просмотр председателю С.-Петербургского цензурного комитета М. Н. Мусину-Пушкину, «...и вот результат,— сообщает он в письме к Некрасову.— 1. Следует изменить слово *казенный*. 2. Заменить другим чем мысли: «Но испорчен он был с малолетства // Изученьем новейших наук».

3. Заменить слово *либерал* другим...» Некрасову пришлось подчиниться, но уже в издании 1861 г. он напечатал стихотворение без цензурных искажений и даже усилил звучание одной из отмененных цензурой строк: *Изученьем опасных наук.*

Свадьба. Впервые — «Современник», 1855, № 11, с. 51—52. Ошибочно считалось, что сюжет «Свадьбы» восходит к поэме английского поэта Д. Крабба «Приходские списки», но установлено, что с поэмой Крабба Некрасов познакомился спустя несколько месяцев после написания «Свадьбы».

Налой (или аналой) — высокий, с покатым верхом столик, на который кладутся богослужебные книги, иконы и др. церковные принадлежности. Во время венчания брачащихся обводят вокруг аналоя. *Ферт* — франт, самодовольный, развязный человек.

«Давно — отвергнутый тобою...». Впервые—«Современник», 1856, № 9, с. 89. Первоначальная редакция:

К***

Измученный бесплодною мольбою,
Я с ней бродил по этим берегам
И, побежден безумною тоскою,
Стремительно приблизился к волнам —
Они неслись и сладкозвучно пели,
На самый край обрыва я ступил,
Но волны вдруг сурово потемнели —
Невольный страх меня оледенил!..
Рука с рукой, любви и счастья полны,
Мы через год пришли на тот обрыв,
И помню: ты благословляла волны,
Сдержавшие безумный мой порыв.

Посылая Тургеневу в письме от 30 июня — 1 июля 1855 г. стихотворение «Давно — отвергнутый тобою...», Некрасов спрашивал: «Скажи — понравятся ли тебе эти стихи...». Тургенев ответил: «Стихи твои «К**» просто пушкински хороши — я их тотчас на память выучил». Посвящено А. Я. Панаевой. Неоднократно положено на музыку (Ц. А. Кюи и др.). В романе Чернышевского «Что делать?» герои исполняют этот романс.

Памяти <Асенков>ой. Впервые — «Современник», 1855, № 9, с. 31—33, под заглавием «Воспоминание (отрывок)». В экземпляре «Стихотворений» 1873 г. на полях против стихотворения «Памяти Асенковой» рукою Некрасова сделана помета: «Актрисе Асенковой, блиставшей тогда. Бывал я у нее, помню похороны,— похожи, говорили тогда, на похороны Пушкина; теперь таких вообще не бывает...»

Асенкова В. Н.— актриса Александринского театра, шесть лет игравшая на петербургской сцене. Умерла от туберкулеза в 1841 г. на 24-м году жизни Ее ранняя смерть вызвала много толков. Передавалась легенда о том, что «высокопоставленные поклонники»,

отвергнутые Асенковой (среди них называли и Николая I), мстили ей клеветой. Не выдержав травли и нравственной пытки, артистка будто бы приняла яд. Похороны Асенковой, очень многолюдные, по словам хроникера «Литературной газеты», явились «своего рода демонстрацией». Современники были очарованы ее игрой. В одной из своих театральных рецензий Белинский писал: «Она играет столь же восхитительно, сколь и усладительно», «очаровывает душу и зрение»; «каждый ее жест, каждое слово возбуждали громкие и восторженные рукоплескания». На молодого Некрасова игра Асенковой произвела сильное впечатление. В стихотворении 1840 г. «Офелия» он запечатлел актрису в одном из лучших трагических образов, созданных ею:

В наряде странность, беспорядок,
Глаза — две молнии во мгле,
Неуловимый отпечаток
Какой-то тайны на челе;
В лице то дерзость, то стыдливость,
Полупечальный, дикий взор,
В движеньях стройность и красивость —
Все чудно в ней!...

Я помню: занавесь взвилась... и далее. Асенкова дебютировала в роли Роксоланы из комедии Фавара «Солиман II, или Три султанши» 21 января 1835 г. Некрасов мог слышать рассказы об этом дебюте, имевшем огромный успех, но «помнить» его поэт не мог: он приехал в Петербург лишь в июле 1838 г.

«Я сегодня так грустно настроен...». Впервые — «Современник», 1855, № 5, с. 136. В стихотворении отразилось тяжелое настроение, вызванное болезнью Некрасова.

Последние элегии. Впервые: 1-я элегия — «Современник», 1853, № 3, с. 120, без заглавия; весь цикл — «Стихотворения», 1856 г. Работу над циклом Некрасов начал в 1853 г. в состоянии тяжелой болезни, закончил — в 1855 г. в период новой вспышки той же болезни. В стихотворении Н. А. Добролюбова «Рыцарь без страха и упрека (Современная элегия)» отчасти пародируются мотивы 1-й и 2-й элегий этого цикла.

«Праздник жизни — молодости годы...». Впервые — «Современник», 1856, № 8, с. 206, под заглавием «Сознание». В «Стихотворениях» 1856 г. напечатано с посвящением Николаю Боткину (брат литератора В. П. Боткина, путешественник). В автографе концовка стихотворения была иная, вместо шестой строфы следовали еще две:

Та любовь, что умножает муки,
Над чужим страданьем слезы льет,
Вырывает ненависти звуки
И венцы железные кует,

Та любовь, что много так сулила,
Что на миг высоко вознесла
И потом навеки придавила
И под сором жизни погребла...

Переделка сделала конец стихотворения более энергичным и социально заостренным. Но в кружке «Современника» она была принята не всеми. Стоявший на позициях «чистого искусства» В. П. Боткин писал Тургеневу 5 августа 1855 г.: «Представь себе, Некрасов последнюю строфу своего прекрасного стихотворения «К своим стихам», с которого я взял у тебя список,— переменил. Вышла дидактика, к которой он стал так склоняться теперь. Я разумею последнюю строфу, начинающуюся: «Та любовь etc.».

«Нет в тебе поэзии свободной, // Мой суровый, неуклюжий стих!..» Чернышевский, несогласный с выраженной этими стихами мыслью, писал Некрасову 24 сентября 1856 г.: «В этом и состоит свобода, чтобы каждый делал то, что требуется его натурою. Ваша натура имеет две потребности — одна выражается пьесою «Давно — отвергнутый тобою» и некоторыми другими; другая — большею частью Ваших пьес. Из них ни одна не писана против влечения натуры — стало быть, талант ваш одинаково свободен в том и другом случае. Теперь: тяжелый и неуклюжий стих. Тяжестью часто кажется энергия... То же скажу я и о Вас. В чем состоит неуклюжесть Вашего стиха, я решительно не понимаю...»

«Безвестен я. Я вами не стяжал...». Впервые — «Стихотворения», 1856, с. 136, без последнего стиха.

Извозчик. Впервые — «Современник», 1855, № 5, с. 132—135. Сюжет, легший в основу стихотворения, был известен в литературе 1830—1840-х годов и в устных историях. Однако у большинства писателей, обращавшихся к нему, развязка рассказа была благополучной. Купец, утерявший деньги, вознаграждает извозчика (так, в повести Н. А. Полевого «Мешок с золотом», рассказе В. П. Бурнашова «Мешок с полуимпериалами», очерке Ф. В. Булгарина «Извозчик-ночник»). Трагическая развязка — самоубийство извозчика — только в рассказе М. П. Погодина «Психологическое явление» (позднейшее окончательное заглавие «Корыстолюбивец», указывающее на причину гибели героя — жадность). Между тем основной смысл стихотворения Некрасова — социальный, антикрепостнический. Но в первой публикации из-за цензурных препятствий поэт был вынужден устранить мысль о крепостной неволе, как причине самоубийства Ванюхи. Вместо: *«Прежде выкупись на волю, // Да потом хватай!»*, печаталось: *«Денег наживи, Ванюша, //Да женись!» — кричит ...»*

Ражий — здоровый, крепкого сложения. *Грязна́я* — улица в Петербурге (сейчас — улица Марата), на которой находились извозчичьи дворы.

«Тяжелый крест достался ей на долю...». Впервые — «Стихотворения», 1856, с. 131—132. Посвящено А. Я. Панаевой и отражает настроения Некрасова во время обострения

болезни весною 1855 г. По воспоминаниям М. П. Краснова, секретаря Чернышевского, стихотворение «Тяжелый крест» Чернышевский в разговоре с ним назвал «лучшим лирическим произведением на русском языке». Неоднократно положено на музыку.

Секрет *(Опыт современной баллады)*. Впервые — начало второй части (4 строфы) «Современник», 1851, № 11, с. 89, в «Заметках и размышлениях Нового поэта о русской журналистике», под заглавием «Великий человек»; полностью — «Современник», 1856, № 8, с. 203, с датой «1846», возможно, для того, чтобы цензура не искала намеков на современные явления.

Юфть — сорт кожи. *Анну с короною* — эти слова в журнальной публикации и в издании «Стихотворений» 1856 и 1861 гг. были заменены точками, так как с цензурной точки зрения были предосудительными строки о том, что высоким орденом — Анной с короною — был награжден вор и подлец.

На родине. Впервые — «Стихотворения», 1856, с. 183, с цензурной купюрой: слово *«рабами»* было заменено точками. В автобиографических заметках, записанных в 1877 г. под диктовку Некрасова сестрой поэта А. А. Буткевич, есть слова: «Судьбе угодно было, чтобы я пользовался крепостным хлебом только до 16 лет, далее я не только никогда не владел крепостными, но, будучи наследником своих отцов, имевших родовые поместья, не был ни одного дня даже владельцем клочка родовой земли... Я когда-то написал:

Хлеб полей, возделанных рабами,
Нейдет мне впрок...

Написав этот стих еще почти в детстве, может быть, я желал оправдать его на деле». Неоднократно положено на музыку (Ц. А. Кюи и др.).

В больнице. Впервые — «Современник», 1855, № 10, с. 122. Анализ черновиков Некрасова дал основания К. И. Чуковскому рассматривать «В больнице» как вступление к поэме «В. Г. Белинский». По первоначальному замыслу стихотворение в основной своей части должно было строиться как обращенная к друзьям «предсмертная честная речь» умирающего в подвале бедного писателя. Некоторые стихи из черновиков стихотворения «В больнице» были перенесены Некрасовым в поэму «В. Г. Белинский» и в стихотворения «Русскому писателю» и «Поэт и гражданин».

В. Г. Белинский. Впервые — альманах «Полярная звезда на 1859 г.», кн. V, Лондон, с. 48—52. В 1860—1870-е гг. поэма неоднократно перепечатывалась за границей. Распространялась в списках. В России впервые опубликована в журнале «Древняя и новая Россия», 1881, № 2, с. 412—416, тоже без подписи, но с примечанием, что в некоторых списках указано имя Некрасова. Отрывок — речь Белинского о призвании русского писателя —

Некрасов исключил из поэмы и опубликовал в «Современнике» (1855, № 6, с. 219) как отдельное стихотворение под заглавием «Русскому писателю»:

Напрасно быть толпе угодней
Ты хочешь, поблажая ей,—
Твое призванье благородней,
Писатель родины моей!

Ее ты знаешь: не угодник
Полезен ей. Пришла пора!
Ей нужен труженик-работник
На почве Мысли и Добра.

Служи не славе, не искусству,—
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей Любви.

И если ты богат дарами,
Их выставлять не хлопочи:
В твоем труде заблещут сами
Их животворные лучи.

Взгляни: в осколки твердый камень
Убогий труженик дробит,
А из-под молота летит
И брызжет сам собою пламень...

Отдельные строки из «Русского писателя» перешли позднее в стихотворение «Поэт и гражданин». В автобиографических заметках 1877 г. Некрасов писал: «23 августа. Сегодня ночью вспомнил, что у меня есть поэма — «В. Г. Белинский». Написана в 1854 или 5 году — нецензурна была тогда и попала по милости одного приятеля в какое-то герценовское заграничное издание: «Колокол», «Голоса из России» или подобный сборник. Теперь из нее многое могло бы пройти в России в новом издании моих сочинений. Она характерна и нравилась очень, особенно, помню, Грановскому. Вспомнил из нее несколько стихов, по которым ее можно будет отыскать ...» (следуют стихотворные отрывки).

Его отец был лекарь жалкой и т. д. Отец критика — Григорий Никифорович Белынский, флотский врач, с 1816 г.— уездный лекарь в г. Чембаре. Белинский вспоминал: «Отец меня терпеть не мог, ругал, унижал, придирался, бил нещадно и площадно — вечная ему память!» *С кончиной лекаря, на свете // остался он убог и мал.* Неточно. Белинскому было 25 лет, когда умер его отец. *Но выгнан был, не доказав ...* и т. д. Причина отчисления из университета была иная — политическая неблагонадежность, усмотренная в антикрепостнической драме, сочиненной Белинским в 1830 г.— «Дмитрий Калинин». Официальная причина увольнения Белинского была: «по слабому здоровью и притом по ограниченности способностей». Доказывать «права о рождении», то есть дворянское происхождение, Белинскому пришлось позднее, в связи

с женитьбой. *Один ученый человек...* и т. д. Реакционный историк М. П. Погодин в своем журнале «Москвитянин» писал: «Белинский не имеет никакого образования. Это гений-самоучка, которые у нас растут как грибы, ежегодно, между студентами, не оканчивающими курса. Ни на каком языке он читать не может. И во всех его писаниях нет ни малейших следов какого-нибудь знакомства ни с одним писателем иностранным». *Пришла охота прожектеру...* и т. д. Речь идет об А. А. Краевском, редакторе-издателе журнала «Отечественные записки». В критический отдел журнала в 1839 г. Краевский привлек Белинского. *Лишь два задорных поляка...* и т. д. Ф. В. Булгарин и О. И. Сенковский (см. прим. к стих. «Говорун»). *Новый гений* — Н. В. Гоголь. *Но поднялась тогда тревога // В Париже буйном — и у нас // По-своему отозвалась...* Февральская революция 1848 г. во Франции и реакция в России — «мрачное семилетие» 1848—1855 гг. *Созвали целый комитет.* Учрежденный в 1848 г. негласный комитет для надзора над действиями цензуры и литературой. *Фанатик ярый Бутурлин.* Бутурлин Д. П. — военный историк, председатель этого комитета, получившего наименование «бутурлинского». В рукописи карандашом Некрасов вписал вариант этой строки: *«Палач науки»*. *Закройте университеты...* — одно из требований, высказанных в «бутурлинском» комитете как мера для пресечения распространения революционных идей в России. *Тюрьму // Враги пророчили ему...* Тургенев писал в своих воспоминаниях: ...«Какие беды ожидали его, если б он остался жив! Известно, что полиция ежедневно справлялась о состоянии его здоровья, о ходе его агонии... От тяжких испытаний избавила его смерть» Известна фраза начальника жандармского корпуса Л. В. Дубельта по поводу смерти великого критика: «Мы бы сгноили его в крепости!» *Могила заросла кругом: // Не сыщешь...* Некрасов писал об этом и в стихотворении «Памяти Белинского».

Гадающей невесте. Впервые — «Стихотворения», 1856, с. 50—51.

Забытая деревня. Впервые — «Стихотворения», 1856, с. 34—36. Первоначально заглавие в автографе — «Барин». Некоторые читатели считали, что старый барин — это недавно умерший Николай I, новый — Александр II, а забытая деревня — вся Россия. Цензор Е. Е. Волков по выходе сборника Некрасова в своем докладе министру народного просвещения писал об этом: «Видимая цель этого стихотворения — показать публике, что помещики наши не вникают вовсе в нужды крестьян своих, даже не знают оных и вообще не пекутся о благосостоянии крестьян. Некоторые же из читателей под словами «забытая деревня» понимают совсем другое... Они видят здесь то, чего вовсе, кажется, нет, какой-то тайный намек на Россию...» Еще до опубликования «Забытая деревня» распространялась в списках. В конце 1850-х годов хранение списков этого стихотворения стало признаком политической «неблагонадежности». Как вспоминает писатель Н. Н. Златовратский, их искали среди других «запрещенных стихов» при обыске у Добролюбова. «Забытую деревню» высоко оценил Герцен.

Бурмистр — назначенный помещиком староста из крестьян.
Цуг — запряжка четырех или шести лошадей попарно.

«Замолкни, Муза мести и печали!» Впервые — «Современник», 1856, № 3, с. 83. Известны отклики на появление этого стихотворения людей, близких Некрасову. Тургенев, посылая его П. В. Анненкову, писал: «Некрасов уже более трех месяцев не выходит — он слаб и хандрит по временам, — но ему лучше — а как он весь просветлел и умягчился под влиянием болезни, что из него вышло — какой прелестный, оригинальный ум у него выработался — это надобно видеть, описать этого нельзя. Прилагаю вам стихотворение, написанное им вчера — и еще далеко не обделанное. Посмотрите-ка! <...> Последние восемь стихов поразительны». Познакомившись со стихотворением, В. П. Боткин написал поэту 7 декабря 1855 г.: «Стихи твои крепко огорчили меня — а какие прекрасные стихи! Из лучших твоих стихов. Только ты клевещешь на себя, говоря:

То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.

Не знаю я, насколько ты можешь ненавидеть, — но насколько ты можешь любить, я это чувствую. Я не знаю другого сердца, которое так же умеет любить, как твое, — только ты любишь без фраз и так называемых «излияний». Л. Н. Толстой вспоминал, что, когда Некрасов прочитал 25 декабря 1855 г. стихотворение «Замолкни, Муза мести и печали!..», он «сразу запомнил его наизусть».

Саша. Впервые — «Современник», 1856, № 1, с. 123—140, с посвящением: «И—у Т—ву» (то есть Ивану Тургеневу). По поводу этого посвящения Некрасов писал Тургеневу 30 июля 1855 г.: «Помнишь, на охоте как-то прошептал я тебе начало рассказа в стихах — оно тебе понравилось; весной нынче в Ярославле я этот рассказ написал, и так как это сделано единственно по твоему желанию, то и посвятить его желаю тебе...» Сначала поэма была запрещена цензурой. По просьбе Некрасова приятель его Е. П. Ковалевский 2 января 1856 г. обратился к министру народного просвещения А. С. Норову. «Будьте правосудны и терпеливы, как всегда, — писал он, — потрудитесь прочесть это стихотворение Некрасова и скажите, можно ли запретить его, а между тем оно запрещено». Добивался разрешения публикации «Саши» и И. А. Гончаров. Поэма появилась с цензурными искажениями и купюрами, которые в последующих публикациях Некрасов постепенно устранял. Но наиболее резкие строки:

В ком не воспитано чувство свободы,
Тот не займет его; нужны не годы —

Нужны столетья, и кровь, и борьба,
Чтоб человека создать из раба, —

Некрасову восстановить не удалось и в последнем прижизненном издании его стихотворений. У героя поэмы Агарина есть общие

черты с тургеневским Рудиным. На это сразу обратили внимание современники, позднее и сам Тургенев указывал, что «Саша» написана под влиянием его романа. Однако произведения эти появились одновременно (в № 1 «Современника», 1856 г.). Поэтому следует говорить о взаимовлиянии, о близости творческих замыслов, возникших, вероятно, как продолжение разговоров Некрасова и Тургенева о «лишних людях». К тому же существенны различия в обрисовке образов, авторских оценках героев и их судьбах. В Рудине Тургенев показал прежде всего положительные черты человека 1830—1840-х гг., несмотря на неспособность героя претворить слова в дело. В образе Агарина Некрасов вывел дворянского либерала, который после поражения европейских революций 1848—1849 гг. и наступления реакции отказался от своих прежних демократических идеалов. Через несколько лет такой литературный тип станет предметом рассмотрения критики, о нем будут писать Чернышевский (в статье «Русский человек на rendez-vous», 1858 г.) и Добролюбов (в статье «Что такое обломовщина?», 1859 г.). В образе Саши Некрасов впервые в поэзии показал черты женщины новых устремлений. Известная революционерка 1870—1880 гг. Вера Фигнер писала о впечатлении, которое на нее в ранней молодости произвела «Саша»: «Над этой поэмой я думала, как еще никогда в свою 15-летнюю жизнь мне не приходилось думать. Поэма учила, как жить, к ч е м у стремиться. С о г л а с о в а т ь с л о в о с д е л о м — вот чему учила поэма, требовать этого согласования от себя и от других учила она. И это стало девизом моей жизни». Поэма Некрасова была хорошо встречена читателями и различными литературными кругами. Но «приглушенная» для цензуры политическая тенденция поэмы ускользнула от литераторов, не принадлежащих к демократическому лагерю. Они увидели в «Саше» отказ поэта от гражданского направления в поэзии. Так, славянофил К. С. Аксаков противопоставил «Сашу» некоторым прежним стихотворениям Некрасова, которые «пропитаны едким цинизмом картин и. чувств... В стихотворении его «Саша» и других является та же сила выражения и сила чувства, но очищенная и движимая иными, лучшими стремлениями». О том же писал Некрасову неприязненно относившийся тогда к «обличительному направлению» в русской литературе Л. Н. Толстой: «Человек желчный, злой не в нормальном положении. Человек любящий — напротив, и только в нормальном положении можно сделать добро и ясно видеть вещи.— Поэтому ваши последние стихи мне нравятся, в них грусть и любовь, а не злоба, т. е. ненависть. А злобы в путном человеке никогда нет и в вас меньше, чем в ком-нибудь другом». Некрасов в ответном письме возразил Толстому. Он утверждал, что «искренняя злость» — это естественное отношение к нездоровой действительности. «...И когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше,— то есть больше будем любить — любить не себя, а свою родину».

Спящих в могилах виновных теней // Не разбужу я враждою моей. В этих словах современники видели намек на Николая I, умершего 18 февраля 1855 г. *Стих мне суровый внушил.* Подразумеваются строки из стихотворения «Родина» (см. прим. на с. 327).

Демону. Впервые — «Московский вестник», 1860, № 7 с. 108, под заглавием «Демон». Высказано предположение, что под «учителем» Некрасов подразумевал здесь Белинского.

«Где твое личико смуглое...». Впервые — «Современник», 1861, № 1, с. 240. Неоднократно положено на музыку.

«Внимая ужасам войны...». Впервые — «Современник», 1856, № 2, с. 223. Написано под впечатлением событий Крымской войны. Предполагают, что непосредственным поводом к написанию стихотворения послужило знакомство Некрасова с рассказом Л. Н. Толстого «Севастополь в августе 1855 г.». Поэт высоко оценил его в «Заметках о журналах за декабрь 1855 и январь 1856 года», напечатанных также в № 2 «Современника» за 1856 г. В этом обзоре, говоря о гибели героя рассказа, Некрасов создает тот же образ, что и в стихотворении «Внимая ужасам войны...»: «И сколько слез будет пролито и уже льется теперь над бедным Володею! Бедные, бедные старушки, затерянные в неведомых уголках обширной Руси, несчастные матери героев, погибших в славной обороне!..» Неоднократно положено на музыку.

«Тяжелый год — сломил меня недуг»... Впервые — «Стихотворения», 1861, с. 172—173, с подзаголовком: «(Из Ларры)». О маскирующем значении этого подзаголовка см. прим. к стих. «Я за то глубоко презираю себя...», с. 325. В данном случае Некрасов воспользовался им, так как стихотворение глубоко интимно по своему содержанию: оно написано под впечатлением размолвки с А. Я. Панаевой.

Влюбленному. Впервые — «Стихотворения», 1856, с. 158.

Княгиня.— Впервые —«Современник», 1856, № 4, с. 259—260. Поводом к написанию стихотворения послужила нашумевшая в петербургском обществе история графини А. К. Воронцовой-Дашковой. Богатая аристократка после смерти мужа уехала в Париж и там вторично вышла замуж. По слухам, дошедшим до Петербурга, второй муж графини был «авантюристом», «который промотал якобы ее состояние и отправил ее умирать в больницу». Как пишет в своих воспоминаниях А. Я. Панаева, говорили даже о том, «что изверг доктор страшно тиранил ее и наконец отравил медленным ядом, чтобы скорей воспользоваться ее деньгами и бриллиантами на огромную сумму». Когда в журнале появилось стихотворение Некрасова, Воронцова-Дашкова была еще жива. Ее похороны в Париже состоялись 1 июня 1856 г. По тексту стихотворения об этой смерти уже *«Целый год судили — резко, без пощады, // Наконец устали...»* Не совпадают и многие другие факты: Воронцова-Дашкова была не княгиня, а графиня, второй муж ее — дворянин, барон Пуалли, а не «доктор-спекулятор»; после смерти графини сыну ее от первого брака осталось значительное состояние и др. Сам Некрасов в первой публикации попытался представить свою *«притчу»* как *«старое преданье»*, сильно удаленное во времени, описывающее события, происходившие *«В век Екатери-*

ны — и никак не ближе...», но позднее снял эти строки. Поэт опирался на легенду, но стремился создать не конкретный, а типизированный образ избалованной русской аристократки, столкнувшейся с жестокой буржуазной действительностью.

Спекулятор — делец, барышник. *Да в строфах небрежных русского поэта.* Имеется в виду стихотворение М. Ю. Лермонтова «К портрету» (1840), посвященное Воронцовой-Дашковой.

«Самодовольных болтунов...». Впервые — «Современник», 1856, № 9, с. 88.

Решетилов. Эта фамилия встречается в «Записках охотника» Тургенева и в повести Некрасова «Как я велик!» На полях чернового наброска этого стихотворения рукою Некрасова написано: «Крестьянин. Управл<яющий>. Соседи... Поп. Власти». Вероятно, это перечень лиц, с которыми по первоначальному замыслу поэта должен был встретиться Решетилов.

Поэт и гражданин. Впервые отрывок от *«Твой стих тягуч. Заметен ты...»* до *«И потонул в его лучах!»* — в статье Некрасова и Чернышевского «Заметки о журналах за февраль 1856 года» («Современник», 1856, № 3); полностью — «Стихотворения», 1856, с. V—XVI. Отдельные строки перешли в «Поэта и гражданина» из поэмы «В. Г. Белинский» (см. прим. на с. 343). «Пишу длинные стишищи и устал»,— писал Некрасов Тургеневу 27 июня 1856 г. Он торопился закончить стихотворение, так как хотел предпослать его своему сборнику, который уже был разрешен цензурой. Книга вышла осенью 1856 г. Поэт в это время находился на лечении за границей и из письма Чернышевского узнал об огромном успехе сборника. «Восторг всеобщий,— писал Чернышевский,— едва ли первые поэмы Пушкина, едва ли «Ревизор» или «Мертвые души» имели такой успех, как Ваша книга». В своей рецензии, опубликованной в № 11 «Современника», Чернышевский перепечатал три самые острые в социальном отношении стихотворения: «Поэт и гражданин», «Отрывки из путевых записок графа Гаранского» и «Забытая деревня». Сразу же после этого начались репрессии и против вышедших «Стихотворений» и против «Современника». Вследствие длительного цензурного разбирательства от «Современника» был отстранен цензор Бекетов, допустивший выход сборника Некрасова, и разрешивший перепечатку из нее И. И. Панаев, соредактор Некрасова по журналу, получил «строжайший выговор» министра народного просвещения Норова, в чьем ведении находилась тогда цензура, «с объявлением, что издаваемый им журнал при первом подобном случае будет прекращен». Специальным секретным циркуляром запрещались перепечатки стихотворений Некрасова, выписки из них и появление в печати статей, касающихся сборника. Особое внимание цензуры привлекло стихотворение «Поэт и гражданин». Товарищ министра князь П. А. Вяземский писал о нем: «...Тут идет речь не о нравственной борьбе, а о политической ... здесь говорится не о тех жертвах, которые каждый гражданин обязан принести отечеству, а говорится о тех жертвах и опасностях, которые угрожают гражданину, когда он восстает против существующего порядка и готов пролить кровь свою в междоусобной борьбе или под карою зако-

на». П. А. Вяземский видел в «Поэте и гражданине» призыв к революционной борьбе и ту готовность молодого поколения пролить кровь и погибнуть «под карою закона», которая в непродолжительном времени стала важнейшим фактором общественной жизни России. Столь же неодобрительно отозвался о стихотворении и сам министр. В его распоряжении говорилось о том, что в «Поэте и гражданине» «конечно, не явно и не буквально, выражены мнения и сочувствия неблагонамеренные. По всему ходу стихотворения и по некоторым отдельным выражениям нельзя не признать, что можно придать этому стихотворению смысл и значение самые превратные». После этого в продолжение пяти лет Некрасову не разрешалось второе издание его «Стихотворений». А когда, наконец, в 1861 г. оно вышло, больше других от искажений пострадало стихотворение «Поэт и гражданин». Современники в монологах Гражданина угадывали мысли и слова Чернышевского, а в образе Поэта — черты личности самого Некрасова. Однако связи с прототипами здесь условны. Идеи, высказанные Гражданином, соответствуют не столько конкретным положениям в статьях Чернышевского или Белинского, сколько вообще революционно-демократическим воззрениям той эпохи. И то, что говорит о своих стихах Поэт, не во всем совпадает с творческой биографией и оценками своей поэзии Некрасова. Как всегда, изображая явление социальной действительности, Некрасов художественно типизирует его.

«Вишь, куда метнул!» — скрытая цитата из комедии Гоголя «Ревизор». *«Не для житейского волненья...»* и т. д. Цитата из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа». *В ночи, которую теперь // Мы доживаем боязливо* — время реакции, «мрачное семилетие». *Кадеты* — воспитанники дворянских военно-учебных заведений. *Предводитель* — имеются в виду выборные административные должности: губернский или уездный предводитель дворянства. *Плантатор* — здесь: жестокий в обращении. *Пегас* — в древнегреческой мифологии крылатый конь, под ударом копыта которого забил источник Иппокрена, вдохновляющий поэтов. *Парнас* — гора в Греции, на которой, по поверьям древних греков, жили Музы. Употребляется как символическое обозначение мира поэтов и поэзии.

<Т у р г е н е>в у. («Прощай! Завидую тебе...»). Впервые — «Современник», 1856, № 10, с. 281, с посвящением «Т-ву». Стихотворение написано на отъезд Тургенева за границу в июле 1856 г.

...Любящей душой — сказано о Полине Виардо.

П р о с т и. Впервые — «Библиотека для Чтения», 1856, № 10, с. 206. Обращено к А. Я. Панаевой. Неоднократно положено на музыку (Ц. А. Кюи, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский и др.).

Ш к о л ь н и к. Впервые — «Библиотека для Чтения», 1856, № 10, с. 205—206. Стихотворение написано в Ораниенбауме, где летом 1856 г. Некрасов жил на даче. Ораниенбаум (ныне г. Ломоносов) связан с деятельностью великого русского поэта и учено-

го, «архангельского мужика» — М. В. Ломоносова, выходца из крестьян-поморов. Цензор Е. Е. Волков докладывал министру народного просвещения: «...автор хочет доказать, что великие и гениальные люди преимущественно могут выходить только из простого народа». Образ Ломоносова впервые возник в творчестве Некрасова в 1840 г.— пьеса в стихах «Юность Ломоносова». Позднее Некрасов обратится к нему и в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Положено на музыку.

«Как ты кротка, как ты послушна...» Впервые — «Современник», 1856, № 8, с. 298. Неоднократно положено на музыку.

«Я посетил твое кладбище...» Впервые — «Современник», 1856, № 9, с. 87. В первой редакции (1849 г.) речь шла о разлуке с возлюбленной. В редакции 1856 г. появляется тема смерти. Достоверных сведений о прообразе героини стихотворения мы не имеем. В воспоминаниях о Тургеневе А. Луканиной приводятся его слова: «У Некрасова есть очень теплое стихотворение на смерть одной женщины, которая любила его. А вот как при жизни ее обходился с нею поэт, по его же собственным словам. Он был в то время беден и озлоблен. Приходя домой, он не говорил с ней, она же не переставала служить ему и ухаживать за ним и только плакала и любила его... Ивану Сергеевичу было непонятно подобное отношение, но ведь он-то сам никогда не был ни беден, ни озлоблен».

Другую женщину я знал. Возможно, написано об А. Я. Панаевой.

«Несчастные». Впервые: отрывок от: *«Все так. Но если ненароком ...»* до: *«Пустые весело бегут...»*—«Современник», 1856, № 5, с. 139—141 в составе стихотворения «Петербургское утро (Отрывок)»; отрывок от: *«Невольно // Припомнишь бедный городок...»* до: *«К корме большого корабля...»* — «Современник», 1857, № 3, с. 51—54, под заглавием: «Отрывок из поэмы»; полностью — «Современник», 1858, № 2, с. 241—266, под заглавием: «Эпилог ненаписанной поэмы». В первом отрывке цензура вычеркнула строку *«Отдайся весь во власть господню...»*, рифмующуюся со следующей строкой: *«Свинья увязла в подворотню»* («по причине близости свиньи», как сообщил Некрасову Чернышевский, проводивший отрывок через цензуру), а также *«Но есть и там свои могилы, // Но там напрасно гибнут силы»*. В строке *«Молчи — фанатики они»* (смягченный вариант первоначального: *«Молчи — предатели они»)* цензор выбросил слово *«фанатики»*. По совету Чернышевского Некрасов дал новый вариант: *«Молчи — упрямы ведь они»* и согласился на цензурные изъятия. Во втором отрывке вместо: *«Собор, четыре кабака»* напечатано: *«Аптека, два-три кабака»*. Поэма в целом была опубликована также со значительными цензурными искажениями. Написана Некрасовым в Риме, где поэт с осени 1856 г. находился на лечении: «24 дня ни о чем не думал я, кроме того, что писал. Это случилось в первый раз в моей жизни...» Поэма должна была быть большой.

По словам Некрасова, описание каторги составляло всего одну шестую ее часть. Но в середине декабря до Рима дошли известия о цензурной грозе по поводу публикации «Поэта и гражданина», слухи о возможном закрытии «Современника» и заключении Некрасова в Петропавловскую крепость. Вполне понятно, что Некрасов уже не мог осуществить свой замысел в полном объеме. И в письме Тургеневу от 6 декабря 1856 г. он пишет: «Кончивши, начну ее портить; может и пройдет...». Цензуру поэма прошла, но, несмотря на исправления и на «несколько верноподданнических стихов», которые Некрасов был вынужден вставить (в издании 1861 г. они были исключены поэтом), чиновник особых поручений при министре народного просвещения Е. Е. Комаровский точно понял ее смысл, указав в рапорте министру, что героем Некрасова стал «сосланный за политическое преступление». Предсмертное видение героя Комаровский охарактеризовал как «пророчески двусмысленное», изображающее грядущую революцию. На основании этого рапорта цензор, пропустивший поэму, получил выговор. Но и сама возможность публикации поэмы появилась только в результате амнистии сосланным декабристам. После этой амнистии имена и темы, бывшие под строжайшим запретом тридцать лет, могли в какой-то степени проникать в печать. Образ Крота — собирательный. В нем отразились некоторые черты облика и духовного мира Белинского. Отдельные высказывания Крота совпадают с идеями и оценками великого критика. Отмечалось также, что описанное Некрасовым предсмертное состояние героя напоминает агонию Белинского: «Перед самой смертью он говорил два часа, не переставая, как будто к русскому народу...» Но несомненно также, что образ Крота создавался в раздумьях о современных Некрасову политических ссылках, судьбах петрашевцев и прежде всего Ф. М. Достоевского. По словам последнего, Некрасов в 60-х годах как-то «указал мне на одно стихотворение «Несчастные» и внушительно сказал: "Я тут об вас думал, когда писал это... это об вас написано..."» Менее ясны в собирательном образе его декабристские черты, но их наличие в этом первом в русской поэзии произведении о политической каторге очевидно. Неоднократно скрыто цитируется Пушкин, в пересказе «Руслана и Людмилы» вкраплены несколько измененные строки из знаменитого, ходившего по рукам ответа А. И. Одоевского, наконец, работа именно на рудниках, общий романтический строй повествования, как бы перекликающийся с романтической поэзией декабристов, включали в собирательный портрет политического каторжника черты героев Сенатской площади. Есть в поэме и автобиографические строки — впечатления детства в усадьбе отца под Ярославлем, образ матери, описание первых лет жизни поэта в Петербурге, картина провинциального городка, по которой современники поэта узнавали Спасск, Казанской губернии, на болотистой площади которого Некрасову, по рассказам, доводилось «стрелять дупелей».

Несчастные — народное наименование заключенных, каторжан, ссыльных в Сибирь. Глава 1. *Переступить порог не смея...* и т. д. Отрывок, навеянный пушкинской поэмой «Руслан и Людмила». *С певцом твоих громад красивых*, т. е. с Пушкиным. Некрасов имеет в виду вступление к поэме «Медный всадник». *Чухонец* — финн.

И ельника зеленый след // На мокрой улице оставил. Еловыми ветками устилали дорогу похоронной процессии. *Вот идет солдат// За фурой вроде погребальной* — за тюремной каретой, в которой везут арестованного. *Стогны* — площади, широкие улицы. Глава 2. *Восторгом взор его сиял.* В автографе Некрасов указал: «Стих Пушкина». *«Восторг в очах его сиял»* — строка из стихотворения Пушкина «Чертог сиял. Гремели хором...» («Египетские ночи»). *«...тот мудрый государь...»* Как отмечал Чернышевский, «Некрасов сохранил о Петре то мнение, которое воспринял в кругу Белинского и Герцена». *В скрижалях царства* — в истории царства. *Прощенья благовест достиг* — указ об амнистии политическим заключенным, в том числе и декабристам, объявленный в день коронации Александра II.

Тишина. Впервые — «Современник», 1857, № 9, с. 153—161, с цензурными пропусками и искажениями. Вместо: *«Тяжеле стонов не слыхали»* напечатано: *«Молитвы жарче не слыхали»*, вместо: *«Проклятья, стоны и молитвы»* напечатано: *«Прощанья, стоны и молитвы»*, вместо: *«Ни божьих, ни ревижских душ»* напечатано: *«Безропотно-покорных душ»* и др. Уже после смерти Некрасова было обнаружено его «Объяснение касательно стихов, признанных неудобными к печатанию, из стихотворения "Тишина":

Пусть *ропот укоризны*
За мною по пятам бежал.

Здесь автор разумел дошедшие до него за границу слухи, что многие обвиняли его в нелюбви к родине.

Христос снимет
С души оковы.

Никакая мирская власть не может наложить оков на *душу*, равно как и снять их. Здесь разумеются *оковы греха, оковы страсти*, которые налагает жизнь и человеческие слабости, а разрешить может только бог.

Прибитая к земле слезами
Рекрутских жен и матерей.

Что война есть народное бедствие и что после нее остаются сироты, вдовы и матери, лишившиеся детей,— об этом я не считал неудобным упомянуть в стихах, тем более, что это уже относится к прошедшему.

Проклятья, стоны и молитвы
Носились в воздухе...

Проклинали пленные враги, *стонали* раненые, молились все, пораженные бедствием войны.— Если зачеркнуть *проклятия* на том основании, что, может быть, проклинали и свои, то вслед за тем придется зачеркнуть и *стоны*, потому что, может быть, стонали не от одних ран,— а затем придется зачеркнуть и *молитвы*, потому что мало ли о чем можно молиться?

Военный поп.

Известно, что после войска самые страдательные лица в войне врач и поп, едва успевающие лечить и отпевать. Поэтому, упомянув о враче, я упомянул и о попе, служащем при войске — в этом смысле употреблено прилагательное «военный».

Третья глава написана в Риме в декабре 1856 г., первоначально — отдельное стихотворение, посвященное недавно закончившейся Крымской войне и героической обороне Севастополя. В разгар военных действий летом 1855 г. Некрасов писал Тургеневу: «Хочется ехать в Севастополь. Ты над этим не смейся. Это желание во мне сильно и серьезно — боюсь, не поздно ли уже будет?» Обходя цензуру, Некрасов включил в четвертую главу несколько строк, положительно оценивающих реформы Александра II. В последующих изданиях эти строки были исключены.

Тяжеле стонов не слыхали//Ни римский Петр, ни Колизей! Упоминание собора св. Петра в Риме и Колизея — древнеримского цирка, связано с тем, что собор был местом массовых паломничеств, а Колизей — местом битв гладиаторов, а позднее — казней первых христиан. *Фура* — повозка. *Французов с красными ногами.* В составе французских войск находились отряды зуавов — африканских стрелков, в обмундирование которых входили красные шаровары. *Молчит и он* — Севастополь. *Три царства* — Англия, Франция и Турция. *Ревижские* (ревизские) *души.* Ревизская душа — единица учета облагавшегося подушной податью мужского населения. С 1718 по 1887 г. в России проводились время от времени специальные переписи — ревизии населения, платившего подати. Включенные в списки («ревизские сказки») именовались ревизскими душами.

Бунт. Впервые — «Заветы», 1913, № 6, с. 33. Среди других это стихотворение было послано Некрасовым 5 мая 1876 г. А. С. Суворину, редактору «Нового времени». Не было опубликовано в газете из-за остроты политического содержания. Точное время написания не установлено. К. И. Чуковский высказал предположение, что «Бунт» написан под впечатлением жестокой расправы губернатора П. П. Новосильцева с крестьянами села Мурмина Рязанской губернии в июне 1857 г. Об этом событии писал «Колокол». Но вероятнее, что «Бунт» написан позднее. В одном автографе, посланном Суворину, Некрасов сделал ироническую приписку к стихотворению: «Примечание для редакции. Этот отрывок пропустил г. Стасюлевич при печатании записок г. Ломачевского». Поэт имел в виду опубликованные в «Вестнике Европы» в 1872 г. «Записки жандарма. Воспоминания с 1837 по 1843 год» жандармского полковника А. И. Ломачевского. В этих «Записках» Ломачевский пытался доказать, что «голубые мундиры» в описываемую им эпоху выступали как защитники народа, проводники подлинной справедливости и законности. В лицемерно-слащавом тоне повествует он о событиях в Минской губернии, где порядок водворялся «справедливым» наказанием крестьян, недовольных своим помещиком, розгами. Связывавшееся самим поэтом с этими «Записками» стихотворение приобретало, таким образом, пародийно-разоблачительный смысл. Положено на музыку.

«Стихи мои! Свидетели живые...». Впервые — «Стихотворения», 1864, ч. 3, с. 42.

«В столицах шум, гремят витии...». Впервые — «Стихотворения», 1861, ч. 1, с. 248. Некрасов хотел опубликовать стихотворение в № 10 «Современника» за 1858 г. Но председатель цензурного комитета И. Д. Делянов счел необходимым представить его на рассмотрение в Главное управление цензуры, сопроводив своими замечаниями о том, что противопоставление «деятельности наших столиц» «какому-то безотрадному положению остальной части России» «может подавать... повод к различным неблаговидным толкам». Главное управление цензуры в 1858 г. запретило публикацию.

Размышления у парадного подъезда. Впервые — «Колокол», 1860, 15 января, л. 61, с. 505—506, без подписи, под заглавием: «Размышления у парадного крыльца», с примечанием Герцена: «Мы очень редко помещаем стихи, но такого рода стихотворение нет возможности не поместить». В России впервые — «Стихотворения», 1863. В своих воспоминаниях А. Я. Панаева рассказывает историю создания стихотворения. Из окна квартиры Некрасова был виден дом, где жил министр государственных имуществ М. Н. Муравьев, за подавление польских восстаний 1830—1831 гг. прозванный «Вешателем». Однажды, подойдя к окну, Панаева увидела крестьян, сидевших на ступеньках лестницы парадного подъезда этого дома, и сказала об этом Некрасову. Поэт «подошел к окну в тот момент, когда дворники дома и городовой гнали крестьян прочь, толкая их в спину. Некрасов сжал губы и нервно пощипывал усы; потом быстро отошел от окна... Часа через два он прочел мне стихотворение «У парадного подъезда». В 1886 г. Чернышевский писал А. Н. Пыпину: «Могу сказать, что картина:

Созерцая, как солнце пурпурное
Погружается в море лазурное — и т. д.—

живое воспоминание о том, как дряхлый русский грелся в коляске на солнце «под пленительным небом» южной Италии (не Сицилии). Фамилия этого старика — граф Чернышев. Вторая заметка: в конце пьесы есть стих, напечатанный Некрасовым в таком виде:

Иль судеб повинуясь закону,—

этот напечатанный стих — лишь замена другому...» Бытовавшие в XIX в. многочисленные списки стихотворения дают несколько вариантов этой строки: «*Сокрушишь палача и корону*», «*Иль царей повинуясь закону*» и др., какой был у Некрасова — не установлено.

Граф Чернышев, которого упоминает Чернышевский, вероятно, князь А. И. Чернышев, военный министр при Николае I, принимал участие в суде над декабристами. *Записав свое имя и званье.* В прихожих богатых и знатных вельмож по праздничным дням выставлялись специальные книги, в которых расписывались приехавшие с

поздравлениями,— форма чинопочитания и заискивания. *Прожектеры* — сочинители несбыточных проектов. *Пилигримы* — паломники, путешественники-богомольцы. У Некрасова крестьяне названы высоким словом «пилигримы», чтобы подчеркнуть значительность их путешествия и страдания. *Щелкопер* — пренебрежительно: бездарный и легкомысленный писатель. *Безмятежней аркадской идиллии.* Аркадия в античной литературе и в пасторалях XVI—XVIII вв. изображалась как страна райской невинности, место идиллической жизни пастухов и пастушек. *То бурлаки идут бечевой!* Бурлаки шли по берегу и тянули канат — бечеву, приводя таким образом в движение баржу.

Последняя часть стихотворения, со слов: «Назови мне такую обитель...» стала популярной студенческой песней. Неоднократно положена на музыку.

«Ночь. Успели мы всем насладиться...». Впервые — «Стихотворения», 1861, ч. 1, с. 108. Стихотворение связано с размышлениями Некрасова о судьбах народа, глубоко волновавших русскую интеллигенцию в предреформенные годы.

Песня Еремушке. Впервые — «Современник», 1859, № 9, с. 237—239, с цензурными искажениями. Вместо: *«Братством, Равенством, Свободою»* напечатано: *«Братством, Истиной, Свободою»*, вместо: *«К угнетателям вражду»* напечатано: *«К лютой подлости вражду»*. Добролюбов послал текст стихотворения одному из своих друзей со словами: «Выучи наизусть и вели всем, кого знаешь, выучить «Песню Еремушке» Некрасова, напечатанную в сентябрьском «Современнике».... Помни и люби эти стихи: они дидактичны, если хочешь, но идут прямо к молодому сердцу, не совсем еще погрязшему в тине пошлости. Боже мой! Сколько великолепнейших вещей мог бы написать Некрасов, если бы его не давила цензура!..» Песня приобрела большую популярность в среде передовой молодежи, революционных кружках. «Песня Еремушке» включена Чернышевским в текст романа «Что делать?», где ее исполняет хор молодежи.

Братство, Равенство, Свобода — лозунг Великой французской революции.

Дружеская переписка Москвы с Петербургом. Впервые — «Современник», 1860, № 3 («Свисток», № 4), с. 30—33. Написано в соавторстве с Добролюбовым. Позднее Некрасов исключил строки, принадлежавшие Добролюбову, и оставил лишь написанные им примечания. Стихотворение является сатирой на славянофильство, квасной патриотизм, либеральное пустословие.

Московское стихотворение. *Святого ничего — одна утилитарность!* В сборнике «Утро», вышедшем в 1859 г. под редакцией Погодина, Петербург и некоторые другие города были обвинены в «утилитарности» и противопоставлены в этом отношении Москве. *И против гласности стишонки сочиняет!* Гласность — лозунг либералов, считавших, что путем одной гласности могут быть достигнуты политические свободы, конкретного политическо-

го содержания не имел. *Петербургское послание.* Отчасти повторяет ритмико-фразеологический строй известного стихотворения Гете — «Песнь Миньоны» («Ты знаешь край...»). Текст насыщен пародийно осмысленными цитатами, преимущественно из современной Некрасову псевдопатриотической поэзии, и публицистическими выпадами. *«Русский вестник»* — общественный и литературный журнал, выходивший в Москве под редакцией М. Н. Каткова в 1856—1887 гг. Из либерального органа, которым журнал был в 50-х гг., он с начала 60-х гг. превратился в реакционно-охранительный, проделав эту эволюцию вместе со своим издателем. *Кокорев В. А.* — богатый откупщик, писавший в «Русский вестник» по вопросам экономики. *Ученый Бабст стихами Розенгейма // Там подкрепляет мнения свои.* Имеются в виду строки М. П. Розенгейма:

Ну, и напишешь: властям непокорны;
Этим, брат, всякого можно унять,

которые привел в одной из своих статей либеральный экономист И. К. Бабст. *Там сомневается почтеннейший Киттары* и т. д. Московский профессор М. Киттары публично выступил против телесных наказаний, однако оговорил: «Я прибегаю к ним очень редко в минуты сомнения в непогрешимости моего взгляда». *Там Павлов Соллогуба, // Байборода Крылова обличил.* Отголоском полемики по поводу критической статьи Н. Ф. Павлова о либерально-обличительной комедии В. А. Соллогуба «Чиновник» и обвинения Байбородой (коллективный псевдоним М. Н. Каткова, Ф. М. Дмитриева, П. М. Леонтьева) профессора римского права Н. И. Крылова в невежестве. *Там Шевырев был поражен сугубо.* Спор между западником графом В. А. Бобринским и славянофилом С. П. Шевыревым на заседании Совета Московского художественного общества закончился ссорой и вызовом Шевырева на дуэль Бобринским. Шевырев отказался от дуэли, за что был избит Бобринским. *Там сам себя Чичерин поразил.* Умеренный либерал профессор Московского университета Б. Н. Чичерин написал Герцену письмо, содержавшее нападки на Герцена и аргументы в защиту русского правительства. Тургенев, Анненков, Бабст и др. протестовали против письма Чичерина. Их письменный протест Чичерин переслал Герцену. *Там область празднословного романа//Мужчина передал в распоряженье дам.* В журнале «Русский вестник» часто встречались имена писательниц Евгении Тур, Каролины Павловой и др. В авторское примечание к этим строкам как женские иронически включены имена поэта Н. Ф. Щербины и публициста С. С. Громеки. *Устами Чаннинга о трезвости поют.* Имеется в виду выступление в защиту трезвости протестантского священника У. Чаннинга (1837 г.), перевод которого был опубликован «Русским вестником» в 1859 г. *Там люди презирают балаганство.* Газета «Московские ведомости» (от 23 апреля 1859 г.) назвала добролюбовский «Свисток» «балаганным отделом «Современника». Примечания Добролюбова носят отчасти пародийный характер. Пародируют модное тогда «библиографическое» направление. В них иронически подтверждается сказанное в стихах. Разъясняем главные имена и фак-

ты. *Чухонский народ* — финны. *Лайбов* — псевдоним Добролюбова, образован из последних слогов имени и фамилии автора. *«Атеней»* — литературный журнал либерального направления, издаваемый в 1858—1859 гг. в Москве Е. Ф. Коршем. Отношение Добролюбова к нему было неизменно отрицательным. *Ламанский* Е. И.— экономист. Во время либерального диспута в петербургском пассаже 13 декабря 1859 г. он был председателем и закрыл диспут словами: «Мы еще не созрели для публичных споров». Эта фраза стала крылатой в русской журналистике 1860-х годов. *«России»* — стихотворение славянофила А. С. Хомякова, по своему обличительному пафосу несвойственное его направлению в поэзии. Прохождение этого стихотворения через цензуру вызвало осложнения. *«Молва»* — славянофильская газета. С 1857 г. фактическим редактором ее был К. С. Аксаков.

Убогая и нарядная. Впервые — «Современник», 1860, № 1, с. 330—334, с заменой строки: *«И не в шитье была там сила»* строкой точек. Первая часть стихотворения, возможно, восходит к стихотворению В. Гюго «Меланхолия». Стихи Некрасова: *«И на лбу роковые слова: // «Продается с публичного торга!»*,— созвучны строкам Гюго, обращенным к бедной швее, но переадресованы «нарядной».

Ланиты — щеки. *Подьячий* — мелкий чиновник. *Приказ* — здесь: место службы, учреждение. *А девочку взяла «Мадам»//И в магазине поселила...* Речь идет о содержательнице притона, скрытого под вывеской «магазина», т. е. ателье, швейной мастерской. *В эту улицу роскоши* и т. д. Имеется в виду Невский проспект в Петербурге. *Лоретка* — женщина легкого поведения. *Ванька* — извозчик.

Плач детей. Впервые — «Современник», 1861, № 1, с. 367—368. Готовя последнее издание своих произведений, Некрасов сделал примечание: «Это стихотворение принадлежит в подлиннике одной английской писательнице и пользуется там известностью, вроде как «Песня о рубашке» Т. Гуда,— конечно, гораздо меньшею... Все остальное, что она писала, плохо. Я имел подстрочный перевод в прозе и очень мало держался подлинника: у меня оно наполовину короче. Я им очень дорожу». Английская писательница, о которой здесь говорится,— Элизабет Баррет Браунинг. Ее стихотворение «Плач детей» было написано в 1843 г. Некрасовское переложение сильно отличается от текста Браунинг. В последнем — 156 строк, у Некрасова — 40. Одним из источников «Плача детей» также называют стихотворение Гюго «Меланхолия».

Папаша. Впервые — «Современник», 1860, № 3, с. 251—256.

Даже Жуковскому что-то на статую//По доброте своей дал! Памятник на могиле В. А. Жуковского был поставлен в 1854 г. на средства, собранные по подписке. *И за которых Жорж Санд//Перед мыслителем русским в ответе.* Имеются в виду статьи славянофильского критика Т. Филиппова, в которых частыми были выпады против французской писательницы, виновной, по мнению Филип-

пова, в «опасном влиянии» на процесс эмансипации женщин и падении «семейной нравственности» в России. *В легкую службу пойдет*, т. е. на службу в тайной полиции.

Первый шаг в Европу. Впервые — «Современник», 1860, № 5, («Свисток» № 5), с. 36—37, под заглавием: «Первый шаг в Европу. Письмо первое», в составе заметки Н. А. Добролюбова «Отъезжающим за границу». В журнальной публикации стихотворение заканчивалось строкой: *«И тяжко я вздохнул о родине моей...»*, после чего следовали две строки точек. Возможно, что позднее Некрасов изменил концовку по цензурным причинам. В докладе Главного управления цензуры о «Современнике» стихотворение названо в числе произведений, характеризующих «вредное» направление журнала. О нем говорилось как о «имеющем целью уронить наших помещиков... Здесь уже без всяких уловок, без всяких разысканий в чужой истории или законодательстве указывается на ненормальное положение нашего отечества». Высоко оценил стихотворение Добролюбов.

...в совете опекунском. См. прим. к стих. «Псовая охота» (с. 328). *Свинемюнде* — гавань на острове Узедом (тогда — территория Пруссии, ныне — Польши). *Сочельник* — канун рождества. *«На натиск пламенный ей был отпор суровый!..»* — неточная цитата из стихотворения Пушкина «К вельможе».

Знахарка. Впервые — «Современник», 1860, № 11, с. 189—190. Во всех прижизненных публикациях вместо: *«Высечен будешь, дойдешь до запою»*, печаталось: *«Много потерпишь, дойдешь до запою»*. Особое значение Некрасов придавал последнему стиху. 1 января 1861 г. он писал Добролюбову: «Что вы о моих стихах? Они просто плохи, а пущены для последней строки. Умный мужик мне это рассказал, да как-то глупо передалось и как-то воняет сочинением. Это, впрочем, всегда почти случается с тем, что возьмешь вплотную с натуры».

В нашем живет околодке (околотке) — здесь: поблизости, в округе.

«Что ты, сердце мое, расходилося?..». Впервые — «Стихотворения», 1864, ч. 3, с. 28. Написано в ответ на клевету, распространявшуюся о Некрасове его политическими врагами. Обвиняемый в корыстолюбии, двоедушии и т. п., Некрасов публично выступил с этим стихотворением на благотворительном вечере в зале дворянского собрания. Современник вспоминал, что вечер давался «при участии известных писателей. Появление каждого из них восторженно приветствовалось публикой. И только когда на эстраду вышел Николай Алексеевич Некрасов, его встретило гробовое молчание. Возмутительная клевета, обвившаяся вокруг славного имени Некрасова, очевидно, делала свое дело. И раздался слегка вздрагивающий и хриплый голос поэта «мести и печали»: «Что ты, сердце мое, расходилося?..» <...> Что произошло вслед за чтением этого стихотворения, говорят, не поддается никакому описанию. Вся публика, как один человек, встала и начала бешено

аплодировать. Но Некрасов ни разу не вышел на эти поздние овации легковерной толпы». И. И. Панаев, заведовавший конторой «Современника», в своих воспоминаниях цитирует это стихотворение, когда пишет о том, как он неоднократно собирался опровергнуть возводимую на поэта клевету, «но Николай Алексеевич не допускал меня привести в исполнение мои намерения, говоря, что можно сделать это когда-нибудь, после, тогда, когда его не будет». Неоднократно положено на музыку (Ц. А. Кюи и др.).

«...одинокий, потерянный...» Впервые — «Стихотворения», 1864, ч. 3, с. 53—54. «Навеяно,— по словам Некрасова,— разладом с Тургеневым в 1860 г.». До 1860 г. их объединяла личная и творческая дружба. Некрасов делился с Тургеневым своими литературными планами, дорожил его советами и сотрудничеством в «Современнике». С выдвижением в конце 50-х гг. разночинной интеллигенции, формированием революционно-демократического направления в русской литературе и критике обозначились два л[illegible]геря. С приходом в «Современник» Чернышевского и Добролюбова раскол произошел и в редакции журнала. Писатели либерал[illegible] дворянского направления, в их числе Тургенев, вышли из редакции. Идейный разрыв привел и к разрыву многолетней дружбы, тяжело переживавшемуся Некрасовым (см., напр., стих.: «Тургеневу»). Примирение состоялось лишь у постели больного поэта, незадолго до его смерти. «Смерть нас примирила» — так закончил Тургенев стихотворение в прозе «Последнее свидание», посвященное памяти Некрасова.

Деревенские новости. Впервые — «Век», 1861, № 1, с. 32—33, с посвящением А. В. Дружинину; строки: от *«Шут и дурак наголо!»* до *«Несообразный детина!»* были опущены по требованию цензуры. По воспоминаниям сестры поэта А. А. Буткевич, до покупки имения Карабиха (1863) поэт «почти каждое лето проводил в деревне у отца в сельце Грешневе в 20 верстах от Ярославля». То, что именно грешневские картины отразились в стихотворении, подтверждается в автобиографических записях Некрасова, где, говоря об отношениях с крепостными отца, поэт цитирует строки из «Деревенских новостей» (от: *«Благодарение богу...»* до: *«Что ни мужик, то приятель»*) и поясняет их: «Я постоянно играл с деревенскими детьми, и когда мы подросли, то естественно, что между нами была такая короткость».

Качалов лесок — роща у въезда в Грешнево. *Обыватель* — житель. *Подушны* — подать, которой обкладывались крепостные мужского пола. *Становой* — становой пристав. В дореволюционной России — полицейский чиновник, начальник стана — административно-полицейского подразделения уезда. *Межевой* — чиновник, занимающийся межеванием земель. *Епутат* (депутат) от *уделов* — выборный от удельных (т. е. принадлежащих императорской фамилии) крестьян.

Литературная травля, или «Не в свои сани не садись». Впервые — «Современник», 1861, № 1 («Свисток», № 7, с. 41—44), первая редакция, с подзаголовком: «Эпизод из

поэмы-автобиографии Саввы Намордникова». (Этим комическим именем подписаны еще три стихотворения Некрасова 1860-х годов: «Песня об «Очерках»», «Мое желание», «Перед зеркалом».) Вторая, переработанная редакция, печатающаяся в настоящем издании,— «Стихотворения», 1874, ч. 6, с. 270—272. Прообразом библиографа, выведенного в сатире Некрасова, считали Г. Н. Геннади, пропустившего «Мертвые души» при составлении «Списка сочинений Гоголя» и вообще часто работавшего небрежно. Однако в первой, более расширенной редакции дается подробный пересказ «брошюры», опубликованной неудавшимся библиографом. Пересказ этот насыщен намеками на конкретные события общественной и литературной жизни того времени. Он не связывается ни с одной из известных работ Геннади. Тщательный анализ стихотворения позволил современным исследователям сделать вывод о том, что «„Литературная травля" — это не просто выпад против одного библиографа, а обобщенный политический памфлет», направленный не только против Г. Н. Геннади, но намекавший на деятельность М. Н. Лонгинова, Н. Н. Воскобойникова и др.

«Заира» — трагедия Вольтера (1732 г.).

На Волге (Детство Валежникова). Впервые — «Современник», 1861, № 1, с. 5—12; строки от: *«Прочна суровая среда...»* до: *«И без урока для детей!»* были опущены по требованию цензуры. Первоначально стихотворение рассматривалось Некрасовым как глава автобиографической поэмы. Поэма не была написана. Две ее части — «На Волге» и «Рыцарь на час» печатались как самостоятельные стихотворения. В произведении отразились детские впечатления поэта. Об этом писал Чернышевский: «Однажды, рассказывая мне о своем детстве, Некрасов припомнил разговор бурлаков, слышанный им, ребенком, и передал; пересказав, прибавил, что он думает воспользоваться этим воспоминанием в одном из стихотворений, которые хочет написать.— Прочитав через несколько времени пьесу «На Волге», я увидел, что рассказанный мне разговор бурлаков передан в ней с совершенною точностию, без всяких прибавлений или убавлений; перемены в словах сделаны лишь такие, которые были необходимы для подведения их под размер стиха; они нимало не изменяют смысла речи и даже часто с грамматической и лексикальной стороны немногочисленны и не важны. Вместо «а кабы умереть к утру, так было б еще лучше».— в пьесе сказано:

А кабы к утру умереть —
Так лучше было бы еще;

только такими пятью-шестью переменами отличается передача разговора в пьесе от воспоминания об этом разговоре, рассказанного Некрасовым мне». Произведение высоко оценили современники. Достоевский писал, что «На Волге» — «одна из самых зовущих поэм» Некрасова.

Дворник — содержатель постоялого двора. *Все тот же виден монастырь // На острову, среди песков* — Бабаевский монастырь. *Расшива* — большое речное плоскодонное судно. *Нижний* — Ниж-

ний Новгород (теперь город Горький). *Илья* — день Ильи Пророка, 21 июля (2 августа).

Рыцарь на час. Впервые — «Современник», 1863, № 1—2, с. 209—214, под заглавием: «Бессонница (из поэмы «Рыцарь на час», глава IV. Валежников в деревне.— Светлая осенняя ночь с легким морозом)». Отрывок от: *«По широкому полю иду...»* до: *«Я невольно сказал ему: славно!»* и заключительный фрагмент: *«О мечты! о волшебная власть»* и т. д.— отсутствовали. По неосуществленному первоначальному замыслу — IV глава автобиографической поэмы (см. выше прим. к стих. «На Волге», с. 360). В одном из автографов (запись на отдельном листке, вложенном в альбом Л. П. Шелгуновой) после строк: *«На могиле далекой, // Где лежит моя бедная мать...»* следовало:

В эту ночь со стыдом сознаю
Бесполезно погибшую силу мою...
И трудящийся, бедный народ
Предо мною с упреком идет,
И на лицах его я читаю грозу
И в душе подавить я стараюсь слезу...
. . . .
. . . .

Да! теперь я к тебе бы воззвал,
Бедный брат, угнетенный, скорбящий!
И такою бы правдой звучал
Голос мой, из души исходящий,
В нем такая бы сила была,
Что толпа бы за мною пошла

и прозаическая приписка: «Редки те, к кому нельзя применить этих слов, чьи порывы способны переходить в дело... Честь и слава им — честь и слава тебе, брат! Некрасов. 24 мая, 6 час. утра». Эта приписка адресована М. Л. Михайлову, поэту, переводчику, сотруднику «Современника», в 1861 г. приговоренному к шести годам каторжных работ и пожизненному поселению в Сибири за написание в соавторстве с Н. В. Шелгуновым и распространение прокламации «К молодому поколению». Вероятно, эта запись была сделана Некрасовым 24 мая 1862 г., когда Н. В. Шелгунов и Л. П. Шелгунова отправились из Петербурга в Сибирь к Михайлову и могли бы передать сосланному поэту обращенные к нему стихи. Готовя стихотворение к печати, Некрасов устранил эти строки, которые вряд ли могли пройти через цензуру во время массовых арестов 1862 г. «Рыцарь на час» — одно из самых задушевных и мучительно-исповедальных стихотворений Некрасова. Сам поэт, по воспоминаниям современника, читал его «со слезами в голосе». Сохранились свидетельства мемуаристов о сильном эмоциональном воздействии этого произведения на Н. Г. Чернышевского и Г. И. Успенского.

Церковь старая чудится мне — церковь Петра и Павла в селе Абакумцево, возле которой похоронена мать поэта. *Околоток* — здесь: округа, окрестность.

Т<ургене>ву. Впервые — «Заветы», 1913, № 12, с. 45. При жизни Некрасовым не публиковалось, вероятно, по личным причинам: поэт не хотел возбуждать пересуды по поводу осложнившихся отношений и расхождений со своим близким другом. Автографы и корректура донесли до нас две редакции стихотворения. Высказывалось предположение, что первая, датированная июлем 1861 г., была адресована Герцену. В ней стихотворению предпослан эпиграф: «О! Зачем с этою головою не стал ты другом бедным и опорой покинутых всеми? Диккенс». Вместо первых пяти строф было:

Ты как поденщик выходил
До солнца на работу,
В глаза ты правду говорил
Могучему деспóту.

Незадолго до смерти, готовя собрание своих произведений, Некрасов якобы переадресовал стихотворение Тургеневу и в разное время сделал пояснительные пометы: в автографе — «(Писано собственно в 1860 году, к которому и относится, когда разнесся слух, что Тургенев написал «Отцов и детей» и вывел там Добролюбова. Теперь я только поправил начало)»; в корректуре — «Писано собственно в 1860 году, к которому и относится по содержанию. Теперь я только поправил некоторые неловкие стихи».

Т. Царькова

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ
1844—1860

Н. А. НЕКРАСОВ

Собрание сочинений
в четырех томах

Том I

Редактор тома
Н. Цветкова

Оформление художника
Д. Б. Шимилиса

Технический редактор
А. И. Шагарина

Сдано в набор 06.07.79. Подписано к печати 21.09.79.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 19,74. Уч.-изд. л. 20,76. Тираж 600 000 экз.
Изд. № 2309. Зак. 1044. Цена 1 р. 40 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
125865, Москва. А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Индекс 70683